Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

4

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ
4
Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Царевич Алексей

Уманская резня

Рассказы

Украинские сказки

Песня бандуриста

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Царевич Алексей

Уманская резня

Рассказы

Украинские сказки

Песня бандуриста

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти
томах

МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том четвертый

МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.
Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 4. — М.: ТЕРРА, 1995. — 464 с.
ISBN 5-85255-725-0 (т. 4)
ISBN 5-85255-702-1

В четвертый том собрания сочинений вошли рассказ «Царевич Алексей», историческая повесть «Уманская резня», изображающая картину вражды Польши с Малороссией, за которой вскоре последовало уничтожение Запорожской Сечи, художественные рассказы из жизни предков писателя на Украине и, наконец, удивительные, полные житейской мудрости, сказки, народные легенды.

Д 4702010100-023 / А30(03)-95 Подписное
ББК 84Р1
ISBN 5-85255-725-0 (т. 4)
ISBN 5-85255-702-1

Царевич
Алексей

I

Среди зимы 1716 года в Петербурге заговорили о сильном разладе между царем Петром и его единственным сыном.

Грозная «сиверка» Петра готовилась, как все ожидали, разразиться над царевичем Алексеем. Овдовев с осени, сам царевич между тем продолжал мирно и тихо жить в небольшом дворце, выстроенном к его свадьбе, на Неве, близ Литейной, по-видимому, не очень беспокоясь даже о том, что отец при встречах перестал с ним говорить. Кстати же, траур давал ему возможность вовсе не появляться на торжественных приемах отца и ассамблеях вельмож, а дома у себя, боясь смотрельщиков отца, он не принимал почти никого.

Крытый тесом, в двенадцать окон по улице, с антресолями и обширным садом на Неву, деревянный, на высоком каменном фундаменте, дворец царевича был на Шпалерной, против нынешней церкви Всех Скорбящих Радости. В глубине двора, вдоль сада, шли разные службы, избушки, боковуши, сарайчики и склады и возвышалась церковь. У крыльца на улице стоял караул. Комнаты были убраны уютно и со вкусом: стены — в кожаных, с позолотой, обоях, зеркала — в фигурчатых фарфоровых рамах, с потолков приемной и столовой висели хрустальные люстры, а мебель обтянута цветным сукном и штофом. Все это, впрочем, как и ковры, занавеси окон и столовая посуда, было свадебным подарком, присланным покойной жене царевича от ее сестры, жены австрийского императора. Скупой и неприхотливый

царь, глядя на эту обстановку, морщился. «Денег-то убито сколько, денег!» — думал он при этом, не охотно посещавший сына и при жизни покойной кронпринцессы.

Вверху, на антресолях, с гофмейстериной, кормилицей и нянями, жили дети царевича. Внизу помещался он сам. Его кабинет, двумя окнами выходивший в сад и одним на угол улицы, был расположен между приемной и спальней. Еловый вощеный пол кабинета у письменного стола был покрыт бухарским ковром, перед софой и креслами — медвежьим мехом. На стенных полках лежало несколько немецких, французских, польских и церковных русских книг. В углу комнаты, возле окна, стоял небольшой голландский клавесин, а на стене, над ним, висела небольшая семиструнная лютня.

Было утро двадцать пятого января.

Солнце ярко светило в разрисованные морозом окна кабинета. У письменного стола, на обитом черной кожей кресле, откинувшись на его высокую спинку, сидел худощавый и бледный, выше среднего роста, лет двадцати шести-семи человек. Он был в шелковом сером кафтане, в черных шерстяных чулках и башмаках с серебряными пряжками. Темно-каштановые, слегка напудренные его волосы длинными завитками падали на узкие плечи. Большие черные глаза неподвижно были устремлены на стол, на котором стоял раскрытый, отделанный слоновою костью и сафьяном, ларец. То был царевич Алексей.

Давно молодой камердинер поставил перед ним, возле ларца, поднос с кофе, сливками и булкой. Он несколько раз неслышно отворял дверь из гардеробной и смотрел из-за кресла, качая головой. Кофе простыл; до него не касались.

Царевич более часа сидел, задумавшись и не помня, где он и что́ с ним. Он знал одно, что в последнее время сильно прогневил отца и что стал у него в явной и полной опале, а как и чем он прогневил его, об этом он боялся и избегал думать. День и ночь его мысли были далеко. В памяти проносились годы его детства, жизнь в Москве; потом в Измайловском, когда он жил на глазах матери.

Где эти счастливые годы и где мать? Не вернуть их. Она насильно пострижена, томится в монастыре, а у отца, при живой жене, другая, бывшая пленная немка. Тяжело было ребенку без матери. По девятому году его хотели отправить учиться в чужие края, в Дрезден, но это не состоялось. Четырнадцати лет он был уже в рядах нового войска, в преображенском мундире; по семнадцатому году ему поручили возведение укреплений Москвы в ожидании шведов. Его обучали точить, чертить, французскому и немецкому языкам и арифметике; возили его по воинским и корабельным делам то в Смоленск и Сумы, то в Воронеж, Севск и Ярославль, в бой под Полтаву, однако, не взяли.

Девятнадцати лет Алексея, по болезни, отправили за границу, в Карлсбад. «Не остаться ли здесь навсегда? — подумал он в то время, охваченный волей, любуясь дивными видами и нравами чужих краев. — Но расстаться с родиной?.. Да что там и хорошего на этой родине — день-деньской возня и сутолока, воинские смотры и парады, спуски кораблей, постройки, ни на час отрадного, тихого отдыха... а там выберут тебе иноземную принцессу, о которой не гадал и не думал, и насильно женят. Нет, лучше остаться тут простым, вольным человеком!..»

Мечты царевича не сбылись. По двадцатому году ему посватали в невесты принцессу Шарлотту Вольфенбютельскую. Она показалась ему «человек добр», и через год он женился на ней, в Саксонии, в Торгау. Ему грезилось счастливо пожить с женой, но и это ему не удалось. Вскоре потребовали его от жены в корпус Меншикова, под Штетин, и он пробыл там всю весну и лето, а осень и зиму в Мекленбурге, откуда, по воле отца, отправился с мачехой в Петербург и хоть по дороге думал встретиться с женой, бывшей все еще в чужих краях, но и здесь не видел ее. В следующем году сама жена прибыла в Петербург и снова неудачно — царевич находился в то время при войске, в Або; через месяц он возвратился из похода, но опять его поспешно услали, для надзора за корабельными работами, в Ладогу.

В таких-то постоянных разъездах и мыканьях шли первые годы семейной жизни царевича. Согласия и лада с иноплеменною женой, не знавшей ни слова по-русски и окруженной собственным двором, не было и быть не могло. Выходили частые ссоры; царевича содержали скудно. От огорчений он снова захворал и вторично был послан на излечение за границу. Наблюдательный ум его нашел там немало пищи для размышления и сравнений родного гнета с чужеземными порядками и льготами. В Карлсбаде, Франкфурте и Берлине он накупил немецких, французских и польских книг, философские трактаты Барония, Де Лявальер и Ларима, басни Езопа и другие. Полюбив, благодаря жене, музыку, он посещал духовные и светские концерты и следил по курантам за церковными и общественными событиями. По собственному благочестию, прочтя когда-то пять раз подряд Библию по-славянски и творения св. отцов, он теперь ознакомился с книгой «Манна небесная» Дрекселя, с рассуждениями «об истинной правде», о том, «как скоро ученым себя сделать», «как без болезни жить» и пр.

На родину царевич возвратился здоровый, но еще более настроенный против дел, убеждений и стремлений отца. Да и как ему было сочувствовать отцу? Их нравы были совершенно чужды и даже противоположны друг другу.

Добрый, мягкий сердцем, щедрый и впечатлительный, царевич походил не на отца, а на тезку-деда — «тишайшего царя» Алексея Михайловича и отчасти на дядю, отцова брата, царя Федора Алексеевича. Суеверный и набожный, как дед, он был не прочь заняться нетрудными делами, предпочитал изучению неголоволомное чтение и умные разговоры, не отвергая пользы от образования и изучения языков. Подобно же дяде, царю Федору, он был подозрителен, слаб волею, скрытен и осторожен до трусости. Вставая поздно, за всякое порученное отцом дело брался неохотно и вяло. Огненный, не знавший покоя и удержу, нрав непоседы-отца не выносил обычаев сына. Он осыпал его укоризнами, стыдил наедине и при других, но все укоры шли мимо. Сын не

любил отца и как тирана своей матери, а сознавая, что нет более тяжких мук, как требование изменить, переломить врожденный нрав, питал к нему только недоброжелательство и страх.

Уклоняясь под разными предлогами от зова на отцовские смотры войск и верфей, свои домашние досуги он проводил за беседой и тихой, хотя подчас и более знатной, выпивкой с близкими приятелями, с которыми, в подражание «всепьянейшему собору» отца, и у него, в его холостые годы, бывали такие же «соборные» заседания и бдения. Принося жертвы Бахусу, отец своим сотрапезникам давал клички «всешутейшего князь-папы», «князь-игуменьи», «патриарха Яузы и всего Кокуя»; участники пирушек царевича также носили клички: «Жибанда», «Захлюстки», «Ада», «Сатаны» и других.

Женитьба мало изменила наклонности и привычки царевича. Хотя после семейных ссор и огорчений иногда во хмелю он и жаловался «собинным» друзьям на жену: «Вот, батюшкины клевреты чертовку-немку навязали мне! Иду к ней, а она все сердитует!» — молодая образованная кронпринцесса находила способ обуздывать и снова привлекать к себе разгневанного мужа: вывезя из родного Брауншвейга любовь к музыке, она прекрасно играла на клавесине. Торжественные сонаты и фуги Баха, суровые псалмы и оратории Генделя и нежные прелюдии, арии и менуэты Скарлатти приковывали к себе, в ее исполнении, внимание царевича. В неизъяснимом восторге, потрясенный и растроганный до глубины души, он нередко по целым часам не отходил от клавесина, подарка невестки, из которого обыкновенно сухая и чопорная, затянутая в фижмены, кронпринцесса извлекала такие нежные и сладкие, бурные и страстные звуки. Особенно Алексею нравилась в игре жены одна из сюит Генделя. Начинаясь ленивой и медленной саксонской алемандой, она переходила в оживленную французскую куранту, сменялась жгучей испанской сарабандой и кончалась безумно-веселой английской жигой. «Еще, либхен, герцхен, еще! — повторял он жене, слушая эту сюиту и не отходя от клавесина. —

А потом, bitte, из Ринальдо и Те-деум!..» Кронпринцесса молча поворачивала ноты и снова без умолку играла.

С минувшей осени все это кончилось. Жена царевича, родив сына, неожиданно для всех скоропостижно умерла. Клавесин закрыли, ноты с него убрали. Вдовый царевич заперся в своем дворце и никуда не показывался, по-видимому, ни от кого и ни от чего не ожидая более отрады и счастья по душе.

На стене, над клавесином, однако, появилась лютня. Откуда она взялась и кто на ней играл, об этом знал только он сам и немногие из его ближних.

II

«Да! Как это было, как случилось?.. И неужели, Господи, все это произошло?» — с замиранием сердца вспоминая о прошлом, думал царевич. И сколько он ни думал, мысленно кончал: «Да, все это было, произошло, но воротится ли опять?»

Два года назад ему купили у Нарышкина алатырскую вотчину, село Поречье. Едучи туда, он остановился по пути на ночлег в подмосковной деревушке Вязёмах, родине бывшего своего дядьки Никифора Вяземского. Звонили к вечерне. Царевич зашел в церковь, а после службы присел на поповом крылечке. Был конец покосов. Улицей с поля шли косари и гребцы, спешившие к празднику по домам. Несколько гребчих, с домочадцами попа Созонта, вошли в его двор. Между ними царевич разглядел статную и рослую, в белом платке, над густой темно-русой косой, девушку. Она бодро и весело шла с граблями на плече; а когда во дворе увидела, что поповым работникам не сложить с телег до ночи в сарай подвезенного нового сена, крикнула товаркам: «Ну-ка, девушки, Веронья, Федосья, за рожны!» — и принялась помогать рабочим. Алексей видел, как эта дюжая, полногрудая и голубоглазая девушка, откинув с головы на

спину платок, смеясь и скаля зубы, быстро взмахивала рожном и, то нагибаясь, то выпрямляясь и опять натуживаясь всем станом, подавала в окно сарая тяжелые сенные вороха. Долго следил царевич с крыльца за этой гребчихой, любуясь ее ловкостью и радостным блеском ее красивой и сильной природы. «Кто это?» — спросил он попадью, шедшую в ворота от сарая. Та оглянулась на сенник. «Толстогубая-то?» — спросила, усмехаясь, попадья. «Да, что впереди всех». — «Наша питомка». — «Как звать?» — «Фрося». — «Откуда она у вас?» — «Твоего пестуна, а нам кума, Никифора Кондратьевича Вяземского, крепостная, из пленных, что ли...» — ответила Созонтиха. «Где взята в полон?» — «Под Полтавой, сказывали, отбита с братом у шведов; малыми ребятками были, Ванюша да Фрося, не помнящие ни племени, ни родства; может, из богатой дворянской семьи, убиенной на войне, — руки были белые, лица чистые». — «Как же они попали к вам сюда?» — «Раздавали в ту пору пленных боярам, этих записали за Вяземским, а он девчурку отдал, до возраста, в науку нам, бездетным, а мальчонку в певчие. Девка выросла у нас, всякому рукомеслу обучилась, у мужа грамоте, а у братишки с голоса петь и надседается нынче инова, как жавороночек тебе либо как та пеструшка, и на клиросе поет...» — «Где же ее брат?» — «Был тоже сперва у нас, а недавно в собор, в Каширу, батюшка отослал».

Задумался царевич. Рабочие и домочадцы от сенника разошлись. Двор опустел. Дюжая, с рожном в руках, загорелая и весело скалившая зубы полонянка не выходила из головы Алексея. «Писаная красота! — мыслил он. — И как жаль! Не здесь ей быть, не на грубой и черной, простой работе! И почему Никифор столько времени молчал, хоть слово бы сказал о своих пленных?»

Стемнело. Царевич вышел в сад и долго там ходил. Ночь была теплая, безлунная. Из-под развесистых ив и лип он прошел в вишенник, оттуда на полянку к реке, в малинник. Воздух был напоен цветущими липами. За околицей водили

хороводы; по реке неслись песни девок и парней. Вдруг Алексей замер. С вышки попова дома, через сад, послышались сперва тихие, потом более явственные струнные звуки, как бы от гуслей или торбона. Одно из окон на вышке было отворено. Струнам вторил и человеческий голос; пела, очевидно, женщина. «Неужели она, этот жаворонок, пеструшка?» — подумал царевич, упиваясь переливами голоса и струн. С шибко бившимся сердцем он направился, пробиваясь сквозь кусты и деревья, к дому. «Лютня! — проговорил он себе, узнав инструмент, не раз слышанный им в горах Саксонии. — И так стройно, душевно берет, искусница, лады!» Звуки затихли, окно на вышке притворилось, но Алексей еще долго бродил по тропинкам сада, поглядывая на вышку.

На другой день он был у обедни. Сельская церковь была наполнена молящимися. Дьячку и пономарю на клиросе подпевали племянницы священника и его питомка. Последняя читала и Апостол. Царевич не узнал гребчихи. В праздничном алом сарафане и белых кисейных рукавах, с двумя густыми русыми косами в синих лентах, взойдя на амвон среди церкви, она так степенно поклонилась на три стороны и, опустив глаза в книгу, так истово и толково-звучно вычитывала святые слова, хоть бы первому грамотею и чтецу. Когда лысый подслеповатый пономарь в конце обедни вынес царевичу из алтаря на блюде просвиру, Алексей, приняв ее с крестом и глядя на клирос, где стояла чтица, положил на блюдце золотой дукат.

Царевич прожил в то время в Поречье недолго, опять завернув в Вяземы, где отдыхал и охотился, а когда вернулся в Петербург, Вяземский неожиданно для всех прислал обоим своим крепостным пленным отпускные. Бывший каширский певчий, Иван Федоров Афанасьев, тогда же был взят в Петербург, ко двору царевича, где его назначили камердинером и гардеробмейстером Алексея, а вскоре к нему на побывку приехала и его сестра, Афросинья Федоровна, по прозвищу взявшего ее в плен полтавского козака, Смолоку-

рова. Она несколько раз навещала брата и впоследствии. При жизни покойной жены царевича его ближние поговаривали о ней как о будущей, новой камер-медхен Шарлотты. Такого назначения Смолокурова не получила, хотя, гостя у брата, при дворе царевича, допускалась и в собственные апартаменты кронпринцессы, где ее жаловали дозволением поиграть на лютне. По смерти кронпринцессы Афросинью отправили обратно в деревню, но уже не в Вяземы, а, в уважение ее брата, на мызу царевича, доглядывать за огородом, птичней, прядильным двором и садом, в Поречье. Попа Созонта туда же перевели.

Все о ней вскоре забыли и вовсе перестали толковать. Не забыл о ней сам царевич. Он не только поминал ее, но тайно переписывался с нею, посылал ей через ближних своих и получал от нее нежные грамотки и, глядя на оставшуюся после нее лютню, с замиранием сердца, робко думал: «Вот где мое счастье, вот отрада! И ничего другого, кроме этого рая, жизни с нею, если бы только то случилось, мне более не нужно!»

Те же мысли наполняли Алексея и теперь.

«А отец? Что скажет он, как узнает? — в ужасе подумал он. — Куда загонит меня, какие кары наложит?» Царевич вспомнил о грозных письмах, полученных от отца. Их было два и оба они лежали теперь у раскрытого ларца. Он приподнялся и бледными, тонкими пальцами потянул к себе эти письма. «Неужели же их написал отец? И какой отец мог выражаться так сурово и беспощадно зло? Да, его почерк, его мысли!» — Алексей с содроганием снова прочел два послания.

Первое письмо, врученное царевичу в минувшем октябре, вслед за похоронами невестки, Петр озаглавил: «Объявление сыну моему». Вспоминая в нем свои успехи, после начальных тяжелых годов своего царения, он выразился: «И егда, сию радость рассмотряя, обозрюся на линию наследства, горесть мя снедает, видя тебя, наследника, весьма на правление дел государственных непотребного, — ибо Бог разума тебя не

лишил, ниже крепость телесную весьма отнял». — «Есмь человек и смерти подлежу, — говорилось в заключение этого письма, — то кому оставлю? За благо изобрел я сей тестамент тебе написать и еще мало подождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, известен будь, что я тебя наследства лишу, яко уд гангренный; и не мни себе, что ты один у меня сын и что я сие только в устрастку пишу: воистину, како могу тебя, непотребного, жалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный».

Получив это письмо, Алексей бросился за советом к тайным своим друзьям, в том числе к ближайшему из них, дворецкому его тетки, царевны Марьи Алексеевны, Александру Кикину, жившему невдали от него, в собственном доме, у Смольного двора. Друзья сказали: «Давай писем хоть тысячу, еще когда-то что стрясется! Улита едет, да коли-то будет! Это не запись с неустойкою!» Алексей, помедлив, ответил отцу: «По погребении жены моей, отданное мне от тебя, государь, вычел, на что иного донести не имею, только, буде изволишь, за мою непотребность, меня наследия лишить короны российской, — буде по воле вашей, — о чем и я вас, государь, всенижайше прошу. Всенижайший раб и сын ваш Алексей».

Второе письмо Петра сыну от 19 января было еще суровее. На нем значилось заглавие: «Последнее напоминание еще». «Только о наследстве вспоминаешь, — писал в нем отец сыну, — и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня; а что столько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет хранить? Хотя бы и истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен. Так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невозможно. Или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах. На что дай немедленно ответ, на письме, или самому мне на словах резо-

люцию. А буде того не учинишь, то я с тобой как с злодеем поступлю».

Полученное шесть дней назад, это письмо еще более взволновало и огорчило Алексея. Он снова поспешил к Кикину.

— Да чего же ты сомневаешься, царевич? — сказал советник. — Придет время и расстрижешься: клобук ведь не гвоздем к голове прибит!

Алексей на другой день ответил отцу: «Милостивейший государь-батюшка. Письмо ваше я получил, на которое больше писать, за болезнию, не могу. Желаю монашеского чина и прошу вашего о сем милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын Алексей».

Перечтя письма, Алексей молча уложил их обратно в ларец и спрятал его в шкаф. Он вспомнил опять о Смолокуровой. «Как я низок и гнусен, что так мало забочусь и думаю о ней! — мыслил он, прохаживаясь по комнате. — Почти забыл ее, а она теперь единственное мое счастье, вся отрада! И как она любит, какие грамотки пишет; умница, богобоязненна, хозяйственна и добра. Но давно не отзывается — уж здорова ли?»

Алексей живо представил себе дальнейшие встречи с Афросиньей в Вяземах, через которые он не раз потом ездил на осмотр новокупленной вотчины и где иногда оставался охотиться. После вечерни, когда он впервые увидел ее во дворе священника, он, едучи с борзыми по полю, неожиданно встретил ее у опушки леса. Смолокурова собирала с подругами грибы. Алексей заговорил с нею, шутил. «Какие мы милые да красавицы, с такими-то ручищами! — усмехнувшись, ответила она, показывая свои загорелые, точно испеченные на солнце, руки. — Этакими только жать да вязать снопы!» Случались и другие встречи, за околицей, на дороге, у мельницы на реке. Царевичу приходилось вскоре возвращаться из Поречья в Петербург. Вяземовский священник в ту пору отлучился в Москву... Темной ночью к задворкам его усадьбы подкатила телега. Бубенцы и колокольчик на

лошадях были подвязаны. Садом в огород неслышно сошла попова питомка. Ее подхватили через забор и усадили в телегу. Лошади помчались. Ими правил в кучерском наряде сам царевич. Утром спохватились питомки — ее и след простыл. Впоследствии оказалось, что ее увезли, с поклажей царевича, в особой колымажке, в Москву. Здесь она некоторое время скрывалась в доме приятеля царевича, Александра Васильевича Кикина, а потом навещала в Петербурге своего брата, уже служившего при дворе Алексея.

III

Дверь в кабинет из спальни отворилась. На ее пороге появился, радостно сияющий, с подносом в руке, камердинер.

— Что ты? — спросил его царевич.

— От Александра Васильевича, — ответил слуга, подавая на подносе письмо из Москвы, — коли что надо, наказал, писали бы; вечером, мол, опять в вотчину оказия.

Алексей в надписи на письме узнал четкий, прямой и крупный почерк Афросиньи.

— Ну, хорошо, ступай, — сказал он, — позову, когда надо.

Краска залила его лицо. С забившимся сердцем он вскрыл печать. На пакете была надпись: «Государю моему, другу сердечному, царевичу Алексею Петровичу. Прийти близко, поклонитеся низко, честь весело, быть радостну». В письме было написано: «Государь мой батюшка, друг желанный, царевич Алексей Петрович, здравствуй на много лет! Аз же, по воле Божией жива еще, по десятый день сего януария. Не забудь, радость, любовь мою к тебе, а во мне дух с печали едва жив. Ох, друг мой, любонька-свет! С ежечасной докуки света Божьего не вижу. Будь крылья у сироты убогой, сама прилетела бы. Ой, скучно, смерть моя! Мил-человек день и ночь в глазах. И где прежние веселые восхищения, где радости? Либо вызови, либо сам

приезжай. Дай повидать светлые оченьки. Сам не можешь, хоть вели, солнышко, ближним по тайности отписати. Да пришли мою семиструнку. Ей, соскучилась, не на чем душеньку отвести. А я, писавши, остаюсь верная твоя раба, женишка запретная Фроська, челом премного бью».

«Не запретная и не по тайности, когда-нибудь все то обретется и в явь!» — подумал царевич, пряча за пазуху письмо Смолокуровой. Он снова присел к столу, достал бумаги, вырезал конверт, надписал на нем: «Матушке, хозяюшке, любезнейшей Афросьюшке. Прийти близко, поклонитеся низко, честь весело, принять радостно» — и подумав, с расстановками, написал следующий ответ:

«Матушка Афросьюшка, друг мой сердечный, здравствуй! О себе извествую, Божьею помощью такожде еще жив, о твоем же здравии непрестанно слышати желая. А что безгласна по се число была, ни единой грамотки не писала, и тем уязвися сердце мое печалью. Никто с вотчины не писывал же, а иные с домов непрестанно получают. Ей, матушка, любонька, утешь, пожалей; не мало тяготы и смертных докук от вышней стороны имеем. Инако же не думаем, как об увольнении нас от всех дел на покой, на наше с тобою хозяйство. Как наши лебёди, павлины, гуси, живы ли? Как житный, скотный и конюший дворы? Такожде урожай каков вышел, варят ли брагу, меды? Дал ли Бог уберечь улечков, пчел молодых? Придет вешня пора, опиши все, сбережены ль пруды и как уродит всякий новый овощ и хлеба. Улетел бы я к хозяюшке. Вспомяни гулянье в роще. Воззревши кверху древа и видя гнездо и птичища, в нем сидяща, кому в те поры уподобила мя еси? Малейшей птичицы хуже! У той — зелена, густа дубрава, у нас сирот — скорбная тюрьма; у той — высота синь небесная, воля — свет, нам от родшего ны — таковы печали, абы, случаю зовущу, не умрети без покаяния. И что ныне приводится: либо насильно постригщитись, идти в чернецы, либо таки на иноземной велят жениться. Только батюшка вершит свое, а Бог свое. Попустит Бог, женюсь, только по своей воле, — вить и батюшка таковым же образом учинил...»

Написав это, Алексей остановился и оглянулся. «Ну, как кому из сторонних смотрельщиков попадутся эти строки? — подумал он. — Пустяки! Некому теперь смотреть и доносить. Отец с осени ни ногой сюда, со мной вовсе не говорит, а написав последнее свое напоминание, и окончательно махнул на меня рукой. Будь, что будет, — сердцу не преградить пути».

Алексей вспомнил просьбу Смолокуровой о присылке ей в Поречье лютни. Он снял последнюю со стены, отер с нее пыль, тронул ее струны. Ему вспомнилась песня, которую под эти струны пела Афросинья:

Ах, сколь трудно человеку
Жить без счастья в младом веку!
О младые мои лета,
Что дрожайша всяка цвета!
Коли пройдет цвет младости,
Не чаешь уже быть в радости...

— Именно, — сказал себе Алексей, — на что и почести, сила и высокий сан, коли нет счастья, нет радости?

Он снова склонился над бумагой и дописал: «Семиструнку твою, не без жалости, отсылаю, целуя личико белое, оченьки ясные, рученьки и ноженьки. И пожалуй, матушка, не молчи, отписывай, а коли твоя воля на то, изволь без опаски и к нам побывать. Вышние на днях паки отъезжают к армии и надолго, и им, по всему видать, ныне не до нас. За сим, будь здорова, кланяюсь долоклонно. Писавый — друг твой верный, Алексей».

Запечатав письмо, царевич позвал слугу, отдал ему пакет и лютню и велел немедленно отослать с ездовым к Кикину. «Да в руки самому Александру Васильевичу, слышишь ли? — приказал он. — Ему одному; не будет дома, чтоб обождал». — «Не сомневайтесь, ваше царское высочество! — ответил слуга. — Недалек путь, сам отнесу».

Алексей, с облегченным сердцем, опустился в кресло.

«Верно написал я, — мыслил он, — батюшка вершит свое, а Бог свое. Мало ли на что, по вынуждению, согла-

шаются? Ужли и вправду надеть рясу и клобук, что Василию Шуйскому? Не попустит Бог, руки коротки!» Он вспомнил о забытом кофе и только что коснулся чашки, на улице послышался звук барабана. Часовой у подъезда бил тревогу. Царевич бросился к окну и замер в недоумении.

Караул у подъезда строился во фронт. Прохожие на улице снимали шапки. Со стороны Литейной неслись государевы сани. «Не ко мне, вероятно, мимо, на прядильный двор, — подумал царевич, — незачем ему сюда!» Сани между тем подкатили к крыльцу. Отдав честь караулу, государь вышел из саней, отряхнул с себя снег и стал подниматься на крыльцо. Совершенно растерявшийся Алексей несколько секунд не знал, что делать. Опомнившись, он схватил с полки, раскрыл было на столе еще осенью присланную отцом тетрадь пушкарных чертежей, но раздумал, прилег на софу и, повторяя мысленно: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» — принял вид недужного и страждущего. В прихожей послышались знакомые тяжелые и твердые шаги. Они близились к приемной. «Где же он? Здоров ли?» — громко спрашивал растерявшихся слуг голос Петра.

В то утро, проснувшись, по обыкновению, с зарей и откинув занавеску с окна, государь навел подзорную трубу на противоположный берег Невы, где на окраине Летнего сада, рядом с каменным двухэтажным дворцом Екатерины, тогда строился новый флигель, очень заботивший Петра. Он сам в то время продолжал еще жить в крошечном деревянном дворце, на Петербургской стороне, где ныне часовня Спаса. Все его помещение состояло из маленькой приемной, служившей вместе и столовой, еще меньшей дежурной комнаты для адъютантов и ординарцев и кабинета, где государь и спал.

Дежурным в то утро состоял недавно возвратившийся из армии, посланной против шведов, бывший любимый государев денщик, ныне капитан гвардии, Александр Иванович Ру-

мянцев. Ему было несколько не по себе. Явясь по привычке на дежурство до рассвета, он с тревогой поглядывал на узенькую кабинетную дверь. Нагоревшая сальная свеча тускло освещала дежурную комнату. Увидев на стуле у двери государев суконный зеленый кафтан, такие же штиблеты и камзол, а на полу высокие, с раструбами, сапоги, Румянцев, не дождавшись камердинера, достал из шкапика в углу комнаты ваксу и щетку, почистил государевы сапоги и принялся за его платье. Заметив отпоротый на камзоле позумент и плохо державшуюся на кафтане пуговку, он отстегнул у себя лацкан, где про запас всегда держал иглу, обмотанную ниткой, и, подсев к свечке, принялся штопать. «Вот она, его бережливость! — рассуждал он, закрепив пуговку и принимаясь чинить камзол. — Побывал я и в Турции, и в Швеции, сколько одежи истрепал, а он все одно и то же носит платье. Оно у него и будничное, и праздничное, залоснилось на отворотах, стамед на подкладке вытерся, а ему ничего — о лучшем наряде и не думает. Хорошо еще, скупился бы на себя, да нас не забывал бы... Куда! Зовемся ближними, видят по все дни его царскую расположенность к нам, а в домашнем обиходе совсем истончали, живем скудно, чуть не в бедности и последней тесноте. Тридцать шестой год пошел, двенадцать лет несу службу — и никакого состояния; хоть бы деревнюшкой какой пожаловал или домом в столице. А того ли можно было, поблизости к цареву дому, ожидать?» Румянцеву вспомнилась первая его встреча с царем.

Сын бедного костромского дворянина, двенадцать лет назад записанный в преображенские солдаты, он стоял на часах у только что отстроенного государева дворца. Петербург в то время также едва возникал из болот. Был сильный, с ветром, мороз. Продрогнувший до костей, в неподбитом мехом плаще, широкоплечий и рослый, разрумяненный на морозе часовой, пожимаясь и постукивая ногой об ногу, прохаживался у дворца с ружьем на плече. Государь был на постройке верфи. Все поглядывали на Неву; пушка давно пробила адмиральский час, а государя еще не было. На льду

показались, наконец, государевы сани. Завидев у крыльца статного, молодцеватого солдата, Петр подозвал его к себе. «Как прозываешься?» — спросил он. — «Румянцев». — «Прозвище и лицо одной масти! — улыбнулся Петр. — Коли нрав и ревность к службе не разнствуют от того ж, быть тебе на отличии... Имеешь состояние?» — «У отца двадцать душ». — «Сильно озяб?» — «Никак нет, это что еще за мороз! Клюет только, не рвет...» — «Шуба есть?» — «В деревне у матушки осталась, тут не до шуб». — «Молодец!.. Сменишься, зайди к Данилычу». После смены, явясь к Меншикову, Румянцев был осчастливлен двумя монаршими милостями: ему поднесли стакан собственной царской перцовки и объявили, что государь изволил принять его, с того же дня, в ординарцы. За расторопность, честность и точность в исполнении множества ежедневных поручений государя он вскоре был произведен в сержанты гвардии, за привоз из Турции известия о мире с Портой — в поручики и через три года — в капитаны гвардии.

«Отличий, что и говорить, немало, а жить все-таки нечем! — мыслил Румянцев, кончив штопанье государева платья и пряча иглу. — И сколько раз жалобно печалился я ему; один ответ: подожди! Ну, да, Господь даст, скоро авось оправимся. Отец наехал, сватает богатую невесту. Только как и с этим решиться, не объявясь царю?»

IV

Бережно сложив на стул государеву одежу и видя, что начало рассветать, он загасил щипками свечу. Вскоре за дверью послышались шаги государя в туфлях. Румянцев, по привычке, каждую минуту угадывал, что в известную пору делал государь. «Вот он откинул занавески у окон, умывается, — думал он. — Теперь умылся, чешется, скоро возьмет одежу, станет молиться». И точно, дверь приотворилась, в нее просунулась мускулистая волосатая рука государя:

Петр сам взял платье и сапоги. Слышно было, как молча постоял, очевидно, молясь, и присел к рабочему столу. Прошло с полчаса. Послышался стук отодвинутого стула; зазвучало точильное колесо. «Точит костяное паникадило — скоро выйдет!» — сказал себе Румянцев, бросаясь в столовую, взглянуть, все ли там припасено. Дверь отворилась.

— А это ты, Иваныч? — произнес Петр. — И, кстати, есть дело к тебе. Готова ли закуска?

— Готова, ваше величество.

Петр направился к столовой. Румянцев у ее порога упал перед ним на колени.

— Что ты? — удивился государь.

— Много, превыше заслуг, твоею милостью, государь, почтен, только не осуди за правое слово.

— В чем дело?.. Встань, говори.

Петр вошел в столовую, Румянцев за ним.

— За твои милости, великий государь, до конца дней буду молить Бога о твоем здравии, — сказала он, поднося Петру флягу тминной. — Люди мы только, прости, мелкотравчатые, малопоместные, жить в скудости и бедности тяжело. За что попускаешь терпеть недостатки?

— Учись, братец, терпенью, продолжай отличаться по службе, — произнес Петр, выпивая тминной и закусывая ее кренделем, — придет время, рука моя развернется, посыплются и на тебя всякие земные дары и блага.

— Казна у тебя, батюшка царь, не богата, — продолжал Румянцев, — много про нее нужд, а нас, просящих, у тебя еще того больше... Есть, государь, иной способ...

— Какой?

— Родитель сватает мне богатую невесту; назначена и вечеринка для смотрин и сговора.

— Сколько за невестой приданого?

— Тысяча душ.

— Чьих будет невеста?

— Племянница Кикина.

— Какого?

— Александра Васильевича.

— Но у него свои дети, почему так награждает племянницу?

— Ее мать была из богатых, родная сестра жены Кикина, у них сирота и выросла.

Петр помолчал.

— Нравится девка тебе? — спросил он. — Видел ты ее? Хороша ль?

— Не видел, государь, не утаю; а сказывают, не дурна и не глупа.

— Так с чего ж тебе за нее свататься? Ужли потому только, что коза с золотыми рогами?

Румянцев смешался, подыскивая, что ответить государю.

«Кикин, — с досадой думал тем временем Петр, — сынку моему тайный доброхот и раделец во всех его непотребствах; смекнул, видно, что царскому ординарцу легче, чем иному, дойти до первых степеней, и затеял сбыть свою родню».

— Вот тебе, Румянцев, мое решение, — сказал государь, вставая из-за стола. — Вечеринке и смотринам почему не быть, дозволяю, от сговора же всячески помедли, удержись... Когда назначена вечеринка?

— Завтра.

— Простая или как быть следует, с музыкой и танцами, ассамблея?

— Ассамблея.

— Отлично. Дай сейчас знать Кикину, я и сам буду у него на смотринах; и коли невеста тебе пара, не стану перечить браку и твоему счастью.

Румянцев низко поклонился.

— А вот и кстати, — сказал Петр, увидя в окно готовые сани у крыльца, — едем вместе; мне к Литейной, и тебе туда же — подвезу.

Румянцев стал на запятки государевых саней. Осмотрев постройку у Летнего сада, Петр на Литейной ссадил Румянцева, а сам, повернув на Шпалерную, остановился у дворца Алексея.

— Что же и впрямь хвораешь? — спросил он, войдя к сыну и видя, что тот, унылый и бледный, лежит на софе.

— Недужен, государь-батюшка, — ответил, поднявшись и кланяясь, Алексей.

Петр зорко осмотрел его, приподнял его волосы, коснулся лба и взял его руку.

— Жара не слышно, пульс умеренный, лихоманки, стало быть, нет — в чем же немочь, скажи?

Сын молчал. Отец взглянул на стол.

— Чертежи рассматривал, — произнес он, — сделал ремарки?

— Прости, государь, за хворостью, не успел.

Петр покачал головой.

— Все некогда? — сказал он. — Мы к обедне — там отпели, мы к обеду — там отъели, мы в кабак — только так... Верно ли говорю?

Увидя на полке духовные, в почернелых переплетах, книги, Петр взял одну из них, разогнул и стал просматривать.

— Ужли и впрямь готовишься, — спросил он, — слушая своих бородачей, под клобук?

Алексей молча переступил с ноги на ногу.

Петр бросил книгу на стол и опустился в кресло.

— Слушай, Алеша, — сказал он дрогнувшим голосом, — сядь и обдумай, что скажу.

Царевич сел, против отца, на софе.

«Боже-Господи, — с радостно забившимся сердцем подумал он, — Алешей, как в детстве, назвал! Алешей, вместо ненавистного, немецкого Зоона, и так добродушно... неужели привез прощение и забвение всему?»

— Ой, черноризцы, попы, бородачи, корень всякому злу! — начал Петр. — Не научат они тебя, любезный, добру, помяни меня: учение в этих книгах светло, да душа-то их и сами они черны, как переплет. К нам приставлено по одному бесу, к ним по семи. Скажи мне, только откровенно, не картавя, без удобовымышленных аргументов и лживых рацей, — почему в столь ранние годы предпочитаешь ты

живому, бодрящему делу монашеский чин?.. Одни мы, никто нас не слушает, говори...

Государь встал, заглянул в приемную и в опочивальню сына, запер обе двери и снова сел.

— Батюшка, — ответил царевич, — дело простое: не всякому под силу тяжелый труд, тем паче воинское поведение.

— А меня, Алеша, тебе не жаль? — произнес Петр. — Ты обучен всему, получил доступ к умным книгам, я же во младости был лишен не только дельных наставников, но и книг... Невзирая на то, поднял я непомерное бремя на плечи, отечество от прежних азиатских обычаев ввел в Европу, и везде один, один, как перст. Давно говорю тебе и всем вам: левшей не владею, в одной же руке держать шпагу и перо возможно ли, а помощников верных, сам знаешь, ни одного... Да хотя бы и были, разве они то же, что родной сын?

Слезы навернулись на глазах Алексея. Он дышал тяжело.

— Батюшка, помилуй, — сказал он, схватив руку отца и покрывая ее поцелуями. — Не повелишь из жалости в монахи, не принуждай к делам, коих недостоин и не осилю, отпусти, уволь от всего.

— Как уволить? — спросил, нахмурясь, Петр.

— В деревнишки мои, на хозяйство, — ответил, не выпуская руки отца, царевич. — Ныне Господь дал мне брата, у вас второй есть сын, до его возраста управят другие; дай век в тихости прожить, простым человеком.

В глазах Петра сверкнул гневный огонь. Угол его рта, с подстриженным усом, судорожно задвигался.

— Это откуда, — вскрикнул он, вырвав от сына руку, — подсказано? Пароль суздальской чернохвостницы? Глуп ты, Алексей; двадцать шесть лет тебе, а ты как птица желтоносая, безнерая, все в чужой рот смотришь. Эй, остерегись слушать льстивую древнюю змею и всех черных ворон, старцев да попов, ее приспешников и верных слуг. Ну, да ты правды не скажешь и не сознаешься. Впоследствии сам доподлинно узнаешь их скрытую прелесть и клевретные поступки. Недаром, поймешь, пошел я, с костылем Грозного,

на всех этих бесчинников и их крамолу. У истории рот незатворенный — потомство узнает все.

Петр замолчал, стараясь утишить поднявшееся в нем негодование. Царевич обсуждал, сказать ли отцу заветную свою мысль об Афросинье. «Мы с ним на одной стезе поставлены судьбой, — мыслил он, — подобно ему, и я полюбил пленницу, только он немку, я русскую, он при живой жене, я вдовый. Кто из нас более прав?»

— Так что же ты скажешь, чем окончательно решишь? — спросил Петр. — Через три дня еду в Копенгаген, хочешь ли быть мне помощником, или, в стыд и досаду отечеству, на самом деле примешь монашеский чин? Ужели царевичу, моему сыну, быть в нетех?

Алексей склонил голову. «Не согласится отец, — мыслил он, — еще от гнева разразится вконец, изведет неповинную».

— Позволь, государь, постричься, — ответил он, кланяясь в пояс. — В том мое решение, коли позволишь, нерушимо.

Петр, медленно выпрямляясь, встал. «Вот оно, Авдотьино семя, упорный заклятой род Милославских, вот оно! — подумал он, с горечью глядя на сына. — Да не будет потачки лицемерам и всякому их дурну и злу! Малого обошли, опутали черные пауки... Надо дать время; авось сам комар вырвется из их паутины».

— И это твое последнее слово? — спросил государь.

Алексей молча поклонился.

— Прощай же! Дело важное, одумайся, не спеши. Мое мнение — лучше взяться за открытую, прямую дорогу, чем в столь молодые годы идти в чернецы. Я же не забыл, что тебе отец, а потому вот тебе и мое последнее слово: буду ждать окончательного твоего решения, от сего дня, еще полгода.

Петр надел шляпу, обнял сына и направился к выходу.

— Кстати, — сказал он, одевшись и спускаясь с крыльца к сеням, — у нас скоро быть помолвке, твой приятель Кикин племянницу сватает.

— За кого, батюшка?

— За капитана Румянцева; не был бы ты в трауре, вместе бы поехали — я же завтра на смотринах буду.

«Вот удивительно, — подумал царевич, — отец собирается к Кикину: знать, не к добру».

Проводив государя, Алексей медленно возвратился в кабинет, постоял перед столом и упал, горько рыдая, на софу. «Молодые годы!.. Прямой путь! — мысленно повторял он, ухватясь за голову. — Но если бы точно все это говорил отец, если бы он по правде любил меня, ужли для молодости, для счастья родного сына он не уважил бы его искренней, душевной мольбы?»

V

На другой день была ассамблея у Кикина. Гостей съехалось много. Кроме радушия приветливых и умных хозяев всех привлекала весть, что на их вечеринке будет сам государь.

Александр Васильевич Кикин двадцать лет назад, в числе других волонтеров, был при великом посольстве с Петром в Голландии, где с товарищами учился кораблестроению. Вернувшись оттуда, в звании мачт-макера, он состоял на верфях в Воронеже и Олонце. В чине адмиралтейств-советника он снова побывал в чужих краях. По кончине отца, получив изрядное наследство, он стал проситься на покой, но не был уволен. Это было началом его охлаждения к Петру. Назначенный состоять при дворе царевны Марии Алексеевны, Кикин, кроме дома, невдали от двора Меншикова, на набережной Васильевского острова, построил себе еще дом, на Неве, у Смольного двора. Здесь он жил с семьей.

Перейдя в ряд тайных недоброжелателей Петра, Кикин и в первые годы близкой службы при нем не вполне одобрял ломки царем всего старого, освященного обычаями веков. От природы набожный, строго соблюдавший посты и все прочие

церковные обряды, он в домашней жизни охотно допускал непротивные догматам отцовской веры европейские обычаи — вечеринки, музыку, танцы.

Ассамблея у Кикиных была в полном разгаре. Шли угощения сластями и вином. Пожилые играли в карты и шахматы. Танцы, в ожидании царя, некоторое время не начинались; но ввиду того что государь не любил, чтобы им где-либо стеснялись, хозяева дали знак музыкантам, и молодежь пустилась в пляс. Гавоты сменялись менуэтами. Румянцев, познакомясь с девушкой, которую ему сватали, танцевал с нею несколько раз, все поглядывая на входную дверь, где толпившаяся прислуга любовалась танцующими, разряженными в пышные робы дамами и девицами. Вечеринка кончилась; ни хозяева, ни гости государя не видели. Впоследствии только стало известно, что уже в конце вечеринки, когда подпившие старики крикнули «русскую» и двое из лучших гвардейцев-плясунов, выйдя на средину залы с своими дамами, стали танцевать, нежданно подъехавший государь вошел в переднюю, протискался между слуг, поглядел из-за них на гостей и, проговорив вполголоса: «Неважно! Ничему не бывать!», уехал.

Наутро Петр призвал Румянцева.

— Был я, братец, у Кикиных, — сказал он ему, — накоротке, а все видел; невеста тебе не пара и о браке с нею позабудь. Ты вон какой молодец, и ростом взял, и красой, а она хоть и умильна — отнять того нельзя, — но сухощава больно и мелка, вроде, извини, как бы воробушек.

Румянцев нахмурился. «И какое ему дело, — подумал он, — вмешиваться, так разбирать? Одно ясно видно, не хочет он допустить просветления моей участи, даже и через женитьбу».

— Печалишься, недоволен? — спросил Петр. — Успокойся, я твой сват; найду и высватаю тебе получше. Приходи вечером сегодня, увидишь, правду ли говорю.

В тот же день вечером Румянцев снова явился к государю.

— Вчера через тебя я попал на одну вечеринку, — сказал ему Петр, — сегодня сам тебя свезу на другую. Дом, куда поедем, не Кикиным чета. Там будут девушки иные: выбирай любую, какая приглянется, — отказа через меня не получишь.

Государь и Румянцев поехали в дом графа Матвеева, на Луговую.

Андрей Артамонович Матвеев был любимейшим из пособников Петра. Сын знаменитого боярина, Артамона Сергеевича, у которого царь Алексей некогда высмотрел и посватал за себя Наталью Кирилловну Нарышкину, мать Петра, — Андрей Артамонович свои детские годы провел при царе Федоре в ссылке, в Пустозерском монастыре, где изгнанники жили в нужде и в холоде, без печи и без хлеба. С воцарением Петра Андрей Артамонович был назначен двинским воеводой, потом состоял послом в Голландии, Франции, Англии и Австрии. Пожалованный два года назад графом, сенатором и президентом юстиц-коллегии, он поселился в Петербурге, где всех пленял своим широким и щедрым хлебосольством.

Обширный каменный дом графа Матвеева, близ адмиралтейства, на Луговой, состоял более чем из тридцати комнат. К дому, сквозь каменные ворота с дворянским гербом на щите, вела аллея из лип и берез. Стены столовой палаты в доме были обиты немецкими золочеными кожами. Передний угол в ней и часть прилегающих к нему стен были унизаны иконами в дорогих окладах с висящими перед ними лампадами. На прочих стенах висели в резных деревянных рамах «персоны» царей Иоанна Васильевича Грозного, Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича, Иоанна и Петра Алексеевичей, также французского Людовика XIV и шведского Карла XII. Окна в столовой были в два пояса, верхние из них по стеклам расписаны сквозною живописью, фигурами красивых женщин и воинов. На середине полотняного, крытого голубой краской, потолка золотом было изображено солнце с лучами, и вокруг него созвездия и планеты. Из

середины солнца над столом опускалось костяное паникадило, о четырех поясах, с шестью свечами в каждом. В простенках между окон висели зеркала в точеных деревянных, посеребренных и черепаховых рамах. Скамьи и стулья были обиты синим сукном. На полках и особых поставцах красовалась старинная серебряная и золотая посуда — кубки, братины, кружки и ковши с чеканенными на них крылатыми гениями, деревьями и цветами.

В приемной-гостиной палате окна были также в два пояса, но на верхних, вместо фигур, были изображены сады и поля. Здесь был большой, на ножках, голландский изразцовый зеленый камин. На нем стояли часы с боем, и в них, вместо маятника, амур, качавшийся на качелях, под стеклянным колпаком. Стены гостиной палаты были обиты красным сукном вперемежку с холщовыми шпалерами, изображавшими морские виды и корабли. С потолка гостиной, на проволоке, с хрустальными прорезями, спускались три хрустальные люстры. Стулья и лавки здесь были обиты косматым бархатом и бухарскими коврами. В углу, на деревянном станке, стоял немецкий орган. На стене, против окон, висели три голландские картины, с библейскими изображениями: Суд Соломонов, Давид и Голиаф и прекрасная Сусанна у купели; на полках под ними были расставлены разные вещи: шкатулки с янтарной и костяной отделкой, кувшинцы, сулеи и чашки черепаховые, фарфоровые и алебастровые, и костяные фигурки, а по бокам полок висело древнее оружие: мечи и кинжалы с серебряной и финифтяной насечкой, обухи, пищали, протазаны, кольчуги, луки и топоры. Из приемной одна дверь вела в бильярдную, другая — в библиотеку. Здесь в фигурчатых шкафах, вывезенных хозяином из Лондона и Вены, за стеклами, хранилось собрание иностранных изданий и русские книги, по духу времени, большей частью церковные: *«Руно одушевленное»*, *«Евангелие толковое»*, *«О благоговейном состоянии в храме Божием»*, *«Патрик печерский»*, *«О титле венца Христова»*, *«Об антихристе»* и пр. Но были здесь и светские: *«Рифмотеорная»*, *«Право или уставы Галанские земли»*, *«О*

гражданском житии и направлении всех дел, яже надлежит народу и Како царица Олунда близнят породи и како их мать кесарева хотя по убитии».

Едва смерклось, двор графа Матвеева осветился плошками и фонарями. С шести часов вечера начался съезд гостей. В ворота то и дело въезжали шестерками и четверками, на полозьях и колесах колымаги, берлины и открытые калеши. Государь приехал в семь часов. Встреченный музыкой, он хозяином и хозяйкой был проведен в театральную палату, где дожидались уже все гости. Здесь, по знаку хозяина, в глубине комнаты раздвинулась занавесь, и на подмостках, убранных живыми растениями, собственными актерами графа, из его дворовых слуг, была разыграна в переводе комедия Мольера *«Доктор принужденной»*, с веселой интермедией *«О гаере, шляхтиче, цыгане, купце и двух молодках»*. Между действиями гостям разносили вина, пунш и сласти.

По окончании представления начались танцы. Шведский оркестр духовых и струнных музыкантов играл с разубранных хор. Танцевали в двух смежных залах.

Беседуя с моряками, сенаторами и дипломатами, Петр не спускал глаз с Румянцева. Изредка он подзывал его к себе.

— Что, Иваныч, находишь по сердцу? — спрашивал он его. — Нравится кто-нибудь?

— Глаза, государь, разбегаются, только не нашего все полета... где низменной синице сравняться с соколами, с орлами?

— Полно, братец, не дешеви себя, приглядывайся.

В конце вечера, когда у гостей и у самого государя глаза стали особенно веселы от беспрестанно разносимых гданских, токайских и иных вин, государь встал из-за стола, за которым играл в карты с Долгоруковым, Ягужинским и Апраксиным, и подозвал к себе Румянцева. Он приблизился с ним к зале, где оживленные пары танцующих только что кончили веселую, шумную куранту и, медленно двигаясь в менуэте, то приседали друг перед другом, то плавным шагом отходили и, снова приседая, сближались и кланялись.

— Приглянулась, нашел? — спросил Петр Румянцева.

— Прости, государь! Что вижу — неприступно, что нравится — и думать страшусь.

— Ну, а эти три? — указал государь на среднее окно, против которого, с моряком и гвардейцами, танцевали три девушки.

Румянцев знал их. То были белокурые княжны Шелешпанская и Щетинина и черноволосая дочь хозяина дома, графиня Матвеева. «Неужели могу мыслить об одной из этих? — подумал, замирая от волнения, Румянцев. — Нет, царь только испытывает, шутит, после сам засмеет... У каждой за полмиллиона приданого. Отцы же их, за дерзость одного помысла, опозорят, разнесут!»

— Что же молчишь? — спросил, пристально вглядываясь в красавиц, Петр.

— Ум цепенеет, не смею и взора поднять.

— А ты подними, приударь! — усмехнулся Петр. — С малыми да храбрыми батальонами не такие еще фортеции берут. Вот хоть бы княжна Щетинина, да и графинюшка Марья Андреевна... отчего бы тебе не просить их в пару?.. Музыка переменилась; ну-ка, не плошай — начинают гавот...

Государя ждали у карточного стола. Ему была очередь сдавать. Он возвратился туда. Продолжая игру, он видел, однако, что Румянцев, как вкопанный, оставался на месте, следя за танцующими, и не пригласил ни Шелешпанской, ни Матвеевой. «Храбрец по этой части, видно, не из смелых, — подумал Петр. — Надо иным путем».

«Шутит государь или правду говорит? — терялся в то же время в догадках Румянцев. — И неужели дело идет и он намекал о графине Марье Андреевне? Нет, это несбыточно, невозможно!» Краска выступила на его лице. Облокотясь о притолоку двери, он пристально вглядывался в высокую и стройную, черноглазую красавицу, со вздернутым носиком и приподнятой верхней губой, обнажавшей при улыбке белые и острые, как у белки, зубы. Он все забыл, музыку, ярко освещенный зал и танцы, помня одно — эти пышные, черные волосы, вздернутый носик и белые, сверкающие зубы.

VI

Музыка разом затихла, танцы прекратились. Гостей звали ужинать. К государю подошли хозяин и хозяйка. Они, с низкими поклонами, пригласили его откушать в цветочную, носившую название зимнего сада. Петр прошел туда с немногими из приближенных. Румянцев удостоился также ужинать с государем. Не любивший вообще где-нибудь долго сидеть, Петр и здесь то и дело вставал, обходя ужинающих. С бокалом вина, а то и с крылышком недоеденной дичи в руках, он одного из сотрапезников уговаривал выпить налитый хозяином ему, как и прочим, ковш аликанте; другому приказывал, при общем смехе, рассказать, как он некогда был пойман и уличен своей женой в тайной любовной авантюре; третьего заставлял осушить присужденный, по примеру царских ассамблей, общим приговором пирующих, за молчаливость, уныние и скуку огромный кубок мальвазии.

Среди ужина в цветочную двумя слугами, на серебряном блюде, был внесен и поставлен на стол огромный, обложенный цукатами и облитый вареньем и ромом пудинг. Едва слуги отошли от стола, пудинг распался, из него выскочили карлик и карлица, одетые пастушками, и под музыку из залы начали тут же, на столе, между тарелками и бокалами, плясать менуэт. Веселью пирующих не было конца. После пирожного принесли корзину глиняных трубок с табаком. Дым поднялся коромыслом. Разговор стал шумнее. Начались споры, даже перебранки хмельных. Государь, куря трубку, всех подзадоривал. «Какой ты слуга? Я вернее тебя! — кричал, стуча по столу, сенатор Бутырлин сенатору Юшкову. — Вас на алтын меняли!» — «По-немецки пьешь, выпьем по-московски! — твердил Салтыков Стрешневу. — Вот как, видишь? Вот!» — «Древнему другу и благодетелю! В поминанье старых благ!» — обращался Головин к Писареву. «Маменька, друг мой! Вот как люблю!» — отвечал совсем растроганный Писарев. Раздался звон разбитой кем-то посуды. Все хохотали, говорили без умолку. Кто-то, желая

обнять соседа, полез к нему через стол и сапогом попал прямо в блюдо с пирожным. Кого-то за руки, а наконец и за ворот оттаскивали от зеркала, которое охмелевший разбил головой, приняв его за дверь...

Среди общего шума, гама и хмельных восклицаний государь, как видел Румянцев, был, по обыкновению, свеж и бодр. Он встал из-за стола и, с коротенькой голландской трубкой в зубах, прошел с графом Матвеевым в соседнюю комнату. «О чем он с ним беседует?» — размышлял Румянцев, глядя в раскрытую дверь на Петра. Лицо государя казалось озабоченным. Он то вынимал изо рта трубку, поправлял в ней пепел и рассматривал лепные на ней изображения, то опять порывисто курил.

— Завтра еду в Копенгаген, — сказал он Матвееву, — а душа неспокойна — царевича все сбивают; имею несомненный суспет на сторонних, и чего боялся паче всего — связей с Суздалем, с тамошней моей черницей, то, кажется, как раз и действует.

— В чем же твои подозрения, государь?

— Умру, все погибнет, и вместо славы пойдет у нас одно бесславие.

— Не понимаю, прости, — произнес Матвеев.

— Алексея, скажу тебе, склоняют, по примеру матери, также в монастырь — связь понятна... По кончине моей оба скинут черные рясы, облекутся в иные одежды и все повернут по-своему.

— В таком разе не соглашайся, батюшка, не давай своего благословения — и кто же против воли твоей пойдет?

Петр положил трубку на стол.

— В том-то и ловушка, сам я ему, как вдовцу и ленивцу, в острастку, предложил монашество, — сказал он, — а простака, видимо, научили, он и согласился, просит пострижения. Один путь — Алеше жениться бы снова на здоровой, доброй бабе. Не знаешь ли подхожей какой, из виденных тобою, опять-таки иноземных, не худородных принцесс?

— Немало пожелали бы с вашим величеством породниться, на какую только страну изволишь бросить взгляд.

Петр подумал, прислушиваясь к цветочной, откуда попрежнему неслись веселые голоса пирующих.

— Эта метерия еще терпит, теперь об ином, — сказал он, положив руку на плечо Матвеева, — выражусь прямо, без утайки... Одно сватанье в сторону, другому, надеюсь, пособишь; у тебя, Андрей Артамонович, невеста, я к тебе привез жениха.

Матвеев растерянно взглянул на государя.

— Твоя дочь, Марьюшка, — ты знаешь, как я к ней расположен, — продолжал Петр, — умна, мила, приветлива, но, извини, по молодости, легкомысленна... да, да, не смущайся, это верно. Ее надо выдать за такого, кто любил бы ее, но притом держал бы в руках...

— Разве, ваше величество, что за нею замечено? Или проглядела глупая, слабая мать? Да я ее, негодницу, если в чем провинилась, разражу, собственными руками убью...

— Успокойся, не стоит; лучшая, братец, исправка девичьего нрава — венец, и я потому-то у тебя нынче и сватом...

— Много чести, великий государь; но кто, извини, выбран тобою?

— Вон он, у края стола, — указал государь в цветочную на Румянцева, — этого предлагаю в женихи твоей Марьюшке; просим честью, не осуди жениха и свата.

Матвеев сталь белее стены. Его грудь дышала тяжело; в опущенных глазах проступили слезы. «Какое унижение и какой стыд! — мыслил он, не помня себя. — Мелкопоместный дворянчик, из самых бедных, и это жених моей графинюшке! За что такая немилость?»

— Ты недоволен, вижу, сватовство не по тебе? — спросил Петр. — Говори прямо: считаешь его недостойным твоей дочери и тебя?

— Затрудняюсь, великий государь... Тебе повелевать; нам слушать и покоряться.

— Неладно говоришь, Артамонович — не приказую и не насилую твоего решения... А только помни, этот слуга из близких мне, и я люблю его, как любил и тебя; ты за труды сенатор, министр и граф — от меня, от моей милости, сам ты знаешь, зависит и его сделать счастливейшим между вами, превознести выше всех. Не знатен, не богат теперь, будет богат и знатен через час.

Матвеев молчал. Пот крупными каплями падал с его лица на расшитый золотом кафтан.

— Что же скажешь? Согласен? — спросил Петр.

— Весь в твоей милости, — ответил, кланяясь, Матвеев. — Не обижен тобою доныне, не обидишь и впредь.

— Отлично, Артамоныч, — сказал, обняв его и целуя, Петр. — Дело, значит, слажено; только заповедь тебе: до срока о том, чур, никому.

— А жениху, государь, изволишь объявить? — спросил Матвеев.

— Никому, повторяю, и ты — ни жене, ни дочке; приданого тебе не готовить, — чай, давно полны сундуки; сговор останется тайным, промеж меня только да тебя. И тому важный резон: завтра надолго еду в чужие края, беру с собой и жениха. Будем, с Господом, живы, вернемся, напомню тогда — за парадной помолвкой, сыграем и свадьбу.

Государь позвал Румянцева. Тот подал ему шляпу и шпагу. Провожаемый Матвеевым, Петр вышел в сени. Здесь с матерью, накинув на плечи желтую тафтяную шубку, в зеленой бархатной шапочке с алым верхом, стояла раскрасневшаяся от танцев графиня Марья Андреевна.

— И ты вышла проводить? — улыбнулся, увидя ее, Петр. — Простудишься, плутовка! Береги здоровье — оно надобно тебе, иди...

Он обнял и поцеловал девушку в обе щеки. Матвеев подал государю теплый плащ. Петр уехал.

— Что же, братец, так и не выбрал себе суженой? — спросил он Румянцева, подъезжая с ним ко дворцу.

— Превыше сил, прости, не смею...

— Я за тебя выбрал... только до времени посмотрю еще на тебя, не скажу. Готовься, завтра едешь со мной в Данциг и далее в Копенгаген.

В ту ночь совсем не спалось Румянцеву. Он ложился на правый бок и на левый, закрывал глаза, вызывая дремоту, думал о море и спеющей, колеблемой ветром ржи — ничто не брало, сон бежал от него. В мыслях неотлучно были веселые черные глаза, вздернутый носик и зеленая шапочка с алым верхом над пышными черными волосами.

В ожидании отъезда с государем Румянцев встал до зари, оделся в парадную форму, уложил небольшой дорожный свой скарб и готовился ехать во дворец. Он жил у просвирни Казанской церкви, в Мещанской слободке, возле Невской першпективы, занимая две горенки, из которых в одной ютился сам, а в другой помещались его отец и мать, приехавшие проведать его из костромской деревушки. Отец привез ему волчью шубу, своей охоты, которой сын теперь, ввиду дальнего вояжа, особенно был рад. Старики тоже встали рано, побывали в бане и, красные, с повязанными головами, хлопотали над укладкой сыновних вещей.

— Ну, Александр, что же государь? — спросил отец, увязывая узел с бельем. — Как насчет, то есть, сватовства? Выбрал, наконец, указал тебе какую кралю?

— Молчит, — с недовольством ответил сын, — и что у него на уме, не пойму...

— Молчит? А припасенную, указанную отцом и матерью, отверг?.. Ему что? Терпится; нам-то каково? Хоть бы, примером, белье — нешто в таком ходить гвардейскому офицеру, да еще капитану? Сорочки — одно звание, карпетки — в заплатах... Степанидушка, глянь сюда, ужли сына этак-то в дорогу и снаряжать?

— Пусти, постылый, не видишь разве? — с сердцем вскрикнула мать, вырывая у мужа обноски сына. — Вот новые чулки... не помнишь нешто, как сама вязала? А вот

и сорочек трое из фряжского холста. Где был? Или опять запамятовал, как о Спаса пять ройков продали, кума за холстом ездила?

— Так, так, сорокоумовцам продали.

— То-то, сорокоумовцам. Носи, Сашенька, нас поминай. Без матери-отца кому вспомнить, приголубить тебя?

Старушка отерла слезы.

— Вот пирожки, с сигом да с курятинкой, а на дорогу хозяйка печет блинцы. Не торопись, родимый, успеешь еще — духом принесу.

Старуха ушла к хозяйке.

VII

— Уж не думает ли царь, — сказал Румянцеву отец, когда они остались вдвоем, — не затеял ли он выдать за тебя одну таковую персону?

— Какую?

Старик оглянулся.

— Новую одну матресишку, последнюю... это с ним бывает.

— Кто же она?

— Ужли не знаешь?

— Я отсутствовал, только что вернулся из похода, почем же мне все здешние новости знать?

— Да тебя же туда он и возил.

— Не понимаю, батюшка, о ком речь.

— О дочке графа Андрея Артамоновича.

Румянцев не взвидел света. Комната заходила в его глазах.

— Клевета, родной, как же не видишь? Небылица! — вскрикнул он. — И кто тебе такие сплетки наплел?

— Не сплетки, Ликсаша, а истинная, должно быть, правда. Дворецкий из Катерингофа, — ну, старый знакомец ты знаешь его...

— Знаю, только что из того?

— Вечор это, как повез тебя государь к Матвееву, он зашел и сказывал... и такое открыл, что лучше бы не слышать...

— Эх, батюшка, не мучь; что же он, лысый черт, говорил такое? Язык бы ему клещами пощупать...

— Не горячись и не шумаркай, все скажу, только не прочуял бы кто посторонний.

Старик встал, посмотрел за дверь в сени и запер ее на крючок.

— Так-то будет спокойнее, — сказал он. — Господи, какие дела! Вышним полюбилась эта графинюшка Марья Андреевна, и самой девке, видно, приятны были милости оттоль. Да, да, не вскакивай, слушай... Как жил государь летось с царицей в Катерингофе, и Матвеевы на своей мызе, поблизости, там же в те поры пребывали. Государь их чествовал и дочку их, из приязни, тоже отличал, брал в одноколку с собой кататься по садам и рощам, на буере с нею по Неве и по взморью допоздна плавал. Те ног под собой от радости не чуяли; счастье, мол, такое им выпало. И все шло будто ладно, все лето они в удовольствиях и восхищениях проводили. А осенью, как царю пришлось переезжать уже на зиму во дворец, он и подметил, что графинюшка Марья, так же как с ним, по рощам и по взморью каталась еще и с некиим другим. Выследил государь, самолично убедился, позвал ее на допрос, та и повинилась.

— Фу, ты, Господи! Не верится!.. И что же, родителю открыл государь?

— Для чего? Нешто опять-таки его не знаешь? Самолично все прикончил... Никому не говоря, припас в сеннике пук березовых, пригласил ее туда, будто новую царицыну корову-голландку посмотреть, да собственноручно и высек.

Румянцев вскочил.

— Нет, нет, это клевета, умысел на Матвеевых! И кто мог это видеть, узнать?

— Да полно тебе фуфыриться! Говорят тебе — верно, ну так же, как мы вот тут сидим.

Старик еще что-то говорил, но сын не слушал его. «Графиня Марья Андреевна, красавица, гордая, недоступная, и такой о ней слух, — мыслил Румянцев. — Отец сердит, что не удалось сватовство за Кикину, и верит всяческой небылице».

— Но зачем, батюшка, все это передал ты мне? — спросил он. — Из ревности за предложенную тобой невесту? Да ведь, государь, повторяю, никого еще не указал, а что до Матвеевой — и намека о ней не бросил. С нею танцевали Шелешпанская, Щетинина и много других, — может быть, из тех, кого он имел на примете.

— Как знаешь, Ликсаша, а только нашему роду еще не бывало подобного покора и стыда. И уж лучше, помни ты мое слово, век в нищете доживать, чем таковую персону брать за себя.

В дверь постучались. Вошла с крынкой блинов мать. Наскоро закусив, сын уложил на подводу свои пожитки, получил благословение родителей, простился с ними, оделся в привезенную отцом шубу и отправился ко дворцу.

— Своей охоты, Ликсаша, своей! — говорил отец, крестя сына и указывая ему на шубу. — В две пороши затравил, одного живьем связанного привез.

Государь уехал после раннего обеда. «Прав отец, неподхожее было бы дело, — рассуждал Румянцев, едучи в одной из кибиток в свите государя. — Брошенная фаворитка, как ни говори, — надоевшая, ненужная забава. И любить-то тебя, после таких протекторов, вряд ли будет, да и выгоды, пожалуй, никакой!» Петербург вскоре скрылся за снежными холмами. Дорогу обступили стены темных, вековечных лесов. Издали блестел только шпиц адмиралтейской башни. Вечерело; начинал падать снег. Вороны взлетали над вершинами елей и берез. Тройки царского поезда мчались бесконечной лесной просекой.

Румянцев, укутавшись с головой в шубу, вспоминал недавнее прошлое, поход в Швецию, разговор с царем на дежурстве, ассамблею у Кикиных и ассамблею у Матвеевых.

«А пышность и роскошь их дома, а эта боярская сановитость их рода! Нет, быть не может! — рассуждал он. — Все слышанное отцом — сущая злобная клевета! Государь недаром меня туда возил. Что в его мыслях — не угадать... Но если б он имел в виду, не теперь, хоть со временем...» Снег валил без остановки. Сумерки сгущались более. Лошадей из кибитки трудно уже было разглядеть. «Да и вдруг все это, по правде, небылица и ложь? — мыслил Румянцев. — И что, если государь и в самом деле решит и скажет: вот тебе невеста, графиня Марья? Боже-Господи, удостой этого выбора. Лучшего счастья, полагаю, и во сне не видать, не испытать. И уж коли суждено было бы мне стать зятем графа Андрея Артамоновича, Царица Небесная, какой колокол пожертвовал бы на церковь в графскую вотчину — в пуд, мало того, в два-три пуда, из чистого серебра!»

Царевич провожал государя до заставы. Он простудился дорогой и несколько дней после того не выезжал из дому, удивляясь, что никто из «собинных» друзей его, даже Кикин, не навещал его. «Об отошедшем, кажись бы, всюду промчалось, — рассуждал он, — не для кого более подглядывать, а видно, и теперь боятся!» Он послал за Кикиным; тот ответил, что угорел после бани и явится, когда одужает. «Лукавит, дозора опасается, случая ждет!» — подумал Алексей. Он от скуки взошел наверх к детям и до вечера играл там в шахматы с их гофмейстериной. Возвратясь при свечах, он стал просматривать присланные Меншиковым из сената дела. Скучно было их читать. Ему подали письмо. Он по почерку узнал руку попа Созонта Печунина, у которого в Вяземах жила некогда Афросинья и который теперь, по милости Алексея, состоял при церкви в Поречье.

«Многолетно, благополучно и радостно здравствуй, батюшка-церевич, — писал поп Созонт. — Высокоблагородствию твоему искатель милостей твоих челом земно бью; а посылаю превысочеству твоему белужью тешку, щук провес-

ных четыре, балычка прута два да полпуда икорки, — изволь во здравие кушать; померанцевой настойки такожде малое ведерце, и его кушай же, во здравие, с приятели. Покровен десницею Вышнего да пребудет дом твой в благодати на многие предыдущие годы. Про здравие же твое слышати ежечасно желаю. В приездишки твои кормил ты и поил нас, сирот, доволе, а ныне без тебя зело мы оскудели. О, горе мне, мизирному! Никто прошеньишка моего принять и честь не хочет. Младоумножаемая ветвь прекрасного, цветущего и превысочайшего царского древа! Воззри на нуждишки наши, ждем тебя, яко Миссию. В Вяземах луг нам давали, хлебушка с копны, лесу — сколько зришь; тут все твоим старостою Мосеичем урезано, а за что, один создавый ны вся весть. Афросинью Федоровну просили, ее не слушают — твое-де бабье дело токмо птичня, да огород, да кудель. А по-нашему вот кому, ей быть здеся старостой. Яви божескую милость, а Мосеичу повели нам пособить. У самого великий роскошь и деспотичество во всем, загребает — с огуменников, с амбары и кладовых, а на слуг церковных помощи никакой. И не ходи к нему, всякой мольбе отсечение, правде — посрамление, добру — погубление, душе — углубший гвоздь. За твою же милость аз писавый, за весь праведный дом твой и за всех любящих многолетнее здравие твое, ныне и впредь, без урыву, вечный твой богомолец — смиренный Созонт».

«Надо ехать в Поречье, вот как надо бы, — подумал царевич, прочтя послание Печунина. — Но как ехать? Какой к тому видимый предлог, да еще зимой? Донесут отцу, а тот сыщика следом пошлет, — какие, мол, такие хозяйские нужды унесли его, оглашенного, от важных штатских дел на мызу в такие холода?» Жалобу Созонта Алексей вкратце изложил в цидулке пореченскому старосте, приказав дать Печунину все, что ему отпускалось в Вяземах, и прибавил в конце приказа: «А о прочем, что доносят и слышу, разберу, коли Господь позволит самому быть в ваших оных местах».

VIII

В половине февраля над Петербургом носился и гудел сильный снежный буран. Метель сугробами устилала площади, преграждала улицы и заваливала переулки. Некоторые дома были заметены снегом до крыш. Ни проезда, ни прохода. Царевич, слушая свист и яростный рев бури, уже собирался на ночлег, когда слуга доложил ему, что его желает видеть Кикин. Алексей обрадовался и приказал звать его в кабинет.

— Это банный угар доселе не пускал? — спросил он, встречая гостя, стряхивавшего с волос и собольей шапки хлопья снегу.

— Всякого угару вдоволь, — ответил, оглядываясь, Кикин.

— Садись, Александр Васильевич, будь гостем; приятно видеть хоть одного, когда остальные все забыли.

— Да помним ли мы сами себя и свою жизнь? Как живется-то нам, спросил бы ты, — сказал Кикин, припирая дверь и садясь на софу рядом с царевичем.

— Или стряслось что новое? — спросил, глядя на него, царевич.

— Все старое, батюшка Алексей Петрович. Довольно одного: Питер, где живем с тобой. Что он? С одной стороны — море, с другой — горе, с третьей — мох, с четвертой — ох...

Царевич улыбнулся. Он любил находчивость и всегда замысловатые выражения умного, бойкого и наблюдательного эконома своей тетки, царевны Марьи Алексеевны.

— Ну, слушай, — сказал царевич, взяв за руки гостя, — скажу без утайки: и мне тут тяжело. А где быть? Куда укрыться?

— Езжай в чужие края, у тебя великая протекция, — австрийского кесаря супруга, твоей покойной жене сестра; от нее и от самого кесаря всегда тебе будет защита и покой. Ты, ведь, российский кронпринц, и кесарю немалый резон тебе секундовать во всем.

— Но как решиться? Опасно это, да и жаль родины, ближних своих.

— С весны мою царевну, ведомо, может быть, тебе, шлют, из-за ее болестей, на воды в Карлсбад; ну, и я еду, в провожатых, буду невдали от Вены и о тебе могу, отчего же нет, промыслить там.

— Ой, страшно, Васильевич! Где у кесаря скрыться? Батюшка легко, через клевретов, откроет в Вене, ведь она на большой дороге.

— Отпросишься, как уйдешь, в итальянские владычества кесаря, там не откроют; а уж те палестины — неземной красы, сущий рай, не расстанешься с ними вовек.

— Ты же нешто был в Италии?

— Был, с гардемаринами, на первой посылке в выучку.

Царевич задумался. Большие черные глаза его с грустью были устремлены на ковер. Носком башмака он водил по его узору.

— А скажи, Васильич, каковы там люди и как живут? — спросил он, взглядывая на Кикина. — И впрямь не похоже на наших?

— Уж истинно сказать, все не по-нашему: на улицах, в городах, ночью, великая светлость от фонарей, как днем; древние и новые хоромы больше все в два жилья, а есть по четыре и пяти житий в высоту; окна везде стекольчатые, не слюдяные. А сады? Везде, по препорции, цветы — дивными штуками, першпективы зело изрядные, на полянах лимоны, персик, померанцы, дули и миндаль; в огородах — кудрявые салаты, капросы и всякий дивный овощ. В садах и на больвардах беседки писаны хитрым, тамошним письмом; пропускные воды многоструйно прыщут вверх фонтаною, а на тех фонтанах часы бывают, невиданного строения, бьют водой перечасье в великие и малые колокола...

— А люди, народ?

— На площадях и улицах, по всяк день, гулянье в калешах предивной французской работы. И в каждом, почитай,

городе театрум, а в нем для увеселения — опры либо зело хитрая комедь.

— И ты видел опры и комедь?

— Бывал не раз; между действами, где Аполло либо Венус выходят и говорят вирши, дивные хоры увеселяют гостей на фрейтах, скрипицах и фиолгабалах предивного мусикийского мастерства.

— А как тамошние баре?

— Главы жен и девиц непокровенны, как и в Дрездене, и Карлсбаде ты видел. Только женск пол к уборам в тех краях больше охочи, к делу неприлежны, ко греху же зело слабы и нрава часом весьма зазорного. Ну, да ты ведь на них и не взглянешь, — слышно, и впрямь собираешься в монастырь.

Алексей отвернулся.

— Тебе шутки все шутить! — сказал он с досадой. — До того ли мне, и какой я монах?

— На что же, батюшка, в таком разе, решаешься, чем задумал кончить, по требованию отца?

— Об одном мысль, к одному стремлюсь, — произнес, задумчиво глядя перед собой, царевич, — когда бы от всего меня уволили, чтоб жить мне, как Бог изволит, в деревне, и ни до чего бы мне дела не было.

— Ну, на это, сам пойми, вряд ли согласятся вышние, — возразил, качая головой, Кикин, — потребуют несомнительно, жестоко притянут к иному.

— Да не могу же я, Александр Васильич, душа не лежит, — сказал Алексей. — Сам ты говоришь: Питер — горе да ох... Из-за чего отец старые порядки бросил, потоптал, из-за чего, что ни день, заводит все новые? Мучит всех, во сне и наяву, шпыняет, теребит. Жило же царство без этих новшеств — без гвардионцев и потешных, — в славе и силе состояло. Стрельцы били шведов, немца и ляхов. Все сторожко и честью блюли наш народ и сан. Батюшка веру дедов и прадедов презрел, патриарха синодскими канцеляристами заменил. И на что нам это, прости Господи,

чертово болото — новая столица? На что кургузые кафтаны солдатства, а вместо древних, урядных сарафанов хоть бы эти хвостатые роброны, на фижмах, да пудра? Истерзал отец родину, уродует, кромсает, как мясник телку, по живому телу ножом...

Алексей встал. Лицо его залил румянец.

— И все потатчики подбивают его на эти новшества, — продолжал он, порывисто ходя по комнате, — изменники заповедям родным, богоживцы, церковные и мирские мятежники — Головкин, Шафиров, Ромодановский, Трубецкой и сколько иных! Как попустит Господь взойти после батюшки на древний предковский престол, быть на колах головам супостатов. Алексашка Меншиков особливо попомнит; места на его шее не станет, где упасть топору!

Алексей, опершись о стол, перевел дыхание. Глаза его горели гневом и негодованием.

— Быть Петербургу пусту! — вскрикнул он, ударив кулаком по столу. — Кораблей не стану строить, гвардию распущу, воевать брошу — со всеми будь мир и покой. Зиму стану жить в Москве, лето в Ярославле... Плюю на всех, абы здорова была мне чернь.

— Так-то так, — промолвил Кикин, — да чернь-то — стадо бессловесных; им нужен с доброй клюкой пастух, а ты мягок сердцем, вельми добр.

— А тезка мой, дед Алексей? Нешто не жил он в Господней благодати, в общей любви и уважении от иноземных и своих? Никуда-то он, тишайший, непрошенно не лез, никого не тормошил и не тиранил, а был счастлив. Так, с Господнею защитой, буду царствовать и я.

— Сядь, батюшка, царевич, сядь, — произнес Кикин, ловя Алексея за руку, — угомонись, для Бога, и слушай; объясню с иной стороны.

Алексей со вздохом опустился в кресло.

— Царствовать думаешь ты... великое слово, — продолжал Кикин, — только надо еще добиться того. А удастся ли, бабушка надвое сказала.

— Так что же мне делать и о чем мыслить? — тихо проговорил царевич, ломая руки. — По воле батюшки, с нищими, что ли, да с дьячками, схоронить себя в монастыре или отъехать, по-твоему, в такое царство, где приходящих приемлют и никому не выдают? Как решиться — на его или на твои слова? Ведь я человек, Васильич, жить на воле, как всякий последний смерд, хочу, а разве в черной рясе или на чужбине вольная жизнь по душе?

— Видишь ли, Алексей Петрович, не обессудь, опять прямо скажу... Ты зело невоздержан в речах... Именно так... Мне открываешься, но поведал, может статься, и другим, а отцу-то долго ли от дозорцев про все узнать? Ну, разделка и недалека...

— Ну что же отец, хоть и царь он, может сотворить со мной?

Кикин сдвинул брови.

— Как что? — спросил он, глядя на царевича. — Да разве не знаешь, как таковы дела творились и творятся у нас? Очень даже просто, — слышал, полагаю, про яд, потопления и прочие наши галантереи?.. Ведь даже Грозный царь Иван, как сравнить его с батюшкой Петром Алексеевичем, перед ним, в хитром неустанном тиранстве, малый шаловливый ребенок, шутник...

Алексей снова встал. В глазах его были слезы.

— Помоги, Александр Васильич, — сказал он, — молю тебя, как мне быть и как избавиться от отца?

— Невидимым учиниться! Был, мол, человек, и нет его, по французскому термину, знаешь, чай, его, — it est eclipse...

— То есть опять-таки говоришь о бегстве, о чужеземщине?

Кикин молча кивнул головой. Царевич несколько мгновений смотрел на него, не находя выражений тому, что вставало и кипело в его душе. Грудь его дышала тяжело.

— Ах, друг любезный, ах, радетель, — выговорил он через силу, — ужели не понимаешь? Не могу я жить без Афросиньи... Вразуми, наставь, как не покидать мне ее? Ну,

вот птице, малому зверенку нужен воздух, рыбе вода... Она мне — вода и воздух...

Кикин опустил глаза в землю. Теребя свою курчавую, косматую голову, как бы в тяжелом смущении, молчал.

— Был я в Венеции, — произнес он, — и слушал там в кляшторе езувиту; он перед принципом венецким сказывал казание. Сам в чепи золотой, в алмазных запонах, фиолетовой робе и в крахмальных полотняных брызжах около шеи, а недоросли-ребятки, в белых стихариках, подол той робы держали, как его на золоченом седне покоевые камереры в церковь внесли. Езувита сказывал, а наши, бывшие там доле, переводили. Его проповедь была про зело высокую гору, что в Неаполе, от сотворения мира, неустанно день и ночь горит. Ничем ее не угасить и не повергнуть в темь. И равнял езувита ту гору Везувий с душою людской: не угасить и в человеке жара палящих страстей. Горячесть наша ныне спадет, завтра опять дымом и пеплом бьет и огненные пускает ручьи.

— К чему это ты ведешь? — спросил царевич.

— Помяненный сказатель навел в те поры на мою мысль и тебя. Не дивись, так оно и есть. Видел я твой предмет, Афросьюшку, впервое на Москве, в непригожем, бедном уборе видел, но и тогда она приятством пленяла. Брови черные, союзные, телом дородна, вся будто облита молоком; возрастом изрядна, глаза велики, умные, а косы русые, велики же, трубчатые, падают по плечам.

— Так и тебе, Васильич, она приглянулась? — со счастливой улыбкой спросил Алексей.

— Еще бы, батюшка! А как нарядил ты ее и увидел я ее после в Питере, просто диву дался. И не платьеце аль атлас, не чулочки узорные, синий шелк, не башмаки с каблучками и не золото, серебро, канителью строченное по платью, — сама она, словно Венус планета, светила между других... И скажу без утайки, великого ума и нежных проницательств твоя Афросинья, хоть ты ее и не из высокого ранга приметил и сблизил к себе. Не в такой — в высшей доле следовало бы ей быть...

Алексей в безмолвном восхищении слушал эти слова. «Переборщил, превысил похвалы Фроське, — думал тем временем Кикин, — ну, да ладно, маслом каши не испортишь; а взойдет он на отчий престол, Смолокурову царицей наречет, быть мне из первых в министрах».

— Так ты не шутишь, Васильич? — спросил Алексей. — Одобрил бы этот союз? Ведь батюшкина нынешняя женка из простых полонянок, люторка, чухонкой в услугах была... моя тоже полонянка, да русская и правой веры... Отец при живой жене ее взял к себе, а я — вдовый...

— Что и говорить! — ответил Кикин. — Еще и еще повторю: как заметишь что неладное, неумедлительно беги; вручи себя в добрую приемность кесаря.

— А как же с Афросиньей?

— Бери и ее. Только не сразу делай; снабдевай недостатки, порывы нрава благоразумием. Отведи глаза досмотрщикам: начни умненько охать, на недомоганье главы и всех мыслей жалуйся, с неделю-две не умывайся, не брейся — сочтут тебя скорбным и слабым... тут разом, все изготовя, и беги.

Царевич задумался.

— А ты побываешь в Вене? — спросил он, не спуская глаз с Кикина.

— Нарочно, как бы по своим приватным делам, отпрошусь у царевны и съезжу.

— Выберешь, уготовишь мне тайное место?

— Не только с кесарскими министрами поведу негоцию, самого кесаря постараюсь видеть и о твоем приеме и защите уговорить.

Алексей бросился на шею Кикина. Ветер шумел за окном. Сквозь его гул слышались всхлипывания царевича.

— Помоги, верный друг, устрой! — проговорил он, отирая слезы. — У прочих на их дела всяких нужных и сильных слов много, у меня мало, почти никаких... Ну, Васильич, Христос тебя сохрани, — заключил Алексей, видя, что Кикин собирается встать, — часто видеться не приходится, хоть отписывай о себе, как и что.

— За милость твою буду тебе, государю моему, своей головой работать и отвечать, — сказал Кикин. — Одного молю, в тайности великой держи все, что говорено меж нас.

— Нешто и здесь боишься отца и его смотрельщиков? — с укоризной воскликнул царевич. — Даже обидно — где они?

Вьюга на улице в это мгновение разразилась страшнейшим взрывом. Дом царевича вздрогнул. На крыше что-то рухнуло. Напором бури сорвало крючок с оконной фортки, и она распахнулась. Ветер с ревом ворвался в комнату, задул свечи на столе и обдал вихрем снега лица хозяина и его гостя. «Уж не батюшка ли под окном подслушал нас и вошел сюда?» — в суеверном ужасе подумал Алексей, с содроганием отступая от окна. Ему казалось, будто ледяной, грозный гигант стал перед ним во тьме, глядя на него страшными, белыми глазами. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» — шептал он мысленно, едва держась на ногах. Кикин бросился в соседний покой, принес оттуда канделябр со свечами и принялся замыкать фортку. Его руки дрожали. «И здесь чертова сиверка нашла, — думал он, — нигде от нее не спрячешься!»

— Счастливо оставаться, — сказал он, откланиваясь. — Через верных посыльщиков не оставь и нас безвестно о твоем здравии и прочем.

Царевич молча обнял его. По уходе гостя он присел в кресло, облокотился о стол, склонил на руки голову и так просидел за полночь, изредка взглядывая на дрожавшее от ветра окно. Под гул и грохот бури ему все мерещился ледяной гигант, будто склонявшийся к оконной раме с улицы и укорительно глядевший на него белыми глазами. «И почему я так боюсь его, — мыслил царевич, — фантома его пугаюсь, как дитя?.. Разве зверь он, не человек, мне не отец? И отчего, вместо сыновней, нежной любви, я с малых лет, сколько знаю себя, так не любил и так всегда боялся его?»

Алексею вспомнилось время, когда он юношей впервые возвратился из чужих краев. «Ну, каковы твои успехи? —

спросил тогда отец. — Как учился языкам, чертить и прочему? Принеси-ка свои чертежи». Напал тогда смертный страх на юношу-царевича. «Что, как заставит он, в испытание, чертить при себе? — подумал при этом Алексей. — А я столь ленился и не сумею? Пропадать, видно, злой кары не избегну!» Он пошел за чертежами, взял со стены пистоль, зарядил его и, как бы нечаянно, левою рукою выстрелил себе в правую — пуля слегка ранила ладонь. «Что с тобой, Алёша?» — спросил царь, бросившись на выстрел и увидя кровь на руке сына. «Не приметил, с чертежами, пистоля, — ответил царевич. — Ухватился, прости, и негаданно поранил себя». Петр подозрительно глянул на сына, но смолчал; опыта с черчением не было.

«Трус я негодный, смело думаю, говорю о борьбе с ним! — мыслил Алексей под гул несмолкавшей бури. — И когда же кончатся эти муки, когда, вместо метелей и холода, настанут ясные и теплые вешние дни?»

Кончился февраль, миновали март и половина апреля. Снег в Петербурге и его окрестностях сошел. Весна была в полном разгаре. Царевич изредка ездил в заседания коллегий и сената, принуждал себя заниматься текущими делами, прочитывал присылаемые Меншиковым на его просмотр бумаги и немецкие куранты. Об отце мало было слухов. Знали только, что он ведет какие-то негоции в Дании. Посещая церкви, царевич наведывался кое к кому и из ближних к отцу вельмож. В конце великого поста он отговел и приобщился св. Тайн.

Солнце пригревало более и более. Скудная питерская природа готовилась одеться в вешний наряд. Ивы давно сбросили чехлы с цветовых почек. На полянах лесов Васильевского острова и Охты дружно прорастали зеленые травы и по ним выделялись голубые и желтые пролески. Распускались вздутые почки лип и берез. С орешника свешивались серые цветочные локонцы. В садах пахло смолой раскрыв-

шихся листьев тополей. Грачи и вороны, оправив прошлогодние гнезда, с криком носились над ними. Появились мошки и жуки. В лесные затишья налетели зяблики, долгоносые удоды, серые и черные дрозды. Зазеленела черёмуха, и на вскрывшихся реках показались первые дикие гуси и утки.

Ко двору царевича, перед Пасхой, прибыл весенний обоз из Поречья с живностью — копчеными окороками, маслом, творогом, балыками, яйцами и провесными гусиными полотками. С обоза ему подали два письма. Первое, вскрытое, было от попа Печунина. Отец Созонт багодарил Алексея за оказанные щедроты и дары. «О ле, чудное милосердие, Христе Боже! — писал он царевичу. — Хитродетелец и злопамятогубец, староста Мосеич, как ни роскошен и честолюбив, все по твоему указу исполнил. Не корит более, не уязвляет каменнометными словесы; дай, Господи, тебе своего времени и лет царствования твоего благолепно устроити, аки устроил и хозяйствишко твое на мызах. Молился аз многогрешный тезоименнику твоему, человеку Божьему Алексею, и оный преподобный мученик милости нам от щедрот твоих излия: дадены нам луг и лес, пашенка и помощь в скоте и прочем, на прокормление мучицы аржаной и ячной, а для просфор матушке кладушечек две и пшеничной крупчатки. И во всем том добросердная и к помощи склонная моя питомка Ефросинья, вашей худобы блюстительница, советом и делом помогла совершить. Аз же, многогреховный и мизирный, пишу сие, а оная к милостям радетельница, Ефросинья Федоровна, вышла от себя, супротив, на крылечко, зрит в ваш сад, и оного с зимы ей, Господи, больше не познать. И егда убо дверцы в оный сад ныне на солнце отверзлись, от тех древес и кустов, яко аромат излиянный, дух сладкоухан и благоухан всех объя, — двор и церковка наша исполнися аки смирны и ладана. В прежнем житии, в Вяземах, было хорошо; в твоей же, батюшка-царевич, здесь купленной мызе ей многократ лучше! Сему же письму конец предлагая и твоих милостей ввек не забывая, аз писавый словес ставлю конец, да сохранит твое превысочество Бог-отец».

«Виршами на радости кончил! — подумал с улыбкой царевич, дочитав послание Созонта. — Что же, дай ему Господи! Добрые люди оба они...»

Но во втором письме он увидел надпись Смолокуровой. Краска восторга залила его лицо. Торопливо распечатав вчетверо сложенную бумагу, Алексей прочел следующие строки:

«Государю моему, царевичу Алексею Петровичу. Прийти близко, поклонитеся низко, честь весело, быть радостну. С особливым увеселением извещена есмь любительнейшим вашим писанием. И мое письмишко честно да вручится тебе, государю моему, и ты впредь забвенно не учини, а мы о здравии вашем хоть одну строку слышати на всяк час желаем. Доношу же твоей милости, не видя ясных твоих очей, несносная мне печаль, сердечная, смертоносная язва. А кругом разве не рай? Да кому без тебя, желанный, любоватися? Хозяйство ваше, аки младенец приятный, ласковый, досмотрено мною паче зеницы. А которые слова приказаны, все то сделано. Солодовня починена, винокурня и маслобойня труждаются по всяк день; ледники набиты и в них из медоварни и пивного завода вкачаны бочки нового варева, до вашего пришествия к нам. Каменная рига покрыта, с чешуйным, зело красным, обвиванием по тесу и с петушками. В хоромах потолок, по воле твоей, зело штучно, итальянской работой, из гипса кладен, и слуги ваши, кормилицыны оба хлопчика, красно же одеты — плащик долог, бело сукно, шапочка бархат-синь, с обручиком смушковым, — сама с матушкой шила. Ах, приезжай, любонька-свет, все повидишь, сам не нахвалишься нашим трудам. На птичьем дворе — веселие от крику и радости велия. Гуси, павлины, утки и куры вывели малых птенцов. От мельницы, как приказал ты, радость, едучи, гирями в огород тянется вода. Реки, ручьи в местах полистых и лугах взыграли. Роща листьем кроется. Цветы из теплиц выставлены, и скоро аки бы цвесть яблоням, дулям, сливам и всему. Не приедешь — вконец я пропала. И какая это, Бог мой, будет тоска! Виждь, свете мой, братец, прост я сердцем человек, а всему свету доказала, в любви

верна. Ах, сердце, ах, лапушка! Зови к себе либо приезжай. Твой верный друг Афросинья».

«Надо ехать, — подумал царевич. — Какой ни придумать резон, нет сил — вырвусь и уеду!»

Волга, Кама, Ока и Дон в то время уже вскрылись. В Воронеже готовились к спуску на воду вновь построенных кораблей. Алексей объявил в сенате, что, выполняя всегдашние желания отца и чувствуя себя ныне вполне здравым, он решил отбыть в Воронеж, для осмотра тамошних судов и верфи. Получив от морской коллегии прогоны и подъемные, он собрался и вскоре, со слугой и поваром, двинулся на ямских в Москву, а оттуда на Муром и Арзамас, в алатырскую свою вотчину, Поречье. «В Воронеж еще успею, как просохнет, — думал он. — Давно собственного не видел хозяйства».

Ноябрь 1890 года.

Уманская резня

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПОРОЖЦЫ 1768—1775 гг.

Нет более Сечи Запорожской, в ее политическом уродстве, а будет место и жилище постоянных и отечеству и, наравне с другими, полезных жителей.

Манифест императрицы Екатерины, 1775

I

Пушкарня

Незадолго до нового, 1768, года в войсковом стане, или столице Запорожской Сечи, в Коше на реке Подпольной, у Днепра, состоялся приговор войскового суда над двумя новобранцами.

Это были так называемые молодики — род пажей, или послушников «новициятов», этого своеобразного, монашеско-рыцарского братства, более двух веков охранявшего южно-украинские пределы.

Их до поры, «до великовозрастия», держали, как подростков, вдали от Сечи, на хозяйстве подвластных Запорожью хуторов. Теперь им, по «довольном искусе» у местных властей, дозволили — по казацкой воле — записаться в любой из тридцати восьми куреней, или полков, Коша.

Они записались и вскоре попали в беду. Посланные со старым кухарем за покупкой водки для войска в славяносербскую или екатерининскую провинцию, в вино-

куренные заводы Хорвата и Зорича, они загуляли, пропили на пути, с черными и желтыми гусарами, войсковую казну и были под конвоем присланы бахмутским полковником обратно в Кош.

Когда виновных привели перед войсковой суд, коренастый, плотный, невысокого роста, кошевой атаман Петр Иваныч Калныш, по тогдашней шляхетной моде именовавший себя Калнышевским, взглянув на них, сказал:

— Вот этих молокососов — до решения — в пушкарню; а старого дурня кухаря еще и в колодку, чтоб не давал воли глупым молодикам!

Пушкарней называлась войсковая тюрьма. Старый, свихнувшийся кухарь Худобай не раз в ней сидел за разные провинности перед куренным братством, за несвежую рыбу и солонину, за плохо изготовленный борщ или кулеш. Новобранцы, Дорош Недоля и попович Аминадав Односум, насупив брови, особенно не в духе, заковыляли пятками по пути в смежный с Кошем, новосеченский ретраншемент.

— Да часовых поставить поглазатее! — прибавил кошевой вслед за уходившими. — Не проворонили бы забесованных гультяев.

— Вот, черт пузатый, отъелся! — толковали в тот же день о Калныше в титаревском курене. — Не таким тихоней принимал булаву.

— Забрал, иродов сын, в лапы все войско и вертит им, как хочет, — сказал товарищ заключенных, третий молодик, Аким Шпак, прибывший из зимовника Барвенковой-Стенки. — Что с того, что он, кормленый кабан, молится, церкви строит да святости шлет ко гробу Господню и по монастырям? На чей, спросить бы, счет?

— Да и слыхано ли, видано ли? — толковали недовольные арестом кухаря титаревцы. — Рассылает повестки, требует, чтобы запорожцы-молодцы пахали землю, сеяли жито... Разве то казацкое дело? Разве в такую пору менять копья и сабли на плуги?

— Лярво, хляпитура! Пес песье и думает, — заключил, злобно плюнув и щипля подросший ус, Аким Шпак.

Ему было жаль заключенных товарищей. С ними он учился в киевской бурсе; с ними же три года назад он сюда и бежал.

Памятно было Акиму время, когда после бегства из бурсы он прибыл из орельской паланки с фуражным обозом в Кош, в самый день последнего избрания Калнышевского.

Ныне вельможный кошевой, безмолвный, недвижный и чуть помнивший себя под бременем нового высокого выбора, стоял тогда, в новогоднюю оттепель, среди этой же самой площади, где теперь судили Односума и Недолю. Тысячи голосов кричали: «Хотим, хотим! Пануй над нами! Дай тебе, Боже, лебединый век и журавлиный крик!» А бывшие вблизи, с белыми усами и чубами, старики, сами когда-то властное старшинство, набрав из-под ног растоптанной казацкими сапогами грязи, клали ее горстями на обнаженную, покорную голову вновь избранного. И грязь текла по лицу и усам ясновельможного, чтобы всему свету было ведомо, что все вокруг прах и тлен, кроме вольностей, никем не побежденного и никому не покорного, единого и вечно-славного войска Запорожского, низового.

Все тогда волновало и восхищало молодые души бежавших в Сечу украинцев.

В кошевой церкви при возглашении Евангелия все молившиеся казаки, как один, молча выхватывали из ножен до половины сабли, как бы клянясь защищать до последней капли крови веру отцов, волю казачества и все достояние матери-Сечи.

Памятны были новобранцам рассказы куренных, угощавших их однокорытников, о недавней, прошлой славе запорожцев: как храбрые серомахи осаждали Каменец и Балту, как спускались в утлых челнах в Черное море, обжигали крылья Измаилу, закуривали трубки Синопом и Трапезунтом и давали нюхать пороху самому Царьграду.

Теперь было иное, отзывалось не тем.

Запорожцы имели свою метеорологию. Четыре ветра, с четырех краев света, у них носили свои названия: турок, немец, лях и москаль.

Теперь дуло с севера. Тянул ветер-москаль.

Завзятые сечевики сумрачно косились на вышку новосеченского ретраншемента, где за насыпью и частоколом незадолго перед тем, в кошевой крепостце, как бы для охраны Сечи, поселился русский комендант Норов.

— Села московская болячка в самую запорожскую печенку, — говорили недовольные между войсковой старшиной, — из той вон бесовой московской норы идут все наши новые перемены...

Русское влияние заметно росло в Сечи. Московский ветер, несший веяние новой, незнакомой здесь, цивилизации, сильно продувал запорожские тайники. А тут еще дала себя знать студеная зима 1768 года. «Быть москалям к нам в гости, — толковали старые сечевики, — бо перед ними всегда лютый мороз приходит в степи».

— Сами старшины виноваты! Не к добру, что ни год, они ездят в столицы! — рассуждала на рождественские святки лихая, забубенная казацкая голытьба, бывшая против друга России, строгого и письменного кошевого. — Что с того, что кацапы-москали шлют теперь жалованье Кошу, по полтине на казака да по пятьдесят пудов пороху и свинцу на войско? Были без того жалованья, была воля, не знали ни протоиерей, с нашедшими сербами да волохами, за наши земли, ни всяких за дедовские права и вольности обид и волокит. Прежде нашкодит, проворуется сдуру какой казак, сама рада с ним справлялась; теперь нас судят не судьи, а христопродавцы да лихвенники-писаря и шлют в пограничные русские крепости, а те в Сибирь.

— И на днях ссылают, — сказал при этом брат кухаря, — а за что? Дурень Худобай не умел остановить подростков, напился с ними до забвения и пропил войсковые деньги, ну, и вернул бы, у него уж, наверное, где-нибудь

зарыто; а другие треклятых сербов проучили добре киями да кое-что у них пограбили и пожгли, чтоб мордатые черти смирно сидели сбоку запорожских хуторов.

— Когда ссылают? — спросил лежавший возле на нарах Шпак.

— В самый Новый год, после рады, — ответил брат кухаря. — Держат сердечных в колодках, связанных, как разбойников, по рукам и по ногам.

— Не по правде, хлопцы, живет наше панство, — отозвались другие титаревцы, — проучить надо собак.

— Да так проучить, — проговорил, поднимаясь, Шпак, — чтоб заказали детям и внукам, нечистые злодеяки, московские кормленые псы...

— Ой, хлопче, берегись, — заметил, молча до тех пор сосавший трубку, куренный атаман, — поперед батька на шибеницу не совайся; урвут тебе, Якиме, когда-нибудь за такие речи языка...

— Ну, ты лучше бы не откликался, — возразил Шпак, — отъелся, как те кабаны, оттого и держишь их руку.

Куренный только покачал головой и сплюнул. Он сам втайне разделял мысли своего полка.

На третий день рождественских святок Аким Шпак с другими титаревцами занимал караулы у кошевых ворот, при пушкарной башне и у входа в ретраншемент.

Был сильный холод. Срывалась метель. Часовые забрались в пушкарную сторожку.

— Ну, да и скука ж, — толковали молодые казаки, — не святки, точно великий пост. В Сечи сумно, будто нас побили турки. Куда делись прежние попойки, музыка, пляс? Не сходил бы кто-нибудь за горелкой до жидов?

Шпак вызвался, прошел на крамной базар, разбудил шинкаря, принес под полой здоровенную кухву водки и на-

поил товарищей. Он поднес добрую долю и ключарю, спавшему в нижних сенях пушкарной башни.

— Пусти, дядя, поговорить с кумом, — сказал он.

— А кто твой кум? — спросил охмелевший страж.

— Там мала еще детина, попович, Аминадав, а по-нашему школьному, Авва Односум. Я кусок бы свежего хлеба ему отнес.

— Ну, хлеба можно, — ответил ключарь, — давно уже, бедолаги, сидят на одних сухарях; только сам я, хлопче, тебя проведу.

Шпак сходил в курень, вынес оттуда торбу с харчами и передал Односуму, с хлебом веревку и топор.

Шпак и Односум в бурсе были друзьями, но вечно спорили из-за первенства в силе. Неуклюжий, вялый с виду и голенастый Шпак был головой выше юркого, тощего и драчливого гуляки Аминадава. Товарищи их часто натравляли друг на друга; они схватывались, но борьба кончалась ничем: либо Шпак упадет вместе с Односумом, либо Односум увернется от его увесистого кулака и спрячется, опрокинув по пути Акима ловко подставленной ногой. Огромного Шпака в Запорожье прозвали «малютой», тщедушного Авву — «махиной». Шпак решился во что бы то ни стало освободить приятеля.

Арестанты отбили друг другу колодки и цепи, пробрали в печке дыру, вылезли трубой на башенную крышу и по веревке спустились за ограду крепости, на базар.

Все было бы хорошо. Но лютый холод в проломанную печь разбудил остальных колодников, не бывших в уговоре. Те всполошились, впопыхах бросились сами спасаться и подняли на ноги погоню. «Держи, лови, шибенники бегут!» — раздались голоса впотьмах.

Загудел набатный колокол. Бросились пешие, поскакали верховые. Одних беглецов переловили в предместье, других под окрестными стогами. Довбыш утром запер их и снова всех заковал в железные кандалы. Односум успел на радости где-то сильно выпить, и его заперли пьяного.

— Кто принес веревку и топор? — допытывался судья у ключаря и часовых. Те, спасая собственные головы, не выдали виновника, в сущности делавшего доброе дело: одним товарищам он давал средства к побегу, а других так угостил, что у них и на следующий день звенели в голове шмели.

Настало утро нового года.

Как улей сердитых, роящихся пчел, по которому нечаянно ударили, загудел и вылетел из куреней на площадь Кош. Жужжа и тревожно снуя, у входов в писарскую канцелярию и в обмазанный глиной, крытый соломой курень кошевого толпились рабочие пчелы и трутни — рядовые казаки и вся войсковая старшина. Войско рассуждало вполголоса. Сечевое начальство глядело опасливо и держалось в стороне.

Перед обедней, по обычаю, вынесли хоругви, иконы и кресты. Настоятель запорожских церквей, архимандрит Владимир Сокальский прочел молитву, окропил всех святой водой; четыре полевые пушки грянули с колокольни салют. Казаки стали в майдан, то есть войсковой круг.

Начальство вынесло и положило на стол, под распущенным большим знаменем, войсковые клейноды, почетные знаки: кошевой — булаву, судья — печать, писарь — чернильницу и счетные книги, довбыш — барабанные палки, куренные атаманы — свои перначи.

По обычаю каждого нового года, кошевой и прочие власти, поклонившись и поблагодарив войско, заявили просьбу об увольнении их от должностей.

На кошевом был бархатный, жалованный из Петербурга, красный с вылетами кафтан и золотой пояс. Сняв шапку, он стал говорить. В несколько напыщенном слове, по тогдашней моде уснащенном церковнокнижными речениями, упоминались нарочитые «нужды и резонты войска» и «самоважные, от пограничностей и прочих обиходов, неотложные и прегорькие обстоятельства».

— Атаманы, старшина и вы, все товариство, наши головы! — говорит кошевой. — Рассмотрите вот эти книги, принесенный нами отчет о приходе и расходе войскового скарба. Такожде обсудите и весь «компут», куренные реестры, бо в куренях с осени стало немало нового народа... люди все молодые, что не нюхали еще пороху... и как с ними войско «подозволит» быть и ведаться?...

Не успели казаки одуматься и дать ответ, ближние куренные и старики — «руки кошевого» — крикнули: «Довольны, не снимать счетов! Оставайтесь и этот год на местах!..»

Кошевой поклонился на все стороны, поблагодарил войско за доверие и честь, взял снова со стола булаву, надел шапку, крякнул, поднял голову и продолжал:

— А что, господа атаманство и вы, братчики, будем делать вот насчет чего?.. Из Петербурга пишут, что наше войско может опять, не нынче-завтра, понадобиться, — под турчина собираются. Как думаете? Что решит войско?

Старшины стали шептаться. Остальной круг, потупя головы, молчал.

— Мы прошлой осенью, по обещанию, ходили в Киев на поклонение святым, — заговорил снова Калнышевский, — послали также патриарху в Ерусалим золоченые три дискоса, лжицу, потир и с каменьями звезду... Пусть угодники Божьи молятся за нас...

— Ох, ох! — набожно вздохнув, отозвался на это кто-то из круга. — Помилуй нас, Господи, помилуй!

В дальних казацких рядах поднимался явственный ропот. Титаревцы, толкнув вперед куренного и окружив Шпака, шумели, с глухой злобой встречая каждое слово кошевого.

— Отцы, межигорские монахи, — говорил кошевой, — держат наш собор и всю церковную святыню в должном, статечном уряде; и надо сказать — их иноческое пристойное житие и немалые войску прислуги всякой

хвалы достойны. Казалось бы, — и иному резонты явны для каждого — с помощью Божьей и при вашей, всем ведомой, храбрости и послушании, без лишних шумов и бесчинств — наша вера укрепилась бы меж агарянскими кочевисками...

— Годи! Довольно! — сорвался вдруг чей-то голос из титаревского куреня.

Все смутились, переглянулись.

II

Аким Шпак

Кошевой продолжал, не шевельнувшись, обращая то вправо, то влево умные, гордо-спокойные глаза:

— Притом же известно стало эхом, что, если не согласимся, силой нас заставят. И лучше жить в дружбе с единокровными. Как рассудит войско, а наше мнение — вы худостей и бесчиния не потерпите и оной отписке должный дадите ответ...

— Годи! Будет вам мудровать и нами вертеть, — раздался громче тот же голос Шпака.

Этот отклик подхватили десятки, сотни других.

— Долой Калныша! Долой старого пса! — кричали в титаревском курене. — Клади назад булаву, клади, сякой-такой сын...

— Шесть лет назад сидел, опять уселся, чертов веред! — подхватили в левушковском.

— В шею Глобу, Калныша и Головатого! Судить их, кормленых быков! В пушкарню, в кандалы!

Куренные атаманы бросились было уговаривать войско, но были мигом смяты и оттеснены. Верх одержала не любившая кошевого голытьба и молодежь с новоприбывшими молодиками во главе. Старшина была разогнана саблями. Восставшие бросились к сечевой тюрьме, освободили колод-

ников и ударили в набат, но в суете не догадались запереть крепостных ворот.

Короткий, скоро померкший зимний день не дал разыграться бунту недовольных. Куренное начальство и старики стали уговаривать молодежь. Калнышевский, переодевшись в монашескую рясу, бежал, когда стемнело, в кущевские зимовники, под защиту верной ему Кодацкой крепостцы. Спустя несколько дней большинство восставших одумалось. Через неделю-другую все пошло по-прежнему. Атаманы послали просить «ясновельможного» прибыть вновь «до Коша».

Калнышевский возвратился. Он молчал, не смел вспоминать прошлого. Виновники вспышки, однако, понимали, что может прийти пора, когда о них вспомнят.

Часть недовольных, с полсотни человек, с первым теплом и вскрытием Днепра разбрелась из Коша. Некоторые спустились вниз, рассеялись по Ингулу и Бугу, где скоплялись в глухих пасеках, рыболовнях и оврагах. Кое-где в мае и в июне того года стали пошаливать. Беглые запорожцы жгли пограничные польские деревушки, угоняли стада и подплывали к приморским турецким городкам.

Калнышевский смотрел сквозь пальцы на эти проказы забубенных гультяев. «С глаз долой — с рук долой», — думал он. И хотя несколько лет назад сам Калнышевский ходил с полком к тому же Бугу и выбил из тамошних камышей засевших на острове, с пушками, бродячих грабителей — гайдамак, теперь он сидел спокойно, отписывая соседним комендантам и губернаторам: «Действительно, шалят и буйствуют хлопцы-сукачи; но то не запорожцы, а вольные гайдамаки; мы их не посылали, их не знаем и с оными самосбройцами ни при чем».

Между ушедшими к Бугу запорожцами были новобранцы Аким Шпак и попович Аминадав Односум. Дорош Недоля пошел с другой ватагой к Брацлаву, где скоро пропал всякий его след.

Односум и Шпак примкнули к гайдамакам, скоплявшимся в Бобринецких лесах. Эта ватага замышляла нечто смелое против границ бывшего под Польшей Киевского воеводства, для чего сносилась с другими собиравшимися по Кадыме и Синюхе. Здесь произносились имена польских городов и местечек: Звенигородки, Богуслава, Лисянки, Смелой и Канева.

В бобринецкой ватаге ждали только прибытия беззаветного рубаки и «затяжца» — вождя недавних гайдамацких набегов Максима Железняка. Послушник Межигорского монастыря, потом запорожец пушкарской команды, Максим, уйдя в пехоту, то есть в бродяги, жил некоторое время в лесах в Чигиринском уезде, близ Лебединской обители.

Говорили, что Железняк не с пустыми руками: будто у него полномочие от кошевого и даже разрешительная «золотая грамота» свыше. Лебединский игумен, по слухам, дал открытый «верючий лист» — письменное благословение ему и его ватаге на истребление ляхов и евреев.

Регументарь пограничных, украинской партии, польских войск, граф Браницкий принимал свои меры. Он сносился с комендантами смежных с Запорожьем польских местечек и крепостей, осматривал и ободрял выставленные помещиками милиции, снабжал их военными припасами, офицерами и вообще держал ухо востро.

Шпак командовал частью ватаги Железняка.

— Берегись теперь, вражий лях, а что б ты ни делал, не убережешься, пропадешь ни за курячью душу, — сказал Односуму Шпак, стоя с ним в пикете на лесистом взгорье у Буга, где гайдамаки вторые сутки в скрытности ждали прибытия посланцев от главного вождя. — Прощайте, шляхетные, несвычайные кормы, напóи и разбои! Напьетесь своей крови, погубители замученного вами украинского вашего подданства!

— Gutta cavat lapidem — капля пробивает камень, — сказал любивший латинские присловья Односум.

— Тут, друже, не капля, — произнес Шпак, — они держали в кандалах отца игумена Мельхиседека, замуровывали ему окна, а пять униатских попов его связали и хотели бить батогами, да он ушел с русским купцом. А что с народом делают ляхи? Разоряют храмы, разгоняют похороны и свадьбы, ломают церковную утварь, швыряют на жидовские крыши поломанные кресты и выбрасывают из гробов наших покойников... А жиды? Качают казацких детей в бочках, набитых гвоздями, и после мажут их кровью глаза своим детям... Каты — по-катски примут и расплату за свои дела, — заключил Аким.

Шпака трудно было теперь узнать. Односум, придя неделю назад с Синюхи, чтоб проведать товарища, с которым не виделся более месяца, не верил своим глазам. Куда делась неуклюжесть и вялость движений Акима? Он был не тот.

Длинные, голенастые ноги парня ступали быстро и легко. Дебелый, с широкой грудью, стан выпрямился. Небольшая, сухая, точно птичья, голова, с горбатым тонким носом, сторожко поворачивалась на костлявых плечах. Гладко выбритый, голый с чубом череп был прикрыт новой, здоровенной, серых смушек, шапкой. Сбоку белой свитки болталась кривая, в потертых ножнах «шаблюка»; через плечо, на веревке, висел добрый самопал. Чопорно и цепко, репьем, сидел Шпак на рыжем, отбитом у ногайцев жеребчике. И никто бы не сказал, что он недавно был в бурсе, ходил в длинном балахоне и изучал Овидия.

— Где ты добыл такой убор? — спросил, любуясь им, Односум. — Ecce ego Democritus, ecce veniat Heraclitus... Вот поглядел бы теперь на тебя Антошка Головатый, что со своим дядей, надо полагать, в это время строчит универсалы о нашей поимке...

Антон Головатый был также товарищем Шпака по побегу из киевской бурсы.

Шпак медленно взглянул с пригорка на забугскую, синевшую в отблеске вечера степь и ничего Односуму не ответил. Ему как бы в зеркале, как наяву, там за надречными холмами

представилось его недавнее прошлое: казачий, с огородом, выселок, кладбище, дупластая верба, сиротские горькие годы, Киев, учение, монахи, грезы и толки о славной Сече, плавание по Днепру пойманного «дуба» и дальний зимовник Барвенкова-Стенка, где Аким провел первые годы в Запорожье...

Невдали от Лебединского, или Мотронинского, Киевской епархии, монастыря, в Чигиринском уезде, близ реки Турии, в казацком хуторе, жил старый поп Зосима. Бездетный семидесятилетний вдовец имел одну утеху — в пчелах и певчих птицах. В лето, когда плохо роились и брали взятку пчелы, он обращался к дудочкам и сеткам, выслеживал, ловил и разводил в клетках перепелов, удодов, скворцов и дроздов. Голуби тучами вились над его двором, укрывая его белую, под соломой, мазанку, чуть видную в зелени церковного сада.

Однажды весной пономарь сказал Зосиме:

— Батюшка! У нас в липах за кладбищем вывелись шпачки...

Поп особенно любил пение скворцов и потому с радости не почуял под собой ног.

— Ну, братику, — ответил он пономарю, — смотри же, чтоб ни одна детина со слободы не пронюхала и не побывала в садку...

Зосима отыскал в гущине липовой заросли скворечье гнездо, заплел, спутал вокруг него ветви и стал поджидать, когда желтые мягкие носы, торчавшие из гнезда, потемнеют и окрепнут и когда у крикливых обжор подрастут крылья.

Прошла неделя, другая. Зосима терпеливо выжидал, рано до света прошел в еще темный, чуть пробуждавшийся сад, — скворечихи уж не было в гнезде, — забрал в торбу «шпачков» — и едва миновал сад, слышит сзади него, у кладбища, отзывается какой-то странный писк. Он туда — меж могильных крестов, под дупластой, развесистой вербой лежит в бедных опорках ребенок. Его, очевидно, положил сюда кто-нибудь с прохожей дороги, из-за плетня.

Постоял над ребенком Зосима, подумал и решил: «Забрал я с гнезда пташек, стану их кормить — будь же и ты шпачком». Поп окрестил найденыша, дав ему имя богоприимца Акима. Слобода назвала Акима Шпаком. Так он прожил у Зосимы до восьми лет.

Перед кончиной, почуяв близкую смерть, поп выпустил из окна на волю всех своих птиц, а приемыша отдал соседу-куму, казаку той слободы, прося его соблюсти мальчика и довести до возраста лет и до ума. Кум был кузнец, сильно выпивал. Запряг он дикого, росшего на просвирах и поповских пирогах подкидыша во все работы. Трезвый он только ворчал на парнишку, попрекая дармоедством, а пьяный — заставлял его дни напролет стоять у жаркого костра, раздувать мех и бить молотом. У домашних кузнеца Шпак не выходил из тычков и побоев.

Кузнец как-то говел в Лебединском монастыре. Игумен Мельхиседек Яворский попросил его подковать ему обительскую четверню. Кузнец уважил просьбу знаменитого игумена. Он с молотобойцем привел подкованных лошадей, получил кроме платы добрую флягу старой горелки, осушил ее в роще за монастырем, да там и «дал дуба». Сироту Шпака взял к себе на время Мельхиседек. А когда украинская митрополия оповестила подвластное духовенство о доставке в Киев в певчие добрых и «пристойных голосов», лебединский игумен отослал туда с другими и двенадцатилетнего, замеченного на их клиросе Шпака. В Киеве его поместили в бурсу. Нежный, певучий голос Акима с летами точно треснул, разбился, стал груб и для «нужностей» епископского клира вовсе не подходящ. Его забыли в бурсе и в митрополии, а вследствие того перестал о нем заботиться и обманувшийся в надежде на него, сам усердный к вере и смелый в житейских сплетениях Мельхиседек.

Так прошло шесть лет. Учение Шпаку не далось. Латинской мудрости он не полюбил, уроки редко знал, а больше сонно и тупо глядел с лавки на велеречивых

«прецепторов», потирая широкой ладонью ладонь, жмуря глаза, покачиваясь и думая вовсе не о том, о чем говорилось с кафедры. Били его за то нещадно. Замарает он ненавистный греческий букварь — кий, проспит заутреню — то же, уйдет в праздник побродить по городу и, забравшись где-нибудь в окрестную, пахучую лесную глушь, не вернется в срок к ночи — опять и опять в задворок и добрые кии. Восемнадцатилетнего, рослого школяра взяла одурь. Сперва ему еще помогал в латыни Аминадав Односум; но потом Шпак совершенно бросил книги, стал рубить и таскать в классы дрова, топить печи, помогать кухарям и конюхам и ждал с замиранием праздника, чтоб хоть на час вырваться за город.

Раз бродил Аким в предместье Подола и зашел к дальним огородам, у Днепра.

Близился вечер. Сломив вербовую ветку, он бессознательно хлестал ею по земле и себя по ногам, лениво двигаясь по пыльной улице. Вдруг слышит оклик и веселый раскатистый смех. Поднял голову, видит — за плетнем, среди огорода, у колодца, невысокая, лет шестнадцати, девушка в украинском мещанском наряде. Прикрыв от солнца глаза, она глядела на него и качалась от смеха.

— Что тебе? Чего скалишь зубы? — спросил с досадой Шпак.

— Я зову его, зову, — проговорила, смеясь, девушка, — а он, как бык, опустил рога, не слышит, только пыль метет шароварами: шам-шам...

— Гей, отецкая дочка! — сказал строго бурсак. — Стыдно цеплять прохожих. Что тебе?

— Да я коромысло уронила в криницу; дивчата ушли... Помоги, коли ты добрый, достань!

Шпак перелез через плетень, заглянул в колодец и покачал головой.

— Что, глубоко? — спросила быстроглазая мещанка. — А боишься — пана Рудзя позову.

— Какого пана Рудзя?

— Я у польского пана живу в наймичках, вон, возле той каплицы, на горе; смотрю за его панночкой, а Рудзь его родич!.. Да красивый, проворный, — лукаво прибавила девушка, — что ни скажешь, «Сейчас, — говорит, — Харитина!» — и сделает.

— Чтоб твои недоверки-шляхтичи поздыхали, — сказал с сердцем Шпак, — ты, дивчино, нашей веры, а служишь им, их и проси...

— Голубчик-школярик, я, дурная, пошутила. Достань...

Шпак скинул с себя шапку и бурсацкий, длиннополый кафтан. Перенеся ногу за сруб и цепляясь за его звенья, он опустился в колодец, нагнулся и достал коромысло, но скользнул с мокрых бревен и оборвался в воду. Падение было так неожиданно, а бурсак так смешно взмахнул длинными ногами, что мещанка, не утерпев, разразилась еще большим хохотом. Он, мокрый, вылез и подал ей коромысло. Харитина, с закрытыми от слез глазами, сидя на корточках, причитывала:

— Ой, лелечко, вот выкупался! Точно серый гусак, так и шлепнул, ой! Ой, матинко! А я думала, когда он шел, когда шел... что не школяр, а запорожец-казак... Спасибо, братику, ой, лелечко, спасибо!..

Она встала, набрала в ведра воды, подхватила их и, изгибаясь с коромыслом, зачастила босыми, резвыми ногами по горной тропе.

С той поры Шпак более не видел мещанки, хоть иногда с досадой ее вспоминал. «За запорожца, стрекоза, приняла! Хорош запорожец! — думал он, не зная, говорила ли она правду или издевалась. — А добрая девка, да смешлива, лысый дед побил бы ее батька!» Раза два Аким пробовал заходить к тем огородам, стоял против знакомого колодца и глядел на гору, куда, к польской каплице, ушла в тот вечер с ведрами мещанка. У криницы толпились другие девушки. Той не было видно.

Однажды только, но уже в другом месте, из чьего-то большущего, шедшего во всю улицу, сада, он заслышал песни девушек, собиравших спелые вишни. Из гущины дерев, с верхних веток ему послышался как бы знакомый, веселый оклик. Через забор в него полетела горсть ягод; девушки запели: «Запорожец, запорожец — зовет меня на морозец!» Песню прервал общий взрыв смеха, и голоса смолкли. Сколько ни приглядывался Аким сквозь плетень, ничего не увидел в зелени сада... «Может, она и не она, — сказал он себе, возвращаясь в бурсу, — ишь, каторжная! Выпачкала вишнями кафтан... Все они такие... Будет теперь от префекта урок».

Еще некоторое время вспоминал Аким сухощавое, с веселыми глазами, лицо, крупные алые маковины в русых косах, густые, черные брови и длинные ресницы. «Приняла за казака, — не мог он успокоиться, — сказано, дурень, мала детина! Такие ли бывают запорожцы? И попасть ли уж мне когда-нибудь в заколдованное Дикое Поле, где рыцари-молодцы и Сечь? А почему бы и нет?..»

Более и более стал задумываться Шпак о заветной, сказочной вольнице, бывшей где-то там, вдали, вниз по Днепру. Он забыл в этих грезах и веселые глаза, и маковины, черные брови и длинные ресницы. К нему примкнули три других школяра: Односум, Недоля и племянник кошевого судьи Головатый. Они шатались однажды по Киеву, думали и надумали смелое дело.

Была в полном разгаре весна.

Лед унесло. Со звонкими радостными криками и оханьем летели из теплых стран над Крещатиком дикие гуси, чайки, журавли. Бурсаки увидели несшийся по реке чей-то, сорванный половодьем долбленый «дуб», переняли его на рыбацком челне и втянули в камыш. А ночью, взяв по краюхе хлеба и бросив бурсацкие балахоны, сели к веслам и пустились, вслед за вешними, шумящими водами, к вольному Дикому Полю, вниз по Днепру.

III

Дикое Поле

Со времени ухода из бурсы прошло пять лет.

Дикое Поле так же широко и роскошно, только воля на нем стала бродить из угла в угол, как гонимая скорбная вдова. Придя из бурсы, беглецы бросили и Сечь. Все вокруг них к чему-то готовилось, собиралось, смутно ожидая новых, идущих откуда-то перемен.

Двухсотлетние запорожские владения занимали тогда всю нынешнюю Екатеринославскую, бо́льшую часть Херсонской губернии и часть войска Донского. И в то время, как запад Европы обставлял свои границы башнями и готическими замками, ненавистники грамоты и брачной жизни, запорожские «характерники» и «гультяи» обозначали межи своих степей чуть видимыми приметами: от Волчьей балки до балки Камышовой, от Грабленной Могилы до Паленого Дуба, от курганов Три Брата до Савур-могилы, Песчаного Лога и Лисьих Тернов. Беглецы от всякой власти и семейств сюда шли, по знакомой, стародавней дороге всяких сирот, — православные выходцы украинских, польских и русских земель. Их жалили мошки, прожорливые мухи, оводы и отравленные иглы назойливых днепровских комаров. Они шли сюда по солнцу и звездам, не сбиваясь с заветной вольной тропы, которую и доныне знают и помнят, как говорится, все иваны непомнящие и домны бездомные.

Дикие днепровские лугари́ были похожи на птиц, кладущих яйца в чужие гнезда. Случайно забредя в смежную Гетманщину, либо в украинские поселки Польши, они там иногда женились, но вскоре оставляли жен и детей и снова шли, сиротским «черным шляхом», в Сечь, к бесшабашной, знакомой «сероме».

«Не строй светлицы на границе, — говорила запорожская пословица, — казак, куда захочет, скачет, никто за ним

не плачет». Песня прибавляла: «Его смоет дождь, расчешет терн, а высушит ветер».

Двадцать восемь лет назад, а именно в 1740 году, запорожские земли, считавшиеся на бумаге как бы в подданстве Турции, отошли, по Белградскому миру, к России. Но ни прежней турецкой, ни новой русской власти Сечь, в сущности, никогда не признавала. Да и как было ей признать? Кто брал и кто мог отдать этот вольный, никому не покорный край? Старозаимочными степями, лугами и реками запорожцы, по черкасской обыкности и воле, владели испокон веков, не нуждаясь ни в чем и ни в ком.

Рыбы в реках было гибель; птицы и всякого зверя в полевых тернах и байраках — тоже. Днепром в Подпольную, к Кошу, снизу приходили турецкие тумбасы и греческие кочермы с сукнами, оружием, пряностями, посудой, вином и всякими товарами. В зимовниках содержались табуны лошадей, в полтысячи и более голов, такие же стада рогатого скота и десятки тысяч простых овец. А черноземная пахоть из-под тяжелого запорожского плуга выходила такая, что о ней говорили: «Выросло бы дитя, когда бы в нее посадили».

Не хотели запорожцы знать ни постороннего вмешательства в их дела, ни тем паче посторонней власти и подданства. Они верили преданию, будто царь Петр после Полтавской баталии, где они вздумали было поддержать Мазепу, убедился в их истинной вере и дружбе и зарыл в Савур-могилу камень с надписью: «Проклят, проклят, кто разорит верную мне Сечь и отберет запорожские земли».

Боязнь пустить в степь женщин, обабиться была так сильна у запорожцев, что родная мать подверглась бы казни, если бы вздумала явиться в Сечь для свидания с сыном. Воинственные иноки-запорожцы считали себя охранителями правой дедовской веры. Кош был их монастырем, днепровская степь — командорией.

Спускаясь в море против турок и оставаясь там по неделям, в своих челнах, с убогим запасом пресной воды и

сухарей, запорожцы несколько лет возили с собой гроб знаменитого кошевого, Ивана Серка, убежденные, что с такой подмогой им не будет неудачи. И общий кровавый «пал», дымясь, шел по мусульманским прибрежьям вслед за этим гробом.

Не меньше терпели и польские, соседние с Сечью, земли. Запорожцы, запасаясь в украинских селах хлебом и прочими харчами и угоняя татарские и польские конские табуны, с набега жгли католические костелы и монастыри, грабили шляхетские замки и усадьбы и бросали в огонь живьем связанных монахов и ксендзов. Совершив грабеж и расплату с ляхами, они снова исчезали, как дым, и точно проваливались в землю. Завзятый рубака Дорошенко, призвав в помощь турок, осадил и взял польский город Каменец. Он велел петь бывшим с ним в походе монахам акафист и умиленную песнь «О, всепетая Мати!» и, в знак гнушательства враждебной, латинской верой, въехал в покоренный город пьяный, о бок с пашой и топча конем вынесенные ему навстречу иконы и прочую церковную католическую утварь.

А в то время как региментарь коронных польских, украинской партии, войск и все смежные с Сечью начальники поместных милиций принимали меры против новых запорожских затей, местные богатые паны и шляхта мало давали веры слухам о сборе запорожцев. Не тем в то время была занята польская республика. Ей было не до Дикого Поля, не до днепровских лугарей.

То была пора барской конфедерации, союза магнатов, с февраля того года открыто восставших против последнего польского короля, из незнатного рода Понятовских, по гербу Циолек. Недовольная знать — «малоконтенци» — Радзивиллы, Любомирские, Браницкие, Щенсный-Потоцкий и Венцеслав Ржевусский подняли знамя бунта против ненавистного им, поставленного Петербургом, короля и вывезли в поле на его войска толпы крепостной своей челяди и мелкого, безземельного шляхетства, жившего на их хлебах. На своих знаменах они имели изображение Богородицы, а на мунди-

рах, как рыцари-крестоносцы, — вышитые кресты; их воинский возглас был: «Свобода и вера!»

До них, в особенности, в смежные с Запорожьем села и города Потоцкого, в Тарговицу на Синюхе, в Умань и в Могилев на Днестре, давно доходили вести, что в чигиринском и ближних поветах неладно и что искры в порох давно стараются метать из Лебединского и других украинских монастырей.

Поляки через евреев проведали, что мотронинский игумен Мельхиседек Яворский из ненависти к униатскому духовенству, давно тайно и явно побуждает чигиринцев и прочую окрестную чернь восстать против старост и самой польской короны. Местные шляхтичи проведали, что Мельхиседек нередко передерживал в монастырском лесу, уже прославленного непреклонностью отваги и мести, гайдамака, уроженца бобринецкого зимовника, на речке Громоклее, бывшего пушкаря запорожского тимошевского куреня. Знали, что этот смельчак носит имя Максима Железняка; говорили, что из обители Мельхиседека он тайно ездил в Сечь и будто, исхлопотав от кошевого ордер на сбор своих ватаг, формирует их для вторжения в Киевское и Брацлавское воеводства, под титлом авангарда «запорожских низовых сил».

— То глупство, галганы! И ничего с той голи не будет! — рассуждали в своих замках надменные паны. — Кто ведет пьяных грубиянов? Такой же гнусный бродяга, как и вся эта запорожская сволочь... Причина их нападения понятна. Это вечная история восстания низших на высших, диких на просвещенных. Они враги всякой власти, как волки — всегдашние враги овечьего стада. Кнут и веревку на беспорточную чернь — вот им награда. Пули и сабли не стоят столь великие злодеи, в дерзком кощунстве именующие себя рыцарями. Кто составляет эту пьяную голь? Все ленивое, глупое и безнравственное. Jesus Maria! Поднимают бунты во имя свободы и веры, а вся их глупая вера либо ересь, либо внешнее, несмысленное богомолье. Польша погибнет,

если не успеет истребить с лица земли пресловутой Сечи, которая вся-то состоит из соломенных жалких лачуг, защищаемых пьяными хамами. Запорожцы грабят польские церкви, разоряют наши кладбища, выбрасывают из могил мертвых и носят, издеваясь, одежды покойников. Где же наши войска, где отпор? Гунсвоты, трусы, дождемся с ними нового татарского лихолетия... А выйди навстречу оборванным бунтовщикам один храбрый регулярный полк — злодеи рассеются, как стадо кур от налета орла. Поганцы! Песья кровь! Вода в Днепре потечет от стыда назад, если этим босоногим бесштанникам удастся, при глупости наших властей, поколебать спокойствие Посполитой Речи!.. И разве у нас король? Он покровительствует неженкам, петиметрам, а те — лишь бы им сидеть покойно да получать свои оклады — готовы забыть свой гонор, свои гербы и, якшаясь с мужичьем, верить в дружбу и честь запорожских свинопасов...

Так толковали польские магнаты.

Тем временем прошли новые вести, будто страшный Железняк переправился с братчиками-молодцами за Ингул, миновал Мертвые Воды и, поднимаясь к верховьям Буга, уже вошел в границы Брацлавского воеводства.

Железняк действительно в июне 1768 года вступил с гайдамаками в пределы Посполитой Речи. Дикое Поле отозвалось на стон угнетенных единоверцев, и надолго о том осталась кровавая память в смежных польских окраинах.

В несколько недель смелый запорожский гультяй взволновал и бывшее под Польшей Киевское воеводство, часть нынешней Киевской губернии. Реки огня потекли по Кодыме, Синюхе и Гнилому Тикачу.

Высокий ростом, с русыми усами и чубом, голубоглазый и еще молодой, Железняк ласково обходился с товарищами, в походе сыпал забористой сечевой бранью и веселыми по-

говорками. «Точно дьяк поет акафисты», — говорили о нем братчики.

Когда Максим сидел на корточках у костра, куря трубку, глядя в неясную, тихую даль окрестных польских степей или в полудремоте слушая на привале россказни окружающих, его можно было принять за простого, случайно встреченного прохожего, за робкого увальня-пахаря или пастуха. «Мы так себе, не скоренько, да умненько» — говорил он, останавливаясь на отдыхе.

Но когда Максим оживлялся и, вставая, делал распоряжения, сомнение исчезало: то был Железняк.

В его больших спокойных глазах зажигалась могучая, неукротимая воля и бесстрашное, суровое мужество.

Много видевший, сметливый и грамотный, бывший лебединский послушник и сечевой артиллерист-пушкарь, торговец водкой в Очакове, степной бродяга и рыболов, он редко мог усидеть на месте. Прискучив отцовским домом, потом запорожской вольницей, он было решил схоронить на век буйные силы, «поработать Богу» — кончить жизнь в монастыре. Но подоспело благословение — верючий лист Мельхиседека. Как из бродяг, от разбоя, он обратился к молитвам и посту, так от послушания и замаливания грехов он опять пошел «в пехоту», то есть в бродяги. Золотая грамота игумена окончательно смутила и взволновала порывистую, беспокойную душу Максима. Его сердце сильно забилось. В крепкой думе живьем воскрес огненный образ Богдана Хмельницкого...

Дикий украинский коршун встрепенулся, глянул к польским границам, расправил крылья и выпустил когти.

— А что, детки, еще не пашете? — спрашивал Железняк, едучи украинскими селами Польши впереди своей ватаги на буланом рослом жеребце, отнятом у какого-то пана.

— Нет, дядько Максиме, еще рано... сено только косим.

— А мы уже начали, — говорил, кланяясь встречным, веселый и смелый запорожский гультяй, — бейте, братцы, режьте недоверков! Будете в раю...

Железняк разорил и сжег пятьдесят помещичьих усадеб и замков, взял приступом укрепленные города Канев и Богуслав, покушался штурмовать даже сильно укрепленное селение Станислава Любомирского, Белую Церковь, и в начале июня повернул своих «серомах» на поместный город Щенского-Потоцкого, Умань.

— Детки мои, голубята! — говорил Железняк, ободряя своих молодцов. — Недаром я был послушником в монастыре, молил у Бога победу, пустили мы пал налево и направо; будут помнить ляхи; но за дымом сел не было видно главного волчьего гнезда. А это гнездо — маёнтки Потоцкого. Увидим Умань, увидим ее башни, рвы и окопы, а возле города — две высокие черные могилы, над костьми казненных наших братьев гайдамаков, половленных и побитых, в недавние годы, уманским губернатором. Его направляли против нас проклятые завистники — униатские попы. Мы ему о том вспомним. Надевали мы седло на лисянского губернатора, Кучевского, и ездили на нем верхом; то же будет с уманским. Знайте, что в Умани две тысячи отборных рубак на кони, немало и пешего гарнизона, тридцать пушек, вдоволь всякого другого оружия, харч и разряженный до беса легион панов-конфедератов. Конными командует полковник Обух; окопы и стены чинит старый вояка Шафранский, а губернатором в Умани — любимец графа Потоцкого, смоленский подстолий, Рафаил Младанович... Ну, да разве у того Рафаила вырастут крылья архангела, чтоб он от нас убежал... Как о том думаете, братья-молодцы?

— Далеко недоляжку до ангельского чина! — ответил бывший на совете у атамана Шпак. — А чтоб спокойнее идти, можно б, полагаю, попробовать в ихней милиции; не все ж казаки им верны. Их сотник Иван Гонта — нашей веры и добрый, говорят, казак...

— Дело сказал Аким! — продолжал Железняк. — И о том уж мною давно подумано. А Умань, помните, голубята, не Канев и не Богуслав, где и хорошего пива не нашли у поганых жидов — пили кислятину. С Умани граф Станислав кладет в свой шелковый карман полтора миллиона карбованцев в год дохода.

— Что ж, и мы пошьем себе шелковые карманы, — сказал Односум, — абы, дядько Максиме, не сплоховала милиция, встретила нас по вере: не то паны, как раз, из наших шкур накроят своим псарям новых арапников да черевик.

— Не накроят, руки коротки! — произнес Железняк. — А впрочем, хлопче, бери коня, езжай вперед к Мельхиседеку, потом Мотронинским лесом пеший. Мы сносились с Гонтою. Только он все вертит хвостом. Распытай, надумался ли он и где нам ждать его самого или его гонцов? Когда я жил на острове Тясмина, мы сходились с отцом Мельхиседеком в овраге холодном. Хорошее место... трущоба страшенная! Может, тебе опасливо, то бери с собой и Шпака; он вырос у отца игумена и если не забыл монастырских батогов, то вспомнит там все свиные дорожки...

— Били и тебя, дядько Максиме, как ты был дитиной! — с недовольством ответил Шпак. — Били всякого. По свиным дорожкам я дойду, куда ни пошлешь. А лучше послушай меня и вызови самого Гонту. Он пьяница, но не дурень; я вдоволь его узнал, когда он шатался по чигиринским базарам и шинкам...

Совет Акима был принят. Гости с Дикого Поля решили, не подходя к Умани, выждать Гонту в Соколовце. Сюда вскоре тайно приехал уманский казак, украинец Дзюба. Он сообщил Железняку о положении Умани, звал его туда скорее и пророчил ему несомненный успех.

IV

Младанович

В Умани и особенно в доме тамошнего губернатора Рафаила Младановича не чаяли еще близкой беды.

Меры осторожности, по приказу владельца Умани Потоцкого, были приняты своевременно. Ров вокруг замка был углублен, высокий и толстый дубовый частокол исправлен,

4*

пушки стащены на вал и снабжены припасами. Горожане, видя бравую осанку конного и пешего гарнизона, питали уверенность, что все кончится благополучно.

Дурным признаком было лишь одно: в конце мая ни с того ни с сего вдруг закопошились и, как тараканы, задолго почуявшие пожар, один за другим, незаметно из предместьев ушли несколько десятков дальновидных и быстроногих еврейских обывателей — зажиточные ремесленники, торговцы мелочью и окрестные корчмари. Сверх того, на улицах города, или «Старого мяста», что ни день, стали появляться гости из соседних и дальних деревень — помещики, не служилая шляхта, экономы, посессоры. На вопрос, зачем приехали, они отвечали: по делам в суде, за покупками. Но за ними, под защиту уманской цитадели, тянулись в рыдванах и калешах их семьи. Скоро постоялые и дома знакомцев так переполнились в «Старом мясте», что вновь прибывшие начали ютиться в форштадтах, по мужичьим хатам, и у оставшихся, повесивших носы, жидов.

— А все-таки мы не боимся хлопов и вот как их проучим! — говорил губернатор, муштруя на площади и ободряя уманский гарнизон. — Мало того, что не поддадимся псам, пусть галганы идут под нашу картечь! Разом дадим им из бойниц отпор да заодно уж отсалютуем и помолвку дочки... Нечего откладывать; гонца в Киев!

— Браво, пан Рафаил! Виват! — кричали, хлопая в ладоши, офицеры вольного шляхетского регимента.

И действительно, Младанович решил оповестить жениха старшей своей дочери, Фелиции, что ждет его на торжественный сговор и обручение к восьмому июня.

В губернаторском замке поднялась возня и суета. Шныряли конюхи и повара. Мыли экипажи для цуга к парадной обедне, чистили и гоняли на корде застоявшихся упряжных жеребцов. К погребам пана Рафаила из подгородних дач его принципала, Потоцкого, потянулись клети с живностью, бочки напитков, кули с мукой и всякими припасами. В поварне готовили посуду; в боковом флигеле сыгрывались скрипки,

флейты и валторны. В старом саду, с трех сторон окружавшем замок, стриглись деревья и кусты, чистились и посыпались песком дорожки; на смежной Лысой горе, за речкой Уманкой, в зелени дерев, ставили транспарант с буквами Ф. и Р., а садовые беседки, даже теплица, приспособлялись для дневного и ночного отдыха ожидаемых гостей.

Младанович, впрочем, храбрился больше из дворянского незапятнанного гонора, для виду. В глубине души пан Рафаил не мог не сознавать всей важности ожидаемых событий.

Питомец братий иезуитов, он, благодаря их учению и своим пятидесяти годам, отлично видел и сознавал общую распущенность местной шляхты, военных и штатских властей. Ле́нивый, тучный и мягкий сердцем, в старобытном, краковской моды, кунтуше, с рыжими усами и с таким же чубом на подбритой жирной голове, он не стеснялся в домашнем кругу восставать против пустоты и мотовства современных модников, против нескончаемых их попоек, охотничьих разъездов и поклонения развратной чужеземщине.

С Младановичем жили его престарелая мать, жена, две незамужние сестры и пятеро детей, две на возрасте дочери, Фелиция и Вероника, и три малолетних сына. Гостили у него некоторые родичи, в том числе дядя жены полковник Горжевский. Воспитанница сакраменток, потом монастыря визиток, губернаторша, как и младшая ее золовка, комиссарша Бендзинская, была одного нрава с мужем: домоседка, богомольна, тиха и чужда соблазнов мод.

Старшая, тридцатилетняя сестра Младановича, обывателька веселой и шумной Варшавы, некоторое время учившая его дочерей, была иных наклонностей: любила выезды, танцы, приемы, званые вечера. В городе панну Ванду звали верховодицей. И действительно, владея добряком-братом и его женой, она была властной хозяйкой в их доме.

Сирота-воспитанник ковельского старосты Яблоновского, Младанович, по протекции последнего, получил место губернатора в Умани и комиссара прочих украинских поместьев Потоцкого. В Умань он приехал, когда его Фелиции было

восемь, а Веронике семь лет. Девочек учили быть набожными, работящими, добрыми. В ту пору еще немногие паненки знали грамоте. Младанович сам сперва учил своих детей чтению, писанию и счетам. С его слов любимица отца, Вероника, вытверживала на память молитвы, жизнь святых и краткую хронику польских королей. Она не раз плакала, слыша, как мыши съели сказочного Попела. Позже отец заставлял ее учить из ежедневного политического календаря списки владетельных особ Европы, сведения о гербах и чинах польских и литовских магнатов, по каждому воеводству и повету. Губернаторский казак-почтарь, еженедельно привозивший из Винницы варшавскую газету «Люсцины», особенно смущал Веронику. Ей приходилось по целым часам читать отцу скучнейшие новые известия о въезде и выезде из Варшавы разных знатных лиц, об их помолвках, браках, родинах, крестинах и похоронах. После отца Веронику некоторое время учила тетка Ванда. Хелмский епископ Рило, приехавший в Умань с целой семинарией, для посвящения полутораста ксендзов в новозаложенные украинские церкви, заметно оживил и возобновил этот город. Ксендз Костецкий выстроил, на иждивение графа, монастырь, костел и школу. Учредилось несколько ярмарок, в том числе двухнедельная Свенто-Янская. Вокруг огромной, деревянной ратуши бойко торговали сукнами, шелками, рыбой, икрой, винами и прочей бакалеей туземные евреи и заезжие греческие и армянские купцы. Окрестная, позажиточнее, шляхта также настроила в Умани домов. Появились моды; стали наезжать на базары и ярмарки ремонтеры королевской кавалерии, бродячие актеры, фокусники, певцы. Иногда семья губернатора ездила к Потоцкому в Киев, где гостила по месяцам. Там за старшей дочерью Младановича, Фелицией, охотницей до музыки и танцев, стал ухаживать их варшавский родич, Витковский. По его совету, Младанович взял к дочерям француженку-гувернантку. Француженка охотнее занималась с Фелицией; Вероника по-прежнему проводила время с няней-украинкой, взявшей на руки ее маленького брата, Павла. При первых

слухах о гайдамаках губернатор стянул в Умань всю украинскую милицию, до двух тысяч человек.

Более степенная, замкнутая Вероника, чутко следя за всем, что видела и слышала, недоверчиво смотрела на охранителей города — уманских казаков. Ее пугал их неотесанный, хохлацкий вид, когда в долгополых желтых кунтушах, таких же шапках, с черной барашковой оторочкой, и в голубых шароварах, эти мужики, с копьями и ружьями на плечах и с пистолетами за красным широким поясом, распевая свои дикие песни, шли мимо замка с маневров от Грекова леса. Вероника боязливо косилась и на их страшного сотника, Ивана Гонту, уроженца села Росушек, хотя он не только говорил, но и умел писать по-польски, а с тех пор как его «нобилитовали» шляхтичем, даже подходил к ручке паненок и, наезжая из своей вотчины, говорил Веронике: «Что вы не пожалуете, панночка, ко мне в Орадовку? Какие там сады и как поют птушки!» Раз он даже привез ей в клетке из пожалованной ему графом Орадовки соловья. Вероника краснела и бледнела, не преодолевая отвращения к неотесанному сотнику, от которого пахло чесноком и у которого было такое хмурое загорелое лицо, большой нос, страшенные усы и черные, зорко глядевшие глаза.

С весны того года к отцу Вероники стали особенно учащать знатные, озабоченные гости, графские официялы, посессоры; они тайно с ним о чем-то советовались, шептались, очевидно, делали негласные распоряжения. «Это они о Гонте и его хохлах!» — говорила себе Вероника, с трепетом приглядываясь и прислушиваясь, как ночью в огромный склад при кордегардии свозились из Винницы и Проскурова седла, ружья, бочонки с порохом и прочие припасы. Прошел смутный слух о каком-то Железняке, о данном ему благословении от игумена Мотронинского монастыря и о том, что, взбунтовав хлопов в Смилянщине, имениях князя Яна Любомирского, гайдамаки стали близиться к Уманщине.

Мысль о праздновании помолвки племянницы в ожидании набега гайдамаков подсказала Младановичу его сестра,

Ванда. Он ей поручил и приведение этой счастливой затеи в исполнение. «Пир поднимет дух города, — рассуждал он, — гарнизон пожелает отличиться, и запорожская голь будет прогнана».

С часа, когда гонец улетел к жениху в Киев, панна Ванда не знала покоя.

Подобрав на булавки с боков и сзади свой голубой шлейф и засучив по локти красивые полные руки, она, в белом переднике, не уставала ходить то в кухню, то в погреб, в людскую и на огород. Ее золотисто-рыжие, без пудры, высоко взбитые волосы мелькали то здесь, то там, среди добродушно и ласково глядевшей на нее шляхетной и простой украинской прислуги пана губернатора. Панну Ванду любили все.

А в то время как сестра губернатора суетилась, судила и рядила с главным кухарем, с кастеляншей, ключницей, француженкой-гувернанткой племянниц и с няньками племянников, пан Рафаил, рассеянно выслушав ежедневный доклад инженера Шафранского, уходил в опочивальню и там запирался со своим духовником и другом, базилианцем-униатом Клеофасом.

Опочивальня была вместе рабочим кабинетом и молельней Младановича. Здесь, в углу, над аналоем, висела украшенная лентами, заветная, дедовская потемнелая икона Остробрамской Божией Матери. Перед ней, на серебряной цепочке, горела большая неугасимая лампада. На аналое, с молитвенной ступенью, лежали канон Спасителю, страстная свеча и венок из полузасохших цветов, освященный в праздник Тела Христова. Над постелью висели другая икона, Борунской Божией Матери, разные амулеты от римской курии, кропило из душистых стеблей исопа, курительная смолка и ремезово гнездо из пуха, в виде рукавички, — магическое средство от дурного глаза, лихорадки и от злодейской руки.

— Плохи наши дела, пришло крутое, лютое время! — сказал Младанович, запершись с отцом Клеофасом накануне

ожидаемой помолвки и трижды целуя ленту остробрамской иконы, всякий раз притом вспоминая о ранах Спасителя. — Ждем нашествия новых гуннов и алланов; как-то еще справимся с пьяной, кровожадной чернью? А между тем улыбайся трусам, весело встречай будущего вселюбезнейшего зятя!..

— Cui honor, cui decus, cui vectigal! — произнес со вздохом патер. — Кому честь, кому слава, кому дань...

— Это правда, ubi officium, ibi beneficium — где долг, там и заслуга! — ответил ученым присловьем Младанович, зажигая в ручной кадильнице ладан и не допуская, чтоб утешавший его плешивый толстый монах и в такие минуты забывал, что сам пан Рафаил в достаточной мере проходил латинскую премудрость. — И не столько я скорблю о смутной бунтовской поре, как о генеральном повреждении и падении нравов.

— Приходит миру конец! — сказал патер, отсчитывая четки. — Везде шатание, гульня, языческие оргии; голосу духовных не внимают. Девы, ожидавшие жениха, идут на общий гибельный, Валтасаров пир!..

— Э, пан Клеофас! Девы, пир... То, прошу извинения, не так! — перебил с улыбкой губернатор, обнося в углах спальни дымившуюся кадильницу. — Я сам был всегда не прочь повеселиться и дать хмеля и звона добрым молодым друзьям. Я сам в юности был завзятый плясун и волокита и даже — скажу по секрету — дрался с одним рубакой на поединке за восхитительный с некоей литвинкой полонез. Но на все место и час, это — главное... Как бы, извините, святой отец, не ваши коллеги, униатские попы, что с попами схизматиков на ножах за приходы и сборы с мирян, то не было бы этих кровавых распрей двух родственных племен... Они всему виной... Эх-эх — горе не в том, — продолжал, помолчав, Младанович, — моя сестра и будущий зять, точно слепые, не видят главного — порчи старых наших обычаев; осуждают их и видят спасение в одной, подбитой иноземным ветром, новизне. Я говорил и говорю: в старину дворянство

так не бездельничало и не ленилось и так не буйствовали студенты школ. Царство наше — здание без крыши, подверженное всем ветрам... Надутые, продажные магнаты в старину были менее высокомерны с низшими братьями и не так лакействовали перед унижающим нас варшавским двором. Они строят новые роскошные замки, убирают их иноземным фарфором, бронзой и саженными зеркалами, а крепости наши не вооружены, валятся, и детей своих они учат не иначе, как в Париже, чтоб те впоследствии отвергали веру, честь и самую науку отцов. Мой названый зять говорит, будто Польша — одичалая, зверская страна и что в ней нечем похвалиться перед ученой Европой...

— А Коперник? Его забыли! — возразил, тихо вздохнув, Клеофас.

— О! Я мосце-пану Витковскому не раз указывал на Коперника, — продолжал Младанович, — не берет! В напыщенном, высокомерном увлечении парижскими крикунами пан Рудзь мне хвастливо ответил: «Все монахи у вас да попы; других нет! И Коперник был не более, как каноником в Фрауенбурге, а потому под конец и струсил — отнес все свои дивные открытия к небывшим указаниям древних».

— Жених панской дочери еще глупая молодая голова! — ответил Клеофас, набожно взглянув к потолку. — А потому и заносчив... Позвольте, однако, вас пан отклониться в сторону... Что слышно о гайдамацком наезде и как ведет себя наш милиционный сотник Гонта?

— Добрый мужик, послушный, смирный; у меня в винокурне срубил новый амбар; пустяки, все про него врут...

— Ну, не врут, — перебил с оглядкой Клеофас, — жиды из форштадта передавали нашим отцам-базилианам, что украинская чернь эти дни вдруг как-то подняла голову; шепчутся, шныряют в окольные леса; а их коновод, Гонта, будто в объезд своих пикетов, побывал ночью и в Соколовце.

— Ну, что ж, что в Соколовце?.. Имение пана Собанского; хороший и разумный пан, — ответил губернатор.

— А его подданные — все хохлы; там, слышно, в скорости будет привал злодеев. И как бы не прозевали с этим новым Мазепой... Гонта с виду прост, тих и даже будто дураковат; ходит в сермяге и полой утирает нос, а как передастся Железняку, не тем отпразднуется у пана помолвка дочери.

— Свиньи они, только корыто не для них приготовлено! — сказал, веря и не веря своим словам, Младанович.

В дверь губернаторской спальни кто-то торопливо постучал. Вошла бледная, взволнованная пани-губернаторша. Глаза ее были заплаканы.

— Вы здесь мирно беседуете, — сказала она, омочив по пути пальцы в святой кропильнице и ими набожно тронув свои глаза и грудь, — а там такие вести, такие! Мотронинский игумен Мельхиседек выдал гайдамакам золотую грамоту на убийства; ее писал архиерейский писарь Молдаван... Мужики дышат местью, точат ножи, усылают жен и детей, будто на работы, по деревням.

— Ну, и пусть усылают — меньше бунтовской сволочи.

Не успела жена Младановича возразить, в спальню ворвалась его сестра. Ее глаза горели негодованием, платье и волосы были в беспорядке. В руках она вертела какое-то письмо.

— Вы заперлись, читаете каноны, накурили ладаном, как в костеле, — произнесла, сдерживая плач, панна Ванда, — а в Умани предатели. Вот письмо от Пташека. Гонта изменил и готовится перейти к гайдамакам.

— Не перейдет, — храбро сказал губернатор, взглядывая на остробрамскую икону.

— Как? Мужику, хаму, галгану, псяюхе ты поверишь более, чем другу семьи, и когда о том давно твердит весь город?

— Да я еще вчера вызывал его и всех их старшин, уговаривал, стращал и заставил целовать крест на верность графу и нам.

— На площади, со звоном! — крикнула Ванда. — При всех хоругвях и колоколах пусть присягнет хохлацкий пес! — бешено продолжала раскрасневшаяся, со сбившимися локонами Ванда. — Тогда только, как гнусный схизматик присягнет на Евангелии и кресте при всех, при наших и ихнем попах, только тогда я и вся Умань поверим, что ты, панебратец, не жалкая трусливая улитка, не бабья тряпка, а рыцарь, вояка и рыцарей вождь.

Младанович вздохнул и почесал за ухом.

— Быть, пожалуй, по-твоему и тут, — сказал он и обратился к патеру Клеофасу, — оповести, святой отче, назавтра наше и их духовенство. Учиним публичную присягу Гонты...

— Она, как все бабы, горяча и подчас несдержанна на язык, — прибавил Младанович, когда сестра и жена ушли, — но я люблю таких, начиненных порохом и стружками. Опять недурно придумала. Только замечаешь? Вольнодумка, а вспомнила о Евангелии и кресте не хуже нас.

Патер, в свой черед, взяв кадильницу, начал читать канон. Младанович склонил колени к аналою....

Публичная присяга Гонты на верность городу и его помещику, графу Потоцкому, торжественно совершилась на городской площади седьмого июня.

Вся Умань собралась в «Старое място». Заборы и камышовые кровли были заняты народом. В раскрытых окнах и на балконах помещалась знать. Сам базилианский ректор униат, Ираклий Костецкий, вынес из собора все святости, расставил в кругу войска хоругви, кресты и, с зажженными свечами, на шестах фонари. Церемония совершилась в присутствии двух других униатских попов,

перед церковью св. Михаила. Костецкий прочел заранее составленную присягу.

— Клянешься ли на этом Святом писании, — громко спросил он Гонту, — верно служить своему пану-графу и защищать его добро?

С губернаторского и соседних балконов навели на Гонту зрительные трубки и старались не проронить, что ответит украинский милиционный сотник.

— Отвечай! — прибавил Костецкий.

— Клянусь, — негромко ответил Гонта, искоса глянув на увешанный коврами губернаторский балкон.

— А клянешься ли, пан-сотник, за себя и за свое войско также верно слушаться и поставленных графом чиновников?

Гонта переступил с ноги на ногу. По его смуглому, хмурому лицу пробежала судорога. Он опять взглянул к балкону, где сидел губернатор и вся его семья, и ответил:

— Клянусь.

— Целуй теперь книгу и крест! — сказал поп.

Гонта перекрестился и поцеловал не только крест и Евангелие, но и руку ксендза. Погода стояла светлая. Гремели колокола; церковные и войсковые хоругви чуть веяли в теплом безоблачном воздухе. Нарядные пани и панночки, обмахиваясь опахалами, посмеивались, остря с кавалерами над поношенной серой свитой и запыленными, дегтярными чеботами загорелого и неуклюжего казака, приносившего перед ними присягу.

— Волк и волчье думал, — сказала Ванда, уходя с балкона, — а теперь поневоле станет овцой.

Умань успокоилась. Общее доверие к властям восстановилось. Из соседних и дальних местечек и сел в город столпилось столько беглых помещиков, посессоров, экономов, ключников и прочей мелкой шляхты, что у горожан, а вскоре и в форштадте уж не было им места.

Беглецы, числом до шести тысяч, со своими семьями и пожитками, стали близ Умани табором, под открытым небом, у Грекова леса.

Железняк взял и истребил лучшие поместья князя Любомирского, Смелу, Жаботин и Лисянку. Его ватага, подкрепясь новым подошедшим отрядом, двинулась по уманской дороге. В Лисянке он повесил у дверей костела рядом поляка, еврея и собаку, с надписью: «Жид, лях и собака — вера одинака».

— Ты, братику, — сказал Односуму в ночь на восьмое июня Шпак, сойдясь с ним по условию у корчмы возле Соколовца, после их отдельных разведок к Грековулесу, — ты, видно, в сорочке родился.

— Почему? — спросил Аминадав.

— Как наши брали Лисянку, ты успел уже помочить саблю в крови недоверков, сажал на копье их детей и волочил конем по полю их баб. А я чем не заслужил у Бога? Свихнул на походе ногу и пролежал, как гнилой пень, в обозе... И в Звенигородке не удалось; все на разведках....

— Погоди, дьяче, — ответил, поправляя трубку, Аминадав, — закурим и твое кадило. Не пришлось побить ляхов, зато ты у нас из первых... при боку самого куренного...

Шпак покосился на товарища, недоумевая, смеется ли тот над ним и не следует ли, пока не приехали в гурт, посчитать ему бока.

Односум, не заметив его взгляда, продолжал курить. Смерклось, когда они подошли к Соколовцу. — «Надо бы, надо бы поколотить чертова сына! — думал Шпак. — Не проучишь — зазнается». У околицы дымились костры обоза. Слышались песни, треньканье торбанов, звон бубен, смех. Какой-то всадник стремглав скакал от поселка.

— А что? Вы чужие будете или свои? — спросил он, качаясь на седле.

— Ну, ну, с дороги, пьяная харя! — ответил, проходя мимо его и замахнувшись на него саблей, Шпак.

V

Помолвка

Решительная и торжественная присяга Гонты так успокоила уманского губернатора, что он, не задумавшись, выслал, под предводительством полковника Обуха, весь «сомнительный» отряд крестьянской милиции прямо навстречу гайдамаков. Ходил уже смутный слух, что Железняк взял недалекую Звенигородку; но, по несомненным расчетам он далее Соколовца идти не мог, так как его в том месте стерегли регулярные стрелки.

— Завтра помолвка, завтра и свадьба, коли поспеет жених! — решил расходившийся Младанович. — Что откладывать? Одна музыка, одни пляски, один и расход.

— Браво! Виват пану Рафаилу, салют! — кричали, подгуляв на девичнике, губернаторские гости. — Одна сабля для мазурки, одни каблуки на краковяк! Второй полонез, пани Феля, со мною! Край платья паненки за милость целуем!

Настало восьмое июня.

Из табора окрестной шляхты, стоявшей у Грекова леса, видели рано на заре клубы пыли и слышали скрип последних колес в обозе милиции, выступавшей с Гонтой в ту ночь против Железняка.

С восходом солнца в Умань прикатил жених губернаторской дочки пан Рудольф Витковский.

После обедни в соборном костеле было парадное обручение. После вечерни был назначен венец, обед в честь новобрачных и бал до утра, на садовой поляне, при факелах и смоляных бочках, под навесом столетних яворов и лип.

Обручение было вспрыснуто еще обильнее, чем девичник. Подкутившие шляхтичи приступили к отцу.

— Как там оно еще будет, когда молодые поженятся, — сказали они, — а теперь весело; зови, вельможный пан, жениха и невесту — полно им амурничать по садовым затишьям! До гурта их, и вели играть музыке. Посмотрим, не забыл ли кто дедовского вертуна?

Младанович подал музыке знак. Одной рукой крутя рыжий ус, а другой ударив по сабле, висевшей у широкого златолитого пояса, на желтом шелковом кунтуше, он первый с панной Вандой, а потом с чопорной, говорившей по-французски женой инженера Шафранского открыл полонез. Курчавый рыжий чуб пана Рафаила бойко помахивал на раскрасневшейся, бритой его маковке, когда он, искоса поглядывая на даму, гордым гусем выступал впереди танцующих пар.

За полонезом грянул краковяк, далее — мазурка.

— А жених-то, жених, что то за красивый хлопец, — шептали дамы кавалерам, лихо отплясывавшим, с кривыми саблями, краковяк.

— Пан Рудзь был в Париже с делегацией короля и, очевидно, вывез оттуда богатый гардероб! — сказала пани Шафранская приятельнице, — обе руки пана в перчатках, а в ушах, как у нас, по серьге. Настоящий шевалье, петиметр...

— Нет, коханая пани, вот я диво слышал! — сообщил своей даме соперник Витковского, румяный, до упаду танцевавший улан Ленарт, — пан Рудольф для охраны нежных рук носит в холод соболью муфту, а теперь завивался у парикмахера в Киеве и, чтоб не испортить прически, прикатил на почтовых в чепце...

Дама от смеха закрылась веером.

Действительно, щеголь жених, как видели губернаторские слуги, выскочил из экипажа в модном мужском чепце, réseau à la Biron, придуманном для охранения в пути и ночью затейливых причесок тех времен.

По желанию родителей и публики невеста с женихом стала сконфуженно среди залы и под звуки скрипок и флейт, игравших с хор, протанцевала с Витковским редкий еще в тех местах гавот á la reine. Француженка-гувернантка, учившая Фелицию этому танцу, вся вспыхнув, забилась за дворню, глазевшую из коридора в залу, и чуть не упала в обморок, пока Феля отработала стройными, гибкими ножками все трудные фигуры, в том числе pas de rigodon.

Гости были в восторге. Общие танцы возобновились с новою живостью. «Краковяк!» — кричали одни музыкантам. «Обертась!» — командовали другие. Слуги разносили сласти и прохладительные напитки. Близился вечер. Жених и невеста ушли одеваться к венцу.

В зале, соседней с танцевальной, готовили обеденный стол. Звенела посуда, ставились цветы и вина, и сдержанно-властно отдавала приказания, разряженная в пух и прах, счастливая общим весельем, хозяйская сестра.

Невеста сидела перед зеркалом. Ее одели в белое атласное платье, с белым покрывалом и таким же венком.

— Она чистый ангел! — сказала семнадцатилетняя, худенькая, младшая ее сестра, Вероника, когда ей показали убранную Фелицию.

— Придет пора, душечка-панночка, — ответила ей чернобровая служанка-украинка, — наденете и вы такой же наряд. Видела я сон! Ой лелечко, что за сон...

— Какой же сон ты видела, Харитина?

— Ой, панночка, лучше и не спрашивайте, то, верно, сдуру, ведь я дурная и все думаю про свои места...

— Да говори же, говори!

— Будто сестру вашу хоронят... а вы с крыльями, и ворон гонится за вами...

Вероннику с братьями кликнули в залу. Туда вышел, в венчальном уборе, Витковский. На нем был шелковый, цвета васильков, французский кафтан; из-под кафтана виднелись белые до колен, муар-антик, панталоны. Поверх бледно-розовых чулок были надеты вторые, сквозные и тонкие, как

паутина. Блестящие, из лаковой кожи, башмаки были с красными каблуками. В левой руке жених держал трость с золотым набалдашником; в правой — батистовый, раздушенный, с блондами и гербом самого пана Рудзя, платок. Сбоку висела шпага. Волосы Витковского были присыпаны пудрой, с серебряными и золотыми блестками. Шафер с правой стороны держал наготове алый плащ Витковского, на белом тафтяном подбое; шафер с левой — перчатки, бомбоньерку с леденцами и флакон духов.

— Спасибо вам, дорогие гости, спасибо! — сказал жених, счастливыми глазами окидывая окружавших его шляхтичей. — Отпируем свадьбу, а там и ко мне в Плетешки...

— Куда в Плетешки? Эге-ге! Рано еще, не вполне, зятушка! — произнес осовелый от радости Младанович, таща за собою чью-то взъерошенную и смущенную образину. — Надо сперва здесь позабавиться вдоволь. Вот, мосци-пани, накрыли и уличили этого, стоящего перед вами, пустобреха и клеветника. Надо б ему, по старине, пока еще не вышла сюда невеста, чтоб его простили, отлаяться... Как думаете?

— Знатно сказано! Придумал пан! Отлаяться! — крикнула шляхта. — В чем, однако, дело?

— А вот в чем, — объявил Младанович, — пока мы тут веселились, этот пан, нашего пана-графа подписарь, доныне, впрочем, почтенный и не уличенный ни в чем, пустил в городе слух, будто наша милиция — что бы вы думали? — сдалась гайдамакам и будто злодеи идут теперь на нас общими силами!..

— Ну? Ну? — не совсем смело откликнулись некоторые из гостей.

— Так вот, мосци-паны, чтоб проверить эти вести, я посылал верхового за Греков лес, оказалась сущая брехня. Гонта стоит на пути к Соколовцам, бережет дорогу, а гайдамаки, видно, струсили, повернули на Богополь...

— Так ты брехать? Отлаяться! — крикнули офицеры.

— Отлаяться!.. — подхватили шляхта и губернаторские домочадцы.

— Ну, пан подписарчий, — объявил Младанович, — становись на четвереньки и полезай под стол!

Виновник счастливо отвергнутой вести хорошо знал дедовские обычаи. А потому беспрекословно подобрал фалды кафтана, подлез под стол и, со слезами стыда и обиды, трижды оттуда пролаял по-собачьи, под дружный громкий хохот гостей.

— Брехня с тебя снята! — сказал, отирая слезы, Младанович. — Иди же и помни: не всякому слуху верь.

Губернатор говорил одно, а думал другое. Он утром того дня получил письмо от графа Потоцкого, где его хозяин и повелитель писал ему — быть осторожнее с казацкой милицией, не оскорблять самолюбия Гонты и, буде нужно, войти с ним в переговоры о разных льготах для хлопов и для самого Гонты. Младанович спрятал это письмо, мысля: «Вот глупство! Еще с хамами любезничать!» Теперь это письмо сильно его тревожило...

Не успел подписарь выйти, из костела дали знать, что все готово и ждут новобрачных. Шаферы пошли встречать невесту. Она показалась из уборной. По бокам ее шли мать, тетка Ванда и сестра Вероника; впереди, с остробрамской иконой, маленький брат.

— А не выпить ли, мосци-паны, еще, — спросил Младанович, — чтоб дорога молодым была скатертью?

— На хорошие вопросы пану низкий поклон! — ответили, кланяясь, поезжане.

Подали флягу. У крыльца ржали запряженные цугом лошади, хлопали бичи.

— Эх, да где ж ты у черта парилась, моя золотая? — вскрикнул весь красный от волнения и счастья Младанович, сам откупоривая и разливая толстобокую, замшившуюся флягу «ченчибельной». — Теперь пока так выпьем, а вечером, по венце, — под салюты из пушек...

И вдруг где-то прогремел и потряс окна отдаленный пушечный выстрел.

— Перепились до времени, подурели бесовы пушкари! — крикнул губернатор. — Ей, Берко, Самус! Бегите и передайте в окопах, чтоб подождали до захода солнца, тогда извещу — пусть жарят вволю...

Но раздался второй, столь же громкий и уж, по-видимому, более близкий выстрел.

Что же это? Все бросились к двери, на крыльцо.

За воротами была суета. В переполохе по площади и соседним улицам метались женщины; кричали и бегали, подобрав рубашонки, дети; куда-то глядели слуги. От форштадта скакал верховой. Он миновал мост через крепостной ров и, приближаясь к замку, еще издали махал руками. То был длинный и кривой на один глаз, державший винную лавку еврей.

— Ой, вай-мир, разбойники, харцызы! Гевалт! — крикнул он бледный, с искаженным от страха лицом. — Ворвались в слободку, режут, убивают, жгут...

— Какие разбойники? О ком говоришь? — спросил из толпы разряженных бальных гостей губернатор.

— Гонта! Изменник и злодей, Гонта передался, со своим полком, гайдамакам, и теперь пропали наши и ваши головы.

— Ну, до наших еще далеко! Запирать ворота, мосты! — крикнул, обнажая шпагу, жених. — Пани и паненки, по комнатам, а вы, мосци-паны, военные и невоенные, с дозволения пана Рафаила, за мушкеты и сабли, в окопы, за мной.

Витковский одушевил гарнизон. Офицеры и шляхта, кто в чем был, схватились за оружие, бросились к частоколу и рвам. Младанович с Шафранским взошли на башню. Глядя в зрительную трубку, Шафранский приметил сперва у Грекова леса уманский полк Обухова. «Стал наперерез злодеям!» — сказал он радостно. Но потом он разглядел, что с уманцами рядом пришла другая, незнаемая орда, в разных одеждах и странном вооружении; что ее вожаки сошли с коней и дружески беседуют. Шафранский сбежал с башни,

крича: «Запирайте ворота! Наводите пушки! Злодеи соединились!»

Зарево пожара поднялось за форштадтом Турком. Горел подгородний хутор. Столб черного дыма стал заслонять вечереющее небо. Свадебный хмель быстро вылетел из голов растерянных защитников Умани.

Полковник Обух, встретясь с гайдамаками, не преградил им пути, так как немедленно бежал от своей милиции. Железняк, тайно снесясь с Гонтой через Односума и Шпака, узнал, что хитрый, нобилитованный титулом шляхтича и панским хутором, недавний крепостной холоп графа Потоцкого намеревался до открытого соединения с ним, выторговать себе и своей старшине кое-какие выгоды. Железняк ответил ему, что согласен на все.

Гонта и Железняк сошлись в поле, под Соколовцем.

— Ну, что, братику Иване? Сдаешься? — спросил Железняк, когда Гонта, отделясь со стариками от отряда, слез с коня и пеший, с кнутом в руке, вышел ему навстречу.

— Как же мне, панове-молодцы, нашу Умань разорять? — ответил, тыкая в землю кнутовищем, нобилитованный холоп. — И как нам поднимать руку на своего пана-графа?

— А вот что, братику, — нашелся Железняк, — ты только послушай: как возьмем Умань, а за нею Киев, то не будет больше ни твоего графа, ни других панов. Победит славное запорожское войско — ты получишь в подданство всю Уманскую волость и, на место графа Потоцкого, титло русского воеводы; твоей же старшине Кош отдаст Смелу, Богуслав и прочие здешние маетности и города. Согласен?

— А вы, — спросил Гонта, обратясь к своим, — что скажете?

— Мы, дядько Иване, во всем, что решишь, твои согласники! — ответили милиционеры. — Осточертели нам те ляхи да жиды, чтоб им не легко сгадалось!

— Ну, а вы ж, пане Максиме, чем тогда будете? — спросил Гонта, взглянув на Железняка. — Чи полковником, чи що?

Запорожец усмехнулся.

— Вот, прости Боже, дурень, — ответил он, крутя усы, — да я ж буду украинским гетманом, как, вовеки блаженной и присной памяти, наш батько Богдан Хмельницкий.

— Так сгода ляхам? — спросил, понурясь в землю, Гонта.

— Сгода.

— И жидов не миловать?

— Глупо и спрашивать, — ответил Железняк, — довольно напились они нашей крови; поищем в их закутках серебра, шелку и золотых цехинов.

В отряде гайдамаков было до тысячи пеших и конных, в том числе полторы сотни беглых запорожцев. Кроме ружей и пик они имели несколько пушек, отбитых в Каневе, Лисянке и других, взятых ими городах. Сдавшийся регимент Гонты добавил к их силе две тысячи пеших милиционеров, с полковым и сотенными значками и с десятью полевыми пушками.

Соединенный отряд украинцев бросился на Умань. Передовая сотня, с Гонтой во главе, ворвалась в шляхетский табор, под Грековым лесом, перерезала там поляков и жидов и зажгла ближние хутора.

Железняк повел остальные силы к форштадту Турку. Гонта отрядил своих, через речку Уманку, в обход предместья Бабанки.

— Выручай, коханый друже, — сказал, отирая слезы, Младанович архитектору Шафранскому, — не жаль мне ни себя, ни семьи, с невенчанной невестой; жаль нашей польской гибнущей чести и славы. Возьмут нас мужики, не уважут ни пола, ни возраста, ни нашей дедовской святыни.

Ксендз Костецкий ударил в набат...

VI

Уманская резня

А старый город стойко держался восьмого, девятого и десятого июня.

Архитектор Шафранский командовал артиллерией, Витковский и Ленарт — гарнизоном крепости и замка. Главные караулы у ворот и мостовых окопов занимал «компут панцирной хоругви» — дворяне. Сбежавшиеся в «Старое място» чернь и евреи носили в бойницу пищу и питье, подавали пехоте и пушкарям боевые снаряды.

К вечеру десятого июня гарнизон старого города и замка начал терпеть нужду в воде. За нею надо было, под выстрелами осаждающих, украдкой отправляться за две версты к ручью Каменке; вода же в речке Уманке была болотная, гнилая и пропитанная трупами, брошенными по приказу осаждающих.

— Ох, душечка няня! — говорила младшая дочь губернатора Вероника, со страхом прислушиваясь к пальбе. — Как кричат разбойники! Как стреляют! Придут и всех нас заберут в полон.

— Стреляют и в темноте, только не бойтесь, панночка-сердце, — отвечала украинка-няня (думая меж тем: «Хорошо, как только заберут!»), — рвы и насыпи новые, ворота подперты бревнами, а на окопах все молодцы стрелки, и сам, с дедовской кривой саблей, пан Рудзь.

— Ох, ласточка няня! Не помилуют они нас! — отвечала со слезами Вероника. — Отец говорил, что когда графские отряды не успевали догнать и разбить гайдамаков, то наказывали за них неповинных мужиков. Били их кнутом за прием одноверцев, резали им подколенки, а многих казнили.

— Молитесь, панночка, Богу! — утешала няня. — Мой отец также наказан в Балте, а дед казнен в Каневе. Бог простит погубителей и поможет вам и всему вашему

дому, а-бы стало пороху да в колодце на площади и в саду воды.

Вспоминались в эту ночь Веронике прошлые годы родной семьи.

Предчувствия ее сбылись. «Боже, Боже! Что будет с нами? — мысленно повторяла она теперь, содрогаясь от выстрелов, гремевших в ночной темноте. — Отчего отец не послушал совета друзей, не отдал головы этого Гонты в руки палача?»

Между окопов, в высоком частоколе, окружавшем старый город, было двое ворот. У главных, со стороны села Бабанки, стояли две мортиры. Гарнизон из шестисот пехотинцев охранял насыпи, рвы и входы в город. Губернаторский замок на возвышенности старого города был окружен особым палисадом. Его охраняли шестьдесят гарнизонных инвалидов. Четыре деревянные башенки были на четырех бастионах, по углам этого палисада. С одной из башен теперь распоряжался архитектор Шафранский. Он некогда служил в войске Фридриха Второго и в Умань попал случайно, для межевания земель новопоставленным ксендзам.

Заметив в старом городе недостаток воды, Шафранский, в ожидании гайдамаков, посоветовал копать у ратуши колодец. Выкопали аршин сто, воды показалось мало. С началом осады бросились рыть второй колодец в замковом саду, и также безуспешно.

— Не станет воды, будем пить волошские вина и вишневки! Их немало здесь в погребах! — шутил бледный, томимый жаждой и зноем, Рудольф Витковский, обходя по рвам и насыпям усталых, день и ночь не знавших покоя и сна, защитников города. Наконец и он выбился из сил. Воспитанный на Деколлионе французскими гувернерами и плохо говоривший на родном польском языке, он стал обращаться то к заправлявшему пушкарями Шафранскому, то к молившимся в костелах базилианам и бернардинам.

— Продам алмазы матери и отцовскую вотчину, — говорил пан Рудзь, сменивший на старую безрукавку голубой свадебный кафтан, — дам по сто талеров тем, кто отобьет приступ и погонит прочь казацкую орду, а по тысяче золотых — за головы Гонты и Железняка.

Он снял с пальца брильянтовый перстень, подарок бабки, и отнес его к алтарю Богородицы, прося базилианских монахов молиться за его невесту. По часам лежа крестом на плитах костела, он об руку с невестой ходил и в еврейскую синагогу, дал раввину кошелек, полный дукатов, и просил молиться Егове о спасении осажденной Умани, ее обывателей и гостей.

Сам губернатор стал наподобие малого дитяти. Плохой знаток военного ремесла, он заперся с отцом Клеофасом в спальне, обвесился амулетами, на лоб повязал полинявшую алую ленту с остробрамской иконы, на руку надел ремезово гнездо, жег ладан и, слушая молитвы патера, не вставал со ступеней аналоя.

Подозреваемые из украинских холопов содержались при городской тюрьме. Пользуясь общей суетой, эти колодники разбили свои цепи, умертвили сторожей и, уйдя через частокол, передались Гонте.

Жена Младановича, его младшая сестра, дети и дворня — все потеряли головы, бродили, как тени, по замку и саду, прислушиваясь к крикам и брани осаждающих, ломая руки и забывая о пище и сне.

Бодрствовала одна старшая сестра губернатора, Ванда.

Когда в городе заметили страшную убыль воды, она сняла с себя дорогие наряды, оделась в черное, пошла в костел, отрезала свою роскошно-золотистую косу и положила ее к подножию иконы Сердце Иисуса. Надев затем конфедератку, она взяла со стены брата турецкий ятаган и явилась у мостового окопа.

— Еще Польша не сгинела! Еще она не казацкая кляча! — сказала Ванда стрелкам. — Цельтесь лучше! Добрая

пуля пробьет голову хлопа, как бы ни была крепка бунтовская кость.

Евреям также роздали оружие. Часть из них усердно стреляла через окопы, от непривычки подпаливала себе бороды и пейсы.

— Ой, Боже ж наш, Боже! — вопили в переполненной синагоге остальные евреи, прикладывая бледные, изуродованные от страха лица к священным свиткам. — Ох, вайвай! Железняк-злодей, как пришел, набросал в реку падали, а вчера и вовсе отвел воду. Ни в колодцах, ни в протоке с утра ни капли: всю вычерпали, с грязью. Остался губернаторский пруд, и тот скоро выберут.

Односум был хорунжим в передовом гайдамацком отряде Швачки. Аким Шпак состоял сбоку куренного Сеньки, прозвищем Неживой. Седоусый, опытный Неживой оценил стойкий и сдержанный нрав своего помощника; призвав его, по соединении с Гонтой у Звенигородки, он дал ему беречь батовню, то есть обоз награбленной добычи, где были и три пушки, отбитые у ляхов в Каневе, и в том числе долгоносая медная пушка, прозванная в казацком таборе «цаплей».

— Береги мне, хлопче, эту панянку, — сказал Акиму куренной, — она, что ни цапнет, все, каторжная, проклюет своим бесовым носом.

Гайдамаки в ночь с десятого июня насыпали от предместья Турка высокий холм, втащили туда «цаплю» и стали из нее палить в частокол и в городские здания калеными ядрами. Одно угодило в колокольню главного костела, другое пробило потолок в трапезной бернардинов.

Кое-где в городе вспыхнул пожар. Тушить его было нечем. Вечером ксендз Костецкий и соборный викарий устроили торжественную, вокруг костелов и площади, процессию. Народ, с плачем и воплями, следовал за крестами, обтянутыми в черный флер.

Гайдамаки с полудня одиннадцатого июня как бы впали в раздумье. Их стрелки, проникшие в ближние овраги и

огороды, перестали оттуда сыпать пулями: очевидно, ушли обратно. Ни «цапля», ни другие пушки не отзывались из окрестных хуторов. Лагерь под Грековым смолк. Не было слышно ни брани из-за частокола, ни вызовов и смеха, ни угроз.

— Верно, у проклятых схизматиков какой-нибудь назавтра праздник, — сказал, отрадно вздохнув, Шафранский.

— Они теперь моют свои поганые лица и руки, надевают чистые рубахи и твердят свои еретические молитвы! — прибавила взошедшая с братом на башню Ванда. — Не худо бы, пан губернатор, к ночи заготовить коней и бочки, сделать вылазку и набрать у злодеев за мостом воды.

— Нет, сестра, — ответил Ванде Младанович, — надо сперва получше дознаться, в чем дело; отрядим к ним, будто для переговоров, ловкого человека.

За мост, к гайдамакам, был выслан, с белым платком на палке, сам длинный, как палка, еврей-корчмарь, первый привезший в замок известие о вторжении казаков.

Губернатор и Шафранский снова навели с башни в лагерь «перспективу», то есть зрительную трубку. В вечерних лучах, бивших туда наискось из-за леса, они вскоре увидели бедного израильтянина, повешенного вверх ногами на придорожной вербе.

В то же время справа и слева за форштадтами поднялись сплошные клубы пыли; очевидно, гайдамаки, готовясь на штурм, обходили город с боков и в тыл.

Младанович вызвал из окопов главных защитников города. Наскоро устроили военный совет. Он собрался в столовой замка, где еще так недавно плясали и пили «ченчибельную» и где при общем веселом хохоте должен был «отлаяться», будто бы уличенный во лжи магистратский подписарь.

— Ваше мнение? — спросил Младанович Шафранского.

— Порох и прочие припасы на исходе, — уныло ответил архитектор, — воды... последняя лужа вычерпана и выпита.

Не дай Бог нового ночного пожара — погорит весь ваш город хуже мышей в копне.

— Так что же пан предлагает? — спросил губернатор.

Шафранский медлил ответом.

— Защищаться! — вскрикнул, схватясь за саблю, Витковский. — Кто за мной?

— До последней капли крови! — подхватили голоса офицеров. — Еще Польша живет и дух ее не погас...

— Оно точно, — ответил Шафранский, — дело не совсем плохо, хотя гнусные хлопы, немало и наших, к стыду отечества, передались врагам за эти дни... Возьмут мост и первые окопы, можно запереться в замке; граф, может быть, прослышал о нашей беде и выслал из Могилева помощь. Нет воды в колодцах — за ночь набежит.

— Нет, васпан-архитектор, и вы, мосци-паны, мои пособники, друзья и гости! — сказал Младанович. — Взойдет солнце, снова начнется дневное пекло, не хватит воды на тысячи ртов. Мое мнение, скажу прямо, — не мешкая, сдаться на милость и честь победителей...

— Хороша честь у разбойников, псов! — вскрикнул Витковский. — Я не участник решения пана... Смотрите, не раскаяться бы, да будет поздно.

Витковский оставил совет.

— Сам выеду и условлюсь с их довудцем! — решил Младанович.

— Вызовите Гонту для переговора, — сказал Шафранский, — а я нацелю пушку и, не подпустив его к пану, положу на месте.

— Нет, нет, — ответил Младанович, — без хитростей, на милость и честь...

Ему подвели коня; он велел отпереть ворота и с белым знаменем, в конвое дворян выехал за окопы. Мещане впереди несли хлеб-соль Гонте. Средний отряд атакующих остановился в поле, за форштадтом. У моста произошла встреча Младановича с Гонтой и Железняком.

— Так ты, вельможный ляше, видел, как гуляли мои молодцы под Грековым, и теперь, со всей твоей худобой, сдаешься на нашу ласку и честь? — спросил, сурово поглядывая с седла на губернатора, Железняк.

— Сдаюсь, пане полковник! — ответил губернатор побелевшими губами.

— Нет, бери выше, — по-вашему генерал! — перебил Железняк. — А сдача, так и сдача... Ты судил нас по магдебургскому закону, мы рассудим по-своему... Хлопцы, как думаете?

— Все, однако, согласны, — решили ближние атаманы и есаулы, — а горелка будет?

— Будет, — ответил, стараясь улыбнуться, Младанович, — а вы, пане Гонта, — вас граф столько жаловал, еще больше пожалует — спасите город и нас.

Гонта, отвернувшись, молча поехал прочь.

Железняк махнул рукой.

Табор, гремя саблями и пушечными лафетами, двинулся к мосту.

Младанович, оставя часть конвоя, поскакал обратно в город. Узнав, что его жена, сестры и дети молятся в костеле, он вбежал туда со словами:

— Я только что от ворот, говорил с Гонтой и Железняком, отдадимся Богу; видно, надо умирать.

Сняв с шеи ладонку с иконками, он роздал их каждому из детей:

— Это, дети, помните, все, что могу вам дать; их носил мой прадед.

Плач и стоны огласили своды костела.

Передние сотни гайдамаков подошли в это время к городским воротам. В сумерках с края площади обозначилась ярко освещенная внутри синагога.

Железняк остановил коня.

— Как? Без креста? На дороге жиды? — крикнул он польским офицерам. — Не могу к вам так войти. А нуте, братцы! Пора начинать дело!.. Шпаченко! Где твоя

«цапля»? Выдвигай сюда; пусть хоть раз клюнет иродово отродье.

Офицеры молчали в страхе. Шпак нацелил пушку, приложил фитиль. Грянул выстрел; ядро в упор ударило в переполненную народом синагогу. Евреи выскочили с воплем, неся на головах пергаментные, священные свитки пятикнижия, Сефер-Тора. Их канторы с хором пели покаянный гимн: «Господи, сущий в небесах! Прийми души мучеников! Святой завет, закройся рубищем, пеплом...»

— Еще, еще! — командовал, прислушиваясь к их пению, Железняк. — Слышите? Ревут христопродавцы... В самую середину!

— Может, пан оказал бы ласку, — решился заступиться красивый улан Ленарт, соперник Витковского, — они, бедные, молятся.

— Какому богу? Шпаченко, прибавь.

Раздались два новых выстрела. Разбитая деревянная синагога затрещала; часть ее рухнула. Здесь, под развалинами, погибли старый проповедник Бал-Даршор, купцы Макер, Брейла и многие другие.

— Так! — кричал Железняк. — Музыку теперь... Где торбан, скрипки?

Выскочил из толпы невысокого роста, сильно выпивший казак.

— А ну, Онисиме! Чтоб чертям стошнило и весело было идти! — скомандовал, закуривая трубку, Железняк.

Торбанист грянул «журавля». Скрипки подхватили. Сотни ног, весело взбивая пыль, задвигались по темной площади.

— Бегут, бегут! — сказал кто-то, указывая на развалины синагоги.

Раздались ружейные выстрелы. Казаки пристреливали уцелевших под обломками евреев.

— Что-то не видно, батько атамане! Заряды даром тратим! — произнес Односум. — Не засветить ли свечку?

— И то, хлопче, дело! — ответил Железняк. — Свети, не подсидели б ляхи; кстати и трубка погасла.

Односум выкресал огня, сорвал с ближней крыши пук соломы, зажег его, помахал им и воткнул его в ветхий навес первой лавчонки. Опустелый базар вспыхнул, осветив ближние улицы и переулки.

— А! В окнах замка забегали огоньки, — сказал куренной Швачка, — солоно стало ляхам: не повернуть ли, пане Максиме, «цапли» и туда?

— Нет, с панами справимся и без пушек, — ответил Железняк, — да и что даром разбивать такие хоромы! Может, сгодится и нам самим под жилье. Готовь, пане Гонта, на добычу свои фуры, а тебе, Шпаченко, оставаться при обозе. Миловать мы и вся прочая старшина обещали пана губернатора со слугами, а не его панское добро. Что, хлопцы, чуяли?

— Чуяли.

— Теперь за мной.

Гайдамаки построились; по знаку атаманов бросились в дома и лавки. Кое-где их встретили выстрелами.

— Э, вражьи ляхи! Так вы вот как! — произнес Железняк. — Это сдача? Иване, — обратился он к Гонте, — так мы уж стали хуже старой подошвы?

— Да, видно, что стали, — ответил Гонта.

— Хлопцы, за сабли, мушкеты! — крикнул Железняк. — Да побольше дыму...

Пожар вспыхнул в разных местах. Загорелся монастырь базилианов; загорелся соборный костел. Головни перебросило в замковый сад, где вспыхнули теплицы.

Гайдамаки остервенились. Охмелевший Железняк, в крови, бешено скакал по пылавшим улицам, добивая саблей и топча конем раненых детей и женщин. Увидав большой безводный колодец у ратуши, казаки закричали: «Вам пить хотелось?» — и стали швырять туда убитых и умирающих.

С крайней башни ранили куренного Швачку. Железняк позвал Гонту.

— Ну, что? И теперь миловать? — спросил он.

— Я не согласник, — ответил Гонта.

Гайдамаки ворвались в замок. Сто человек шляхтичей, бросивших оружие, легло под ударами сабель к ногам озлобленных казаков. Шафранский заперся на одной из башен. Туда ворвались милиционеры и искрошили его саблями.

Витковский защищался долее других. Его проткнул копьем куренной атаман Неживой. Жену, старуху мать, младшую сестру и старшую дочь губернатора привели во двор замка к Железняку. Победитель-казак сидел на выступе крыльца, в ксендзовской парчовой ризе, с буквами I. X. на боках; на голове его была пресвитерская шапка. Куря трубку, он насмешливо взглянул на приведенных и велел их пострелять при себе из мушкетов, а их тела бросить в колодец. «Собачье мясо!» — презрительно сказал он, толкнув в голову соборного униатского попа, молившего его на коленях за несчастных.

Губернатора и его сестру Ванду Неживой свел в подвал и там в присутствии Гонты и Железняка стал им жечь руки и ноги, требуя указания, где спрятаны их деньги и прочее добро.

— Изменник, предатель! — сказал при этом Гонта Младановичу. — Ты виновник этой пролитой крови. Зачем утаил графское письмо? Я его нашел в твоем столе... Что выиграл? Теперь отвечай за всех...

В ту минуту, когда гайдамаки подходили к костелу брать губернаторскую семью, украинка-няня протолкалась к Веронике, схватила за руки ее и ее меньшого брата и провела обоих в подвал костела, потом в замковый сад. Проходя впотьмах мимо отцовского дома, Вероника слышала, как отец молил другого уманского сотника, Ярему-Панька, спасти его детей.

— Пане Яремо, ратуй нас! — говорил губернатор.

— Нехай вас Бог ратует, — отвечал сотник Панько, — я вас теперь не обороню.

VII

Расплата

Надворные флигеля и конюшни охватил пожар, подбираясь к стенам замка. Победители таскали добычу в обоз. Железняк с Гонтой и с товарищем куренного Журбой, разбив ближний погреб бернардинов, угощались сантуринским, сидя на богатых коврах, на земле. Односум с братчиками рвал и жег на костре вытащенные из ратуши книги и разные документы. Полуобгоревшие клочки поземельных, брачных и других актов устилали площадь, уносились по воздуху через крыши домов.

— Pereat, pereat injuria! — кричал Аминадав, ища глазами Шпака и не находя его. — Давайте сюда все треклятые, ляшские бумаги!..

Под липами сада, сторонясь от дыма и летевших головней, кто-то пробирался с обозным погонщиком. Это был Аким Шпак. Оба они несли в мешках из замка добычу Железняка: куски шелковых и парчовых тканей, серебряные кубки и подносы, шкатулки, канделябры и одежду убитых дворян. У Шпака не выходил из головы чей-то красивый белокурый ребенок, брошенный из окна замка на пики гайдамаков.

Пешеходов в саду поджидала какая-то тень: то вперед уйдет меж деревьями, то сбоку следит. Шпак, не останавливаясь, подошел к огороду, за которым у рощи виднелись обозные костры.

— Хлопче, смилуйся! Одно слово! — произнес голос из чащи дерев.

Шпак обернулся, замедлил шаги. Не видно никого. Пропустив погонщика вперед, он пошел далее. Отблеск пожара здесь едва мерцал. Шпак вышел на поляну. В просвете дороги мелькнула женская одежда, знакомая походка, знакомые, где-то виденные черты лица.

— Сердце-хлопче, слушай! — произнес голос в тишине. — Ты не такой злодей, как другие. Я видела тебя на

улице и во дворе... Ты не убивал, не мучил; руки у тебя не в крови. Спаси неповинную душу!

— Чего тебе? Отстань!

— Мы одной веры с тобой...

— Кого спасти? Тебя?

— Нет, не меня; спаси дочку убитого здешнего пана!

— Какого?

— Губернатора Младановича.

— И видно, что баба: ей набрехали, а она верит. Губернатор жив.

— Убили злодеи, замучили доброго человека... Он сдал город на слово, а теперь лежит, заколотый, на дворе.

— Сама видела?

— Вот крест святой — сама...

Шпак молча глядел в землю, соображая, где слышал эту речь. Зарево пожара разгоралось. Его лучи начинали ярче освещать поляну, где, заслоненный вербами, стоял Аким.

— Их вера и наша разные, Бог у всех один! — продолжал голос от дерев. — Спаси, хлопче, панночку; я спрятала ее и маленького ее брата. Твоя мать за тебя помолится, твой отец скажет: добрая душа!

— Нет у меня ни отца, ни матери, — произнес Шпак, — и как я скрою твою панночку, когда кругом дозор? Поймают и убьют за то, как собаку.

— А душа твоя? А ответ Богу?

«Вот, чертова баба, ластится!» — подумал Шпак и вдруг невольно вздрогнул. Ему вспомнились годы учения, Киев, колодец в огороде, маковины, русые косы, смех и песни в вишневом саду... Он чувствовал, как краска бросилась в лицо.

«Нет, — решил он с собой, — какой же я буду запорожец, если послушаю бабу да еще спасу ляшское дитя?»

Он двинулся далее в вербы.

— Слушай... лучше меня убей! — крикнул за ним голос. — Отсеки мне руки, ноги, напейся моей крови, коли не веришь в святой крест!

Шпак оглянулся на погонщика. Тот подходил к обозу.

— Веди, показывай, где панская дочь, — сказал он грубо, — вырастет, нашего ж брата станет тиранить.

— Там такое кроткое, доброе дитя... Ой, тише ж, соколику! Тише, не подглядел бы кто!

Шпак прошел в глубину сада. Там, у кучи сушника, проводница остановилась.

— Здесь, — объявила она, указывая на кучу.

Шпак высыпал из мешка добычу, опустил в него что-то худенькое, дрожавшее от страха, взвалил ношу на плечи и опять зашагал в темноте.

— Спаси тебя Боже, — говорила ему вслед нянька панночки, — там, у леса, за тем вон крайним вашим костром, разглядишь воз, а при нем — монаха в мужичьей свитке; ему панночку и отдай... А уж я как-нибудь сама спасу ее малого брата — в теплице его спрятала...

Шпак молча дошел к вербам, перелез в огород и, не оглядываясь, в обход обоза пустился влево.

— Что несешь? — раздался хриплый окрик у дороги.

— Атаманово добро.

— Пусть он сдохнет, все мы тут атаманы. Давай, сякой-такой, на всех!

Шпак опустил на траву мешок, развязал его, шепнул панночке: «Беги, если осилят!» — и обнажил саблю. Его схватили за руки, навалились ему на плечи, на грудь. Долго он боролся с напавшими, разбросал их, встряхнулся и встал.

— Да это Шпаченко! — произнес кто-то. — Ослепли, дурни! Да и в торбе его пусто.

«Ну, спаслась панночка», — сказал себе Шпак. В конце ночи он возвратился в сад. Выброшенная добыча лежала в

целости у сушняка. В стихшем саду не было ни души. Аким подобрал кубки, парчу и дорогие одежды. Начинался бледный рассвет. С дальних улиц доносились крики буйного веселья и песни победивших, торжествовавших взятие Умани гайдамаков.

«А ведь это была она, киевская наймичка!» — твердил Шпак, возвращаясь к обозу и раздумывая, как бы ее найти. Он заснул головой на атамановой добыче. Его разбудил сильный толчок. Кто-то, ругаясь, выдернул из-под него мешок.

— Отдай, собачий сын; pecus campi! Это мое! — кричал над ним, шатаясь, пьяный, с подбитым глазом, Односум. — Сам, бабья тряпка, сидел в обозе, а сколько, добрые люди, награбил!

— Не цепляй, дурацкое рыло, отойди! — проворчал спросонья Шпак.

— А, так ты еще ругать добрых людей — quousque asinus! — продолжал, толкнув его ногою, Односум. — Хлопцы, вязать его!..

Шпак вскочил и с криком: «Давно пора с тобой покончить!» — схватился грудь с грудью с обидчиком. Сперва они угощали друг друга в бока, потом выхватили ножи. Часть табора проснулась. Их разняли, свели в ближний костел, обращенный с вечера в корчму, и там, напоив обоих мертвецки, помирили. До поздней ночи Шпак и Односум, обнявшись, спали на улице перед костелом.

На другой день, едва очнувшись, Аким бросился искать наймичку. Его смутил страшный слух: панночка, которую он вынес из замка, была снова схвачена казаками в ту же ночь под городом и отведена к Железняку.

Пойманную Веронику, с младшим братом и с теткой Вандой, продержав в каком-то подвале, вывели вечером на улицу.

— Куда нас ведут? — спросила, еле двигавшаяся от пыток, Ванда.

— Креститься в нашу веру, к святому Николе.

— О, Боже, не дай нам сраму! Дай умереть в правой, отцовской вере!

— Так ты еще лаяться? — крикнул один из проводников.

Он взмахнул прикладом: Ванда упала с рассеченной головой. Веронику он ударил в плечо, схватил за волосы и потащил, с ее братом, к Свято-Михайловской церкви. Вероника очнулась в переполненной, душной церкви, среди хоругвей и ярко освещенных икон. Ее брат Павел был на руках у какого-то казака.

— А где ж кумовья? — спросил старый священник, усиливаясь сдержать слезы при виде бледных от страха, в порванной одежде губернаторских детей.

— Крестите, крестите, кумовьями пан Гонта и пан Железняк, — отвечали со смехом провожатые.

Священник прочел вслух молитвы, окропив сирот святой водой, и их отвели в городскую тюрьму, куда принесли и полумертвую от раны Ванду. Какой-то шляхтич, одетый по-казацки, войдя в тюрьму, объявил Младановичам:

— Все ваши родные побиты; то же будет и вам.

Всех, кто был ближе к наружной двери, выводили по очереди во двор и там убивали. Их мольбы и предсмертные крики раздирали душу заключенных. Так прошла страшная ночь. Тем, кто ждал роковой очереди, казалось, что никогда не наступит день.

Утром вошло в тюрьму несколько гайдамаков.

— Пан Гонта велел вывести остальную губернаторскую родню, — сказал один из них страже.

Мысленно поручив себя и брата Богу, Вероника вышла на крыльцо. Толпа гайдамаков наполняла двор. Одни распарывали церковные одежды, другие сыпали медную и серебряную монету в пустые винные бочонки. Впереди их, верхом на конях, сидели Железняк и Гонта — первый на буланом, второй на рыжем. Оба были в богатых

шляхетских нарядах. Они собирались к паеванью, то есть к дележу шляхетской и жидовской добычи, в виде огромных стогов сваленной среди двора, а между прочим, очевидно, совещались, какой казни предать последних из губернаторской родни.

— Милостивые паны, — произнес старый украинец-хлоп, выйдя из толпы и целуя ноги гайдамаков.

— Что тебе, — спросил Железняк.

— Подаруйте нам панских детей!

— Ты кто?

— Бондарь, осадчий из Оситны.

— На что тебе эти щенята?

— А будьте ласковы! Я в прочей добыче не участник.

— Жениться, старый хрыч, хочет на панянке, — сказал кто-то.

Толпа захохотала.

— А ну их... берите обеих собак к бесу! — объявил Гонта, с нетерпением поворачиваясь от крыльца.

Железняк, насупясь, помахивал нагайкой. Он велел подвести к себе губернаторских сирот.

— Даруй, пане Максиме, прошу и я, — сказал стоявший возле него Шпак, — в прочей добыче и я не участник. То-с, пане Гонто, подаровав бондарю тих детей; разделите нам на двух...

— Одурели хлопцы! Нехай до черта берут! — решил Железняк. — Только стой! Эту рыжую кому? — прибавил он, указывая на Ванду.

— Нам, нам...

Бондарь, Шпак и еще какой-то парень вывели Веронику с ее братом в переулок, усадили на готовую конскую подводу и пустились вскачь. Скоро подвода скрылась за Грековым лесом. Дети Младановича не слышали предсмертных криков тетки, добитой палками мстящей толпы.

Сдав панночку в Оситне, Шпак поспешил в тот же день обратно в Умань. Бондарь одел беглых сирот в

мужицкое платье, дал им грабли и вывел в поле на работу.

— Бог с вами, не бойтесь! — сказал он им. — Я здешний осадчий, населил эту землю, и мы от вашего батюшки не были обижены; а ваша нянька Харитина — сестра моей невестки... Только и она — как в воду канула...

По ночам беглецов прятали в речной камыш. И никогда впоследствии Вероника, дожившая до тридцатого года нынешнего века, не могла забыть этих ночей. Восьмидесятилетняя старуха, пережившая брата Павла, впоследствии базилианского монаха, описывая внукам и правнукам страшную уманскую резню, прерывала рассказ, когда доходила до этих ночей. «Трепет всей деревни, трепет наших сердец, — говорила она, — зарево пожаров... то здесь набат, то там вести о новых жертвах и мучениях... и мертвая тишь высокого, как лес, камыша... Нет! Это выше моих сил... поговорим о другом...»

Веронику не утешило и то, что случайно, едучи вскоре мимо Могилева, она увидела Гонту под стражей в кандалах и лицом к земле...

Овладев Уманью, Железняк при громе пушек и колокольном звоне объявил себя «князем смилянским и гетманом киевской Украйны». Гонта принял титло «уманского губернатора и русского воеводы». Новому, малограмотному губернатору трудно было справиться с городом. Победившая чернь и все власти продолжали пьянствовать и пировать. Было вырезано и повешено до восемнадцати тысяч окрестных поляков и евреев. Гниение разбросанных кучами, незарытых трупов вызвало болезни. Шляхтичи спасались, одеваясь в крестьянские рваные одежды и, в виде нищих, распевая по дороге священные украинские канты. Евреи переодевались монахами, но их узнавали под капюшонами бернардинов и пиаров. «Куда, святые отцы, и откуда?» — спросил таких монахов Односум, наткнув-

шись на них с ватагой в лесу, невдали от Умани. «В Поцаев молиться Богу. «Ну, мы вам поможем скорее повидать Бога», — сказал Односум и велел всех их повесить.

Железняк оставил обгорелые и ограбленные улицы и вывел войско в лагерь, в поле за городом. Отсюда он стал управлять занятой местностью, как полководец в завоеванной стране: отряжал летучие ватаги для взятия Балты и Палеева Озера, ставил в городах комиссаров и выдавал купцам и странникам пропускные билеты, именуя свой отряд запорожским войском, посланным якобы по указу императрицы Екатерины для наказания восставших поляков. Были взяты и сожжены гайдамаками города Гранов, Тульчин, Гайсин, Басовка, Ладыжин и многие другие.

Весть о разбоях новообъявленного смилянского князя скоро дошла в Шаргород, поместье коронного гетмана, Ксаверия Браницкого. Граф Ксаверий в то время уже оставил барских конфедератов, перешел на сторону короля и угощал у себя русского генерала Кречетникова и его офицеров. Ему удалось уговорить Кречетникова выступить на усмирение самозваного смилянского князя. Русский генерал, не дождавшись высланного против конфедератов Суворова, стянул из Елисаветградской провинции в Шаргород три эскадрона гусар, каргопольский драгунский и московский карабинерный полки, а также знатную команду донских кампанейских казаков и немедленно двинулся к Умани.

Коменданты смежных русских крепостей еще в мае дали знать в Кош на Подпольной, что множество запорожцев, «побросав зимовники и рыболовные притоны в низовьях Буга и Днепра, бежали на грабительство в Польшу». Теперь кошевого известили, что вождь гайдамаков, запорожец Железняк, прельщая к бунту на помещиков темный украинский народ, разглашает, будто он действует по указу императрицы, для чего всем показы-

вает, писанный по-русски, подложный манифест, с фальшивою печатью и скрепой самого Калнышевского. Это же подтвердили и бывшие по торговым делам в Сечи уманцы Остап Поломанный и Остап Бочка.

Перепуганный кошевой, созвав раду, выслал в степь и в низовые лиманы трех опытных старшин, с полками, для безотложной ловли и привода в Сечь бродивших по границам гайдамаков. Касательно Железняка русским властям было отвечено, что хотя он и сын женатого запорожца и жил некоторое время в тимошевском курене, но что в последние годы он больше «ходил в пехоту», то есть разбойничал, в Польше и «шинковал» водкой в Очакове и у крымских границ.

Кречетников, подойдя к Умани, разбил свой лагерь рядом с гайдамацким. Произошло его свидание и знакомство с Гонтой и Железняком.

— Так и вы, пане генерал, против ляхов?

— Да, мы присланы усмирять конфедератов.

— Ну, пойдем же в Бердичев — там еще не ставили виселиц.

Кречетников обещал совместный поход.

— Я вас потчевал ренским и венгерским, — сказал он, пируя в своем лагере с гайдамаками, — теперь ваш черед; угости, Гонта, меня и мой штаб у себя вишневкой.

Новый уманский губернатор согласился. Он пригласил Кречетникова из села Бабанки, где помещался гайдамацкий табор, к себе в ближнюю дачу, Росушки.

Железняк был догадливее. Как истый сын Дикого Поля, едва увидя русского генерала, он сразу понял своим запорожским чутьем, что его смилянскому княжеству и украинскому гетманству пришел конец. Умолчав о своем подозрении перед Гонтой, он ночью разбудил своих охранителей и тайно бежал в степь к Очакову. С ним скрылись Журба, Шпак, Неживой и Односум.

— Ой, паны-братцы, наварили мы доброй вареной, да как-то она выпьется? — сказал Гонта, почесывая чуб, когда

ему сказали о бегстве Железняка. — Но уж коли гулять с москалями, то закурим так, чтоб и московскому черту стало тошно!

Гонта на славу угостил вишневкой в Росушках Кречетникова и его штаб, но еще больше угостился сам со своим старшиной. Казаки так сильно пили, что к ночи не только сам губернатор, его атаманы и есаулы, но и часовые у губернаторской ставки были мертвецки пьяны.

Кречетников с вечера получил весть, что посланные ему в помощь русские гусары и карабинеры близятся к Умани с отрядом Браницкого. Когда в лагере все уснули, он подал условный знак. Его драгуны и донцы прежде всего спугнули табун гайдамацких лошадей и прогнали его в поле, а потом мимо спящих часовых вошли с веревками в ставку Гонты, связали его, Швачку и главных их пособников, заковали всех в цепи, а добычу их забрали.

Не повезло, впрочем, и Железняку. Он с полусотней примкнувших к нему товарищей в начале июля был выслежен разъездами состоявшего на русской службе командира желтых новороссийских гусар, сербского полковника Чорбы. В стычке с Чорбой сложили головы тридцать храбрейших запорожцев, в том числе Журба. Остальных с гетманом, смилянским князем, также заковали в цепи и послали на суд не в Сечь, а в Польшу.

Гонта, Шпак, Односум, Неживой и с ними более тысячи приставших к запорожцам польских подданных, по доставлении в Киев были оттуда под сильным караулом отосланы к Могилеву на Днестре. Здесь у села Сербов, или Серебрии, стоял теперь региментарь польских войск партии украинской, граф Браницкий. С наказным или обозным региментарем, Иосифом Стемпковским, он открыл над пленными военный суд. За возмущение народа, грабеж Канева, Смелы, Богуслава и других городов и за убийство в разоренной Умани свыше восемнадцати тысяч неповинных польских и еврейских обывателей, в том числе

до трехсот помещиков, посессоров, экономов, служилых и неслужилых шляхтичей, все схваченные гайдамаки были присуждены к смертной казни.

Гонту, как главного зачинщика, Стемпковский привел в лагерь под Серебрией. Здесь в присутствии русского полковника Ширкова в течение трех дней, по приговору военного суда, с живого Гонты сперва сдирали кожу, а потом его четвертовали.

— Чем же мы хуже нашего батька, Хмельницкого? — спросил Гонта на допросе Браницкого. — Одна всего разница: нам не довелось, а тот вас доконал.

— Брешешь, пес! — ответил вельможный граф. — Ваш Богданко был Леопардус, отвагой лев; а вы — злобные шакалы, разрыватели могил.

Когда кат стал снимать первые ремни со спины Гонты, последний не вытерпел.

— Где Железняк? — крикнул он. — Чего не кажет им того указа и печати...

Помощники ката бросились к Гонте и забили ему рот землей.

Новые Нерон и Диоклетиан, Браницкий и Стемпковский отрубили головы восьмистам гайдамакам. Эти головы долго смущали народ, прибитые гвоздями к столбам в дальних деревнях. Остальных польские мстители повесили, жгли им руки в просмоленной пакле или отсекали им по руке и по ноге и так отпускали их обратно в Запорожье. Виселицы с казненными казаками и хлопами стояли от Умани, Смелы и Лисянки вплоть до Львова в Галичине. Доныне девушки окрестностей Лисянки и Умани держатся особого обычая — вплетают черные ленты, вместо алых, в уборы своих кос...

Железняк, к общему удивлению, не был выдан Браницкому. Его, как бобринецкого обывателя, следовательно, русского подданного, судили в России, в Киеве, продержали более года в тюрьме и, когда все смуты стихли, отослали на поселение за Урал.

Отец Односума, роменский поп, узнав об участи, ожидавшей его сына, бросился с мольбами к графу Браницкому и от него — к митрополиту в Киев, где его Аминадав учился и где тому, в страх и в пример бурсе и Запорожью, было решено его казнить в присутствии особо командированного польского отряда карабинеров.

Отчаяние и слезы старого попа не тронули польского магната. Его лицо побледнело и голос задрожал при виде ненавистного просителя.

— Песья хлопская кровь по-песьи и умышляет! — сказал гордый граф Ксаверий, даже не взглянув на валявшегося у его ног схизматика, украинского попа. — Тебе самому сто барбаров всыпать! Пора вам покориться! Пристаньте на едность — другие будут речи.

Киевский митрополит Арсений поступил иначе. Ему в это время донесли, что ретивый Стемпковский, мимо воли графа, окружил с солдатами Мотронинский монастырь и будто игумен последнего, Мельхиседек Яворский, с двумя монахами, несмотря на вынесенный серебряный поднос с четырьмя тысячами злотых, были живыми, перед церковью, посажены на кол. Владыко послал в Могилев к Браницкому келейника, прося графа заменить казнь молодого, увлеченного злодеями бурсака ссылкой на каторгу, через русские власти, в Сибирь.

— Тем паче, — говорил, низко кланяясь сиятельному графу келейник, сам роменский уроженец, — что из всех приговоренных к шибеннице остались без казни только двое глупых молодиков, Односум и Шпак...

— Хорошо глупство! — усмехнулся граф, оправляя припомаженные, до ушей стрелами торчавшие, усы. — Так их, собак, и по голове гладить?

— Притом же, — продолжал, еще ниже кланяясь, келейник, — и вашей милости солдатство не совсем обошлось с освященным игуменом Мельхиседеком. Идет эхо, что его там зазорно казнили...

Новообращенный к королю магнат трухнул: расправа его помощника, если слух был верен, превзошла данные ему полномочия. Притом и уехать графу давно хотелось, от скудной бивачной жизни Серебрии, в свои поместья.

— Ну, мой коханый, — сказал граф келейнику, — так и быть; вот тебе бумага в Киев, к присланным туда вашим кошевым властям. Мы здесь самолично казнили своих бунтовавших хлопов. Ваши же запорожцы переданы русскому губернатору Воейкову, в Киев. Отдаю участь ваших бурсаков решению вашей кошевой старшины. И если коренной и довбыш, по вашим свычаям и обычаям, найдут уместным ослабить наказание этому псу, я прекословить не могу. Я был лишь главным инстипатором, обвинителем; исполнители — ваша старшина...

Первого августа на горе за Киевом была назначена казнь Односума. Через два дня была очередь Шпака.

Владычный келейник примчался в Киев за два часа до казни Односума. Не выпрягая коней, он с его отцом бросился к куренному Черному. Прочтя цидулку Браницкого, Черный позвал довбыша, посоветовался с ними и, по запорожскому обычаю, уважая ходатайство польского главнокомандующего, охотно послал к палачу свой пернач, в знак избавления осужденного от казни.

Бодро и весело, ничего не зная о прощении, взошел Аминадав, или, по бурсацкой кличке, Авва Односум, на помост. Взглянув на войско и толпы народа, он вспомнил Богуслав, Звенигородку, Смелу, дымящиеся польские села, кучи добычи, реки крови и проткнутого его копьем, нарядного и красивого жениха губернаторской дочки...

— А что, братику, можно б покурить? — спросил он, обращая к палачу бледное, изнуренное тюрьмой лицо.

Палач дал ему трубку.

— Прощай, друже, — сказал Односум стоявшему в цепях у помоста Шпаку.

— Прощай, — ответил Аким.

— А помнишь бурсу? Qui talia non videt vix popides sortem, mox venit ad mortem... Кланяйся братьям серомахам, кланяйся всем!

Командир карабинеров махнул платком.

Палач взял у Односума трубку, привязал его к плахе, обнажил ему спину и взял из-за голенища нож.

— Вот точно комашки кусают, — сказал Аминадав, взглянув на кровь, побежавшую по его плечам, — так и дед мой, царство ему небесное, скончался в ляшских руках, и прадед — славный был есаул... Так и мне хотелось сподобиться.

Гонец, с перначем куренного, приехал обратно в Киев; за ним отцу Аввы на телеге привезли еще теплое, бездыханное тело сына.

Наступала очередь Шпака.

VIII

Царскосельский вист

Киевское, более польское, чем русское, тогдашнее высшее общество, было взволновано участью казненного Аввы. Толковали, что карабинерный капитан, завидев скачущего гонца, нарочно дал знак палачу и тот скорее покончил с Односумом.

— Предатель, изверг! — вопили возмущенные шляхтичи и шляхтянки, не пропускавшие, впрочем, ни одной казни запорожцев. — Он пятнает честь армии! Сам бездушный кат и людоед!

Командир карабинеров был так преследуем общим негодованием, что должен был взять отпуск и немедля выехать из Киева.

Никто не говорил и не вспоминал о Шпаке. Сирота без роду и племени, он знал участь, ждавшую пойманных гайдамаков, и ни откуда не ожидал себе спасения.

— Злодеяка, харцыз! — рычали на него тюремные сторожа. — Как вложишь голову в петлю, вспомнишь загубленных тобой.

Акиму вспоминалось иное. Он спас панночку, но где она? Жива ли сама? И если жива, то знает ли о его казни? Куда знать и заботиться панам о ничтожном запорожце!

Вечером, накануне казни, к куренному Черному пришел какой-то парень. Он положил на стол хлеб и поклонился в пояс.

— Что тебе? — спросил куренной.

— К вашей милости: позвольте прислать сватов.

— Как сватов?

— У ляхов в тюрьме сидит наш хлопец, Шпак.

— Ну, сидит.

— Так как бы его женить?

— Ты, видно, одурел? Ему завтра голову нести в петлю, а он — о свадьбе!

— Э, пане куренной! Для того-то и нужно бы его просватать. Вашей милости не без ведома и доволе известно, что когда, по нашему закону, не то что где, а даже у самой шибенницы, какая, положим, баба или девка объявит, что хочет выйти за осужденного, то кат не смеет его тронуть и отдает его той девке или бабе. А притом и сам Младанович, чтоб его на том свете перевернуло, пережени́л немало наших, осужденных к смерти, и населил ими у себя хутора.

— Ну, брат, проваливай! Не могу о том трактовать... Времена не те, и место не подхожее. Вздумал шутить у самого волка в зубах! Где у черта найти теперь такую бабу?

Парень почесал за ухом, поклонился и обернулся к двери.

— Постой, хлопче, как тебя звать? — спросил куренной, что-то вспоминая.

— Дорош Недоля.

— Так это ты, собачий сын, тогда сидел в нашей пушкарне и, когда отбили вас, шел на кошевого?

— С тобою, пане, с тобою, — проговорил вполголоса, оглядываясь, Недоля.

— Да я не о том, — вдруг смягчился куренной, — тяжкие были времена. Скажи, где пропадал до этой поры?

— На Бога работал.

— Где?

— В брацлавской тюрьме у ляхов насиделся.

— Так не увернулся-таки, поймали?

— В Виннице. Только я ушел и доехал сюда с греками.

Куренной расспросил подробнее и, глядя на здоровенные ноги, плечи и грудь Недоли, в недоумении даже посвистал — как его могли поймать? Пораздумав, он пошел с ним к довбышу, потом к другому куренному, Ногаю.

— Да где ж ты в этой окольности найдешь такую охотницу? — спросил Дороша и куренной Ногай. — Не знаешь города? Не знаешь городских щебетух? Они завтра все повалят на гору, как на торг; притом писано только об Односуме; да хоть и сам владыко о нем просил, а что вышло.

— Думай, как знаешь, — решил Черный, — мы не против дедовских обычаев; только вряд ли выгорит твое дело. Был у генерал-губернатора Воейкова?

— Был.

— Что же он? Федор Матвеевич — добрый человек...

— Хорош добрый человек! Его гусары выгнали меня в шею.

Бежавший с Акимом из бурсы, Недоля хорошо знал Киев. Он, чем свет, на другой день побывал в лавре, но не застал митрополита. Владыко с вечера выехал куда-то по епархии. Тогда Недоля пришел на базар и три раза прокри-

чал среди пробуждающейся площади: «Люди добрые! Сегодня казнят запорожца Акима Шпака... А чи нет ли между вами девки или хоть бабы-вдовы, чтоб венцом спасти молодюгу? Красивый да статный парень...»

Жиды и жидовки, ладя свои столы и лавки, мало обращали внимания на крики Дороша.

«Пропадет! Ни за лысого деда пропадет бедный хлопец, да притом еще какой!» — рассуждал Недоля, видя, что время летит и в холоде ясной, утренней августовской зари, спеша на гору, куда уже, по обычаю, валом валил народ, ехали цугом городские рыдваны и коляски и, обгоняя друг друга, гарцевали нарядные польские всадники, вчера еще так роптавшие на отмененную казнь Односума.

Говор о запорожском обычае, спасавшем осужденных на смерть, от жидовских хибарок и лавчонок с базара перешел в толпу народа, спешившего к месту казни. Толковала чернь, толковали и горожане-шляхтичи.

— Вот, пани Мадьяна, вам бы выйти за несчастного запорожца! — шутил краснощекий, затянутый в рюмочку гусар, галопируя мимо рыдвана пани Венгеровой к заграничной раззолоченной коляске красавицы княгини Любомирской.

— Слышали, панна Зося? И вы, мамзель Рошамбо? — перекликались из экипажа в экипаж другие щеголи. — Обвенчаетесь с бравым хлопцем, уедете с ним в Дикое Поле и забудете нас.

Толпа бросилась к дороге. Под горой послышались щелканье бича, скрип колес и бряцанье сабель. В круг, замыкаемый карабинерами, под конвоем тюремной стражи, взбиралась телега. На ней сидел закованный в цепи запорожец.

Шпака ссадили на землю, ввели в круг солдат и передали палачу. Тот снял с него кандалы, связал ему назад руки и поставил под виселицу.

«Поганая напоследок смерть! — подумал Шпак, окидывая смутным взглядом гору, еще тонувший в утренней мгле Киев и напиравший на войско народ. — Я полагал — плаха, потом взмах топора... скверно! И я один остался, один... Некому будет и передать в Сечу, как умирал, по настоянию ляхов-злодеев, верный казак».

— Добрые люди, слушайте! — раздался вдруг в толпе обрывавшийся, торопливый голос. — Ужели так и не найдется между вас дивчины, а не то и вдовы, чтоб спасла бедного человека?

Ответа не было. К говорившему бросились карабинеры. Палач накинул на Шпака веревку.

— Ой, пустите, пустите! — закричала, проталкиваясь из задних рядов, чуть помнившая себя от волнения и спеха, запыленная украинка-поселянка. — Где тут паны генералы? Постойте!..

Она добежала к офицеру, упала к ногам его лошади и, хватая его за стремя, сказала:

— Паниченьку мой, генеральчику! Не казни этого хлопца, отдай его за меня! Не злодей он, Богом клянусь, не злодей...

Младший карабинерный офицер, помня историю с капитаном, не знал, что делать. Врученный ему приказ, впрочем, был ясен. Он дал шпоры лошади, понукая ее к виселице. В окружающей толпе раздался ропот, посыпались укоры, брань. Настроение высшей городской публики также изменилось.

— Соглашайтесь, — кричали из экипажей офицеру, — это их древний, святой обычай.

— Великодушие — краса человека! — отозвалась вдруг княгиня Любомирская.

— Невластен, мосци-паны, и вы, сиятельные пани! — ответил, кланяясь в сторону княгини, офицер.

— Он дочку Младоновича спас! — крикнула из всех сил нянька Вероники Харитина, падая без чувств под копыта офицерского коня.

Несколько светских всадников, обнажив шпаги, бросились к виселице. Толпа оттеснила карабинеров. Дамы плакали, махали платками и хлопали в ладоши.

Осенью того же, 1768 года, перед возвращением двора в Петербург, в Царском Селе, во внутренних апартаментах государыни, по обычаю, составился вечерний вист.

Это была китайская комната.

По сторонам ломберного, с золотой отделкой, стола за картами сидели: императрица Екатерина, против нее — бывший генерал-прокурор, князь Александр Алексеевич Вяземский, справа — недавно назначенный из секунд-ротмистров гвардии, действительный камергер Потемкин, а слева — на днях приехавший из Малороссии, с бумагами от тамошнего генерал-губернатора и командира южной армии, графа Румянцева, двадцатитрехлетний, еще мало известный Петербургу, правитель его канцелярии, Александр Андреевич Безбородко.

За картами беседовали о новостях дня, о новой комедии государыни и о Малороссии.

Неуклюжий, не по летам плотный, румяный и терявшийся вблизи великой монархини, Безбородко, с украинским выговором, передавал подробности о недавнем набеге запорожцев на Польшу. Его рассказ о ловком арестовании Кречетниковым гайдамацких вождей занял всех. Когда он перешел к казням Стемпковского, государыня оставила карты и, с видимым волнением, слушала несколько медленную, на книжный склад, речь украинца.

— Прощеный киевский арестант погиб, — сказала государыня, — а что же сталось с его товарищем?

— Когда горожане прорвались к виселице, польский ассистент-офицер был вынужден его уступить.

— И что же, его обвенчали со спасительницей?

— С места казни он был передан запорожским властям, в тот же день обвенчан и под стражей отправлен в Сечу, —

ответил Безбородко. — Кошевой известил графа, что недавно этого запорожца, как женатого, поселили в зимовнике, на границе Изюмского полка.

— Сущий роман, — сказал Потемкин, — все здесь есть — случайная встреча, спасение комендантской дочери и благодарная фея в виде няни.

— Досужая басня, — брюзгливо произнес, вертя табакерку, князь Вяземский, — по всей видимости, вранье досужих языков.

— Ну, не говорите так, князь, о моих храбрых запорожцах, — возразила Екатерина, — и я бы не прочь узнать дальнейшие авантюры в судьбе героя и героини. Этот рыцарский народ имеет столько привлекательных достоинств, и все его прошлое — поучительная, полная живого интереса летопись.

— Я более скажу, ваше величество, — прибавил Потемкин, — если бы судьбе не было угодно, чтобы я имел счастье быть действительным камергером при особе моей монархини, я просил бы дозволения... отпустить меня в эти чудные южные степи, в Сечь, о которой я так много слышал и думал, и записался бы в запорожские казаки.

— Да ведь это разбойники, грубое мужичье, бунтовщики! — сказал Вяземский. — С кем, батюшка, думаете якшаться!

— Самый дорогой инструмент, — ответил, вспыхнув, дрогнувшим голосом, еще не смелый среди дворских светил, Потемкин, — всякая неверно натянутая струна может издать фальшивый звук. Все же в должном аккорде инструменты представляют гармонически целый и ласкающий ухо концерт... Все дело, смею уверить вас, сударь, в капельмейстере...

Императрица приветливо улыбнулась. Игра в карты снова началась.

«Да какой же ты поистине тонкий и забесованный дипломат! — подумал Безбородко, с завистливым внима-

нием вглядываясь в красивое и умное лицо Потемкина, о котором тогда уже начинали говорить. — Разом польстил государыне и вогнал булавку в князя, противника комиссии, созванной для написания проекта нового Уложения: депутаты, не без того, подчас хоть и фальшивят, а дело ведут дельно и умно...»

Осень, зиму и часть весны нового, 1769, года Шпак с женою прожил в дальнем зимовнике орельской паланки, в Барвенковой Стенке.

Месяца через три по его прибытии сюда из смежного Изюмского полка заехал в Барвенково какой-то важный, напудренный, в шляпе с позументом и в коричневом шелковом кафтане, пан. Говорили, что это пограничный комиссар. Он стал узнавать о запорожце, присланном из Киева, и, когда ему указали жилье Шпака, подъехал к его двору, вызвал Акима и его жену, о чем-то их расспрашивал и, уезжая, оставил Шпачихе подарок, будто бы присланный от самой царицы, — нитку кораллов, серебряный шейный крест и на кофту кусок алой тафты. Поселяне не верили, чтобы подарок был из Петербурга.

— Пан наезжал поглядеть, как мы живем, — говорили они, — те же дурни разболтались, их и отдарили.

Летом 1769 года, по объявлении Россией войны туркам, запорожские полки двинулись из Сечи к Днестру, при армии графа Румянцева, куда поспешил волонтером и Потемкин.

Шпак не выдержал. Долго ходил он, ни к чему не касаясь, думал-думал и решил уйти за товарищами.

— Что ты, Акиме, задумал? — молила его, отговаривая, жена. — Ну, чем тебе тут не житье? Посеяли пшеницы, проса, посадили бакшу... опять же овцы, пчелы, раздобудемся на волов... Жил бы да жил...

— Не можу, сердце, душа болит! Так и тянет к братчикам. Ночью звон кругом, крики, будто пальба. Побьем турок, зараз вернусь...

— Не вернешься, голубе сизый! Сердце чует...

Шпак не послушал жены, бросил ее и новорожденного сына, Савку, и тайно ушел за родным титаревским куренем.

Прошло лето, новая зима и весна. Стали возвращаться из Туретчины раненые, больные. В Спасовку 1770 года Шпачиха прослышала страшные вести. Одни говорили, что Аким заболел на Дунае моровой язвой, весь почернел и умер; рассказчики даже лично видели, как его стянули железным крюком в общую могилу и зарыли. По другим слухам, раненный в стычке под Журжей, Шпак взят турками в плен и в числе прочих невольников отослан в цепях за море, на какие-то острова.

Харитина служила то панихиды, то молебны и плакала день и ночь. Нянча Савку, она причитывала ему нежные прозвища, ласкала и целовала его и, вынося его на край Барвенковой, на огромный курган, невдали от своей хаты, стояла там неподвижно по часам, глядя в степь и думая горькие думы.

— И глаза-то отцовские, и орлиный нос, и весь-то ты, как сам он, точно вольная птица! — говорила себе Шпачиха, смигивая слезы и всматриваясь в быстроглазого и носатого непоседу мальчонку. — Но где сам он, где? Скажи ты мне, малая, глупая детина!

Так прошел год, и два, и еще несколько лет.

Турецкая война, имевшая развязкой славный Кайнарджийский мир, близилась к концу. Прогремело имя Суворова; рядом с ним по русским городам и селам упоминалось и о Потемкине. Но к этому же времени в самой России начался и разросся грозный пугачевский бунт.

Возвратясь по вызову императрицы в Петербург, Потемкин подал Екатерине мысль о посылке за Волгу с Дуная Суворова, и вскоре тот принял пойманного Михельсоном Емельяна Пугачева и повез его в железной клетке в Симбирск.

Запорожцы, как упомянуто о том в грамотах, «оказав немало услуги в тылу русской армии, у Очакова и молдавских границ», возвратились на Днепр.

Потемкин, ближе ознакомясь в армии Румянцева с храбрыми запорожскими казаками, сдержал слово, данное за вистом в Царском Селе. Он еще в 1772 году из молдавского лагеря на реке Яловшице снесся с кошевым Калнышевским и записался в войсковые товарищи кущевского куреня. В подражание входившему в моду Потемкину, в Сечу тогда же записались и другие магнаты — князь Прозоровский, графы Петр Панин, Девьер и Остерман, Кочубей, Стрекалов и сам усмиритель гайдамаков, граф Ксаверий Браницкий.

Осенью 1774 года слободские, балаклейские колёсники, едучи на ярмарку в Барвенкову Стенку, нашли вечером, у брода на Торце, бездыханного, в нищенском рубище, человека. Когда они его подняли, кое-как отходили и привезли к утру в Барвенково, весь базар сбежался смотреть на него.

То был ушедший из пятилетнего турецкого плена Аким Шпак.

Назначенный новороссийским генерал-губернатором, Потемкин не переставал любезничать с сечевыми товарищами. Но в то время как он благосклонно-витиевато продолжал переписываться с Кошем и осенью 1774 года исхлопотал ему разрешение прислать депутацию ко двору, над Запорожьем собиралась грозная, нежданная беда...

IX

Депутаты в Москве

В сентябре 1774 года запорожская рада избрала и отправила с челобитной к императрице депутатов — есаулов Сидора Белого и Логина Мощенского и нового войскового писаря, Антона Головатого.

Как нарочито «письменный» и рано приучившийся к войсковым делам, Головатый успел ознакомиться и со столичными порядками. Шесть лет назад, состоя при боку кошевого в кущевском курене, он с другими станичками ездил в Петербург за получением запорожского жалованья и там приобрел знакомство некоторых вельмож. В 1773 году он вторично ездил в Петербург, с прошением Коша о недопущении дальнейшего захвата войсковых земель поселенными на границе сербами.

В эту вторую поездку Головатый не имел особого успеха. Тогда сербы в Петербурге были в моде. Им всячески старались угождать. И хотя Головатого в столице осыпали ласками, хвалили заслуги и верность храброго Запорожского войска, тем не менее посланцы кошевого возвратились в Сечь ни с чем.

Третья депутация выехала из Коша в сильную слякоть и стужу, в начале октября 1774 года. Депутаты тронулись в путь на восьми подводах, со свитой из двадцати рядовых казаков. Кроме подарков они везли с собой списки с поземельных актов, гетманских универсалов и царских грамот. В полномочии Коша депутатам поручалось хлопотать об упразднении стеснительных сербских поселений и Новороссийской губернии, а паче всего о возврате Запорожью — «за его послуги» — всех прежних вольностей, прав и земель, «как завоеванных или занятых войском, по его черкасской обыкности, так и жалованных и признанных за ним прежними гетманами и монархами».

Депутаты, выдержав на украинской линии в Царичанке, у Орели, карантин, прибыли в декабре в Москву, чтоб от-

правиться далее. Но в это время пришла весть, что императорский двор, все присутствия и генералитет выехали из Петербурга. Запорожцы остались в Москве, куда вскоре прибыла Екатерина.

Государыня поселилась в новопостроенном на этот случай дворце, между Всесвятских и Пречистенских ворот. Запорожцы, по милости знакомого архимандрита, заняли квартиру в Новоспасском монастыре.

Головатый тотчас, прибравшись и одевшись в лучший наряд, пустился нюхать воздух. Он ожидал, что им немедленно займутся. В древней русской столице веяло, однако, иным. Москве было не до них. Там в это время судился пойманный Пугачев. Прошла неделя, другая, месяц — о запорожцах никто не думал, и они не могли не только добиться резолюции своему делу, но даже и простой передачи «братчику» Потемкину или кому иному составленных ими просительных «пунктов».

Вспоминал Головатый недавнее прошлое и недоумевал. Давно ли Потемкин переписывался с Сечью из молдавского лагеря? Записавшись в войсковой реестр, он тогда титуловал кошевого «милостивым батьком» и заверял его вельможность «в неуклонной и всегдашней своей готовности служить войску», которое он «любит по совести».

Головатому, как писарю, была известна цидулка, полгода назад пущенная Потемкиным, уже в сане генерал-губернатора, на имя Калнышевского. В ней буквально было написано следующее: «Ясновельможный, мосце-пане, кошевый, любезный мой батьку! Хоть не имею чести знать вас самолично, но, будучи однокуренец, а теперь и сосед по губернии, и ведая о стройном правимого вами Коша содержании, за долг почел, в знак всегдашней к вам любви, послать к вам карманные гзигарки (часы) и оксамиту (бархату) на платье. Ни одного случая не оставлю, где предвижу доставить желаниям вашим выгоду. Кланяйтесь кущевскому куренному атаману, товариству и всем серомахам. Будь ласков, батько, пришли мне гарного

(хорошего) татарского коня, чтоб казаковать годился». На это письмо кошевой отвечал: «Кланяюсь вельможному пану едною лошадью, на коей все минувшие кумпании служил, с седлом черкасским, усердно желая ездить по благочестивому пути, притяжащим от всех удивительное геройство».

Теперь в Москве Потемкин был тот и не тот.

Головатый и прочие депутаты ходили вокруг новороссийского генерал-губернатора так и этак, та же мягкость и ласковость и шутки в обращении, те же обещания, а подчас смотрит туча тучей.

Заехал однажды Потемкин с прогулки к запорожцам, в Новоспасский монастырь. Он давно собирался отблагодарить их, от имени государыни и своего, за привезенные дары — мороженую и вяленую рыбу, сушеные плоды, греческое масло, лимонный сок, свежую икру, а также за коней — белого, приведенного царице, и «каштановатого» — ему.

Стояла страшная стужа. Кремль глядел как вылитый из серебра. Срывался ветер, порошил снег. Подкатив в беговых саночках, в медвежьей черной шубе с головой и в рысьих котах, Потемкин увидел на крыльце серомаху — сторожа, курившего на морозе тютюнец. «Это из свиты», — подумал он, разглядывая сивую шапку и длинные усы сечевика.

— Чи дома куренный батько? — крикнул из саней Григорий Александрович.

— А вы кто будете? — спросил, не двигаясь и лениво его оглядывая, сторож.

— Ваш брат-нетяга, запорожец... а ты кто?

— Дорош Недоля.

— Дома начальство?

— Побегли до прокурора.

— Ну, кланяйся, — сказал Потемкин, — передай, что приезжал благодарить за подарки, а особенно за коней, как за цугового, так и верхового.

— Довезут, может, до сената наши бумаги, — ответил, запахиваясь, Дорош.

Шуба Потемкина заколыхалась: он разразился смехом.

— А на бандуре играешь?

— Что же, доброму человеку можно.

— Так передай же куренному, — сказал, уезжая, Григорий Александрович, — приезжал войсковой товарищ Грицько Нечоса... Так и скажи.

— Чую, — ответил Недоля, глядя вслед убегавшим саням.

В тот же день ответ запорожца стал известен императрице и всему двору. Екатерина много смеялась и, подозвав Вяземского, приказала ему принять и рассмотреть челобитную депутатов.

— Напрасно медлили, — сказала она, — их прошение приехало на такой знатной паре.

Готовясь нести челобитную, запорожцы оделись в белые суконные кунтуши с откидными рукавами, нацепили к бокам отбитые у турок сабли и ятаганы, а из-под серых шапок выпустили по гладко выбритым черепам длинные чубы. Все во дворце любовались их смуглыми, хмурыми лицами, гордостью ленивых движений и находчивыми ответами. Они торжественно, в парадной зале, подали генерал-прокурору челобитную, смело прошли по веренице раззолоченных комнат и, возвратясь в монастырь, полагали, что теперь-то выгорит их дело.

Оказалось наоборот. Потянулись скучные дни неведения и прежних тревог.

Депутаты еженедельно посылали по почте одни и те же жалобные донесения Кошу. «Подали мы прошение царскому оку, генерал-прокурору Вяземскому, тот обещал доложить царице, но не знаем, доложил или нет. Роздали присланные цидулки и генералитетам — генералитеты только заверили, что границами от сербов, волохов и всяких чужаков обижены не будем и без земель не

останемся. Вся надежда на великого пана нашего братчика Грицька». Посылали депутаты с нарочными в Кош и тайные письма. В них они иносказательно излагали свое положение. «Беда, вельможный батько! Все переменилось возле милосердной царицы, и нам к ней, видно, не дойти. У пана Грицька в комнатах, от просителей на нас, не продути, так густо, только отдымайся. Всем он верховодит; и все оттого сидят в *потесках*; *орлам* крылья урезаны; Панин владеет великою *паней* и зело недолюбливает нашего борщу; на царском *оке* мы как бельмо; а присланный сюда, от Румянцева, в кабинетные секретари, наш земляк Безбородко хоть еще и без бороды, но уже вырастил, под расшитыми фалдами, длинный лисий хвост и вертит им, собака его знает, чи на нашу гибель, чи на добро».

Десятого января 1775 года в Москве состоялась казнь Пугачева. Древняя столица успокоилась. Вслед за тем начались празднества в честь победного мира с Турцией. Когда пили тосты за героев последней войны, вспомнили и о неоконченном деле запорожцев.

Потемкин призвал депутатов. Он вышел к ним сумрачный, не в духе.

— Оставьте ваши глупые, чрезмерные домогательства, — сказал он им, покусывая ногти, — ну, куда метите? Сидите спокойно, хозяйничайте в своих зимовниках и не давайте вашим сорванцам бросать рыбные ловли и уходить на грабительство в Польшу. Ваше уманское дело вот где у нас сидит, — прибавил Потемкин, указывая на свой белый, полный, в кружевной оторочке, затылок. — Хоть бы и ваши дунайцы?.. Что скажете?

— Осмелимся доложить, — возразил, кланяясь, первый депутат, старик Сидор Белый, — вам неверно сказано о дунайцах...

— Неверно? — спросил Потемкин.

— А именно, пане! — продолжал Белый. — Какая в свете ложь! Они, бедные, по причине судьбы, остались без

лодок; а хотя б и пошли, как вам доложено, на грабеж, что они, пешие, с собой занесут?

— Знаю я ваши ухватки, — перебил Потемкин. — в Туретчине нагляделся вдоволь. Пешком пойдете, а за поясом узда, в саквах еще две, то будут, с этой сбруей, и кони, и всякая добыча на вьюках. Все знаю, все... Читал я и выборку из ваших дел.

— То-то и горе, вельможный пане, — ответил второй депутат, Логин Мощенский, — худые дела в Сечи ваши писаря в доклад вписывают широко, а добрые мелко... Ну, и рябит в глазах одними худыми.

— А отчего вы не хотели говорить о земляках с посланным к вам Чертковым?

— Да он, сказать вашей милости, так скоро ездил по межам, что мы бы на наших конях и не догнали.

— В чем ваши главные претензии? — спросил как бы смягчившийся Потемкин. — Говорите откровенно.

— Наши боятся, — ответил писарь Головатый, — чтоб не забрали под Новую Сербию остальных запорожских батьковских и дедовских земель. И чем чужаки-сербы лучше своих запорожцев? Сегодня пришли к нам от турка и цесарцев, завтра от нас пойдут к ним.

— Недаром ты, Антон, учился в киевской бурсе Цицерону, — сказал Потемкин, — и, подобно мне, думал даже поступить в попы. Ты, как слышу, женился и держишь жену в зимовнике, а все хитрый, завзятый запорожец. О ваших претензиях я думаю иное.

— В чем ваша думка? — спросил, приготовясь слушать, Головатый.

— А вот в чем... Вы все, черти, молодцы, и нельзя вас не любить, только — берегись!.. У всех вас одна мысль: ослабили мы турку и ляха, как бы теперь и того дурня, москаля, в шпоры убрать?.. Ведь, так, так?

Депутаты молча и растерянно переглянулись. Потемкин зашагал по комнате.

— Ну, братчики, москаля вам в шпоры не убрать! — сказал он, становясь перед депутатами. — Крепко брыкается, бесов кацап! И лучше его не замайте! Я внимательно разберу ваши бумаги; а вы тем временем заходите ко мне. Ну, положим, завтра можете?

— Можем.

— Так заходите, господа, на стакан пунша и на добрую беседу, да позовите и вашего бандуриста! Покажу вас кое-кому...

Еще вечером, собираясь к Потемкину, депутаты узнали неприятную новость. В то утро в Москву привезли несколько запорожцев, в том числе писаря орельской паланки Верминку. Обвиняемые в разорении и сожжении сербского хутора, у зимовника Лиховки, они были посажены под караул Преображенского полка. Потемкин встретил их укоризнами.

— Ох, дорветесь вы до того, — сказал он, — что станете нам хуже турка, и тогда я вам не защитник. И с чего вы взяли самовольничать? Да знаете ли, что вас за это ждет?

Вечерний пунш становился горше полыни. Но в передней послышался звон бандуры, которую ладил Дорош Недоля, Потемкин оставил укоры. Лоб его разгладился, глаза повеселели и стали ласковы. Он повел гостей во внутренние комнаты, где им подали десерт. Явились некоторые из придворных; вошли Стрекалов, Петр Панин и Безбородко, за ними показался важный, в огромном парике, Вяземский. Начались расспросы о запорожских обычаях, преданиях. Был позван Недоля.

— Дороше, а ну! — подмигнул ему писарь Головатый.

Недоля ударил по струнам, взмахнул откидными рукавами кунтуша и, наигрывая, пустился в такую, с выкрутами и топотом, присядку, что степенные депутаты не вытерпели и тоже, глядя на него, постукивали сапогами.

— Молодцы, друзья-казаки! — сказал Потемкин, когда плясун кончил. — Только слушайте еще раз — живите

дружно с соседями, особенно с сербами... Помните, они наши сродники и пришли к нам из любви.

— Все богатого дурня любят, — проговорил, будто про себя, отиравший бритую лысину, Недоля.

— А! Это ты, что на дареных конях думал в сенат скорее доехать? — произнес с улыбкой, узнав его, Потемкин. — Так не любите, господа, сербов?

— Где их, пане, любить, — ответил куренной Мощенский, — у нас и песни есть о них.

— Ну-ка, спой.

Недоля заиграл опять бандуру. Головатый делал ему знаки.

— Да не бойся, пой, — поддержал Безбородко.

Недоля взял опять веселую и запел:

Чом сербина не любить?
Чи что ж не хороший?
— Очи сини, як у жабы,
Сам на черта схожий...

— А! Какова обрисовка? — сказал по-французски Вяземский Потемкину, который особенно проводил мысль о заселении южных степей турецкими и австрийскими выходцами.

— Они ссорятся, — ответил на том же языке Потемкин, — следовательно, нам безопасны. Ваше же любимое правило: divide et impera...

Депутаты пожелали взглянуть на кабинет хозяина. Здесь они остановились перед портретом императрицы.

— Мамо! Ненька ж ты наша! — произнес Сидор Белый, вглядываясь в портрет. — Когда ж ты нас пустишь пред собственные ясные очи?

— А это жалованные мне государыней чернильница и перо, — сказал Потемкин, как бы не расслышав слов Белого.

— И этим пером она подписывала указы?

— Да...

Мощенский вытер о кунтуш руку, бережно взял перо, молча его поцеловал и передал для той же цели товарищам.

Стрекалов и Панин, перешептываясь на софе, смотрели на них с усмешкой, Вяземский — с презрением.

Депутаты при выходе из кабинета обратили внимание на портреты некоторых вельмож.

— Великие, великие господа! — сказал Белый, качая головой. — И где такие родятся?

— А как думаешь, где? — спросил из угла комнаты Вяземский.

Белый смешался.

— В Петербурге да в Москве, — ответил, выручая товарища, Головатый.

— А где умирают? — спросил Панин.

Депутаты, переглядываясь, не находили ответа.

— В Сибири, — ответил стоявший у порога Недоля.

— Et voilà, messieurs, les zaporogues, vos fidèles amis et camarades! — сказал генерал-прокурор Вяземский, уезжая с вечера Потемкина. — Оно любопытно, слова нет! Только, батюшка, Григорий Александрович, я вам не раз говорил — не доведут вас до добра эти ваши, с виду простые, украинские друзья.

X

Погром Сечи

На Недолю напустились товарищи.

— И как можно было так ответить великому пану? — говорил ему писарь Головатый.

— Да что ж я сказал? — защищался Дорош. — Они спросили, я и ответил, по правде.

— Оно так, — рассуждали депутаты, — только, вишь, как оно, черт бы его побрал, вышло.

Недолю отправили с письмами в Кош.

«Новая беда, вельможный батько! — писал Головатый Калнышевскому. — Был нам на вечере у Потемкина, за писа-

ря Верминку, хороший пунш, а за напоминание наутро о наших пунктах — такой пир, что доныне в голове непросыпный хмель. Мы, неотпадшим духом, просили его милость кончить с нами хоть до поста. А он ответил: «Не кучьте! Разве до вас одних дело!» Мы выставляли резонты, что даром проживаемся, не уехать ли вспять? А он как крикнет: «Пошлется грамота в Сечь, чтобы на ответ прибыл сам кошевой!» И про вашу вельможность врагами донесено министерии, будто вы обзаводитесь такими модными покоями, каких никогда не бывало на Сечи, и будто в недавнее время вы продали в Крым четырнадцать тысяч овец, по два битых рубля. На наши грамоты от турецких султанов, гетманов и прежних царей никто и не смотрит. И теперь мы ходим от министра к министру, как угорелые в бане; все отговариваются: дело-де не наше — и шлют к другим. И, как видим, все наши нужды на воле Божьей. А посланец, орельской паланки казак Недоля, объяснит вам как о вечере, так и о прочем».

Это было последнее письмо депутатов из Москвы.

Конец весны и лето 1775 года императрица провела близ Москвы, в загородном коломенском дворце.

Был серенький, с мелким дождем, майский день. Екатерине нездоровилось. Вечерний вист, в ее отсутствие, собрался в помещении Потемкина.

И опять, как семь лет назад в Царском Селе, за ломберным столом сидели те же лица: князь Вяземский, Безбородко и сам Потемкин; четвертым партнером, вместо государыни, был недавний покоритель Пугачева, граф Петр Панин.

Потемкину в этот вечер особенно не везло. Он то и дело проигрывал.

— Ну-с, Григорий Александрович, как ваши друзья запорожцы? — спросил Панин, один в это время позволявший себе еще некоторые вольности с хозяином. — Вы, простите, вечно ищете розы в морозы. Скоро ли ваши буяны справят новую уманскую резню?

— Запорожские буяны, граф, мне не друзья, — с досадой, тасуя карты, отменно, впрочем, вежливо, ответил Потемкин. — Вы, без сомнения, шутить изволите. Но если зашла речь о запорожцах, то скажу прямо, действительно настала пора принять меры...

— Какие? — спросил Панин.

Зная, что Потемкин долго в тот день беседовал с императрицей, все обратили на него глаза.

— Надо постараться, и я приму меры, — сказал, заторопившись и вспыхнув, Потемкин, — чтоб на Днепре, чтоб в порученном мне новом крае и не пахло буйством прошлых времен.

Партнеры некоторое время молчали.

— Да-с, — проговорил Панин, — надо сознаться, долго сносили и терпели этот постыдный, дикий, противогосударственный союз. Запорожцы в наш век — те же разбойники, шотландские кланы. Они бесполезны, не нужны: их время прошло.

— Мало того, — произнес Вяземский, — это противолюдское сонмище безмерно вредно. Кто они? Дерзкие наглые добычники, отвергатели собственности, власти, даже семьи. В слепом упоении воли, они притом дерзают ставить препоны намерениям Творца в размножении не токмо добрых нравов, но и самого человечества...

— Договаривайте, князь, — прибавил с гордой усмешкой Панин, — эти забытые в нашем отечестве грабители и убийцы, в невежестве и дикости страстей, даже не чувствуют позора своих деяний.

— Я всегда говорил, — продолжал Вяземский, — это опаснейшие сектанты, те же раскольничьи изуверы и ничуть не лучше масонов; ежедневно служат обедни, а спаивают своих попов и тут же их оскорбляют.

«Как изменились времена! — подумал кабинетный секретарь Безбородко, вспоминая Царское Село. — Тогда один нападал на них, теперь все...»

— Но эти, по-вашему, князь, добычники и чуть не масоны, — решился возразить Безбородко, — эти разбойники, — не говоря о прошлом — так еще недавно помогали нашей армии... Заслуги Рубана в низовьях Днестра, храброго Кулика...

Потемкин внимательно взглянул на Безбородко.

— Я осмелюсь еще прибавить, — продолжал кабинетный секретарь, — отчего оригинальным, древним учреждениям не предоставить развития в любопытной, по местности, силе и красоте?..

— О, мой хохлик, — с добродушной улыбкой сказал Панин, потрепав Безбородко по плечу, — вам простительно это говорить — судят ваших земляков; нам, сударь, этого не простят... Долг гражданина, оберегателя чистых нравов — впереди всего, — заключил он, — а запорожцы — да что и говорить? — быв под турками и под Польшей, делали одно: вечно бунтовали против властей... И все мелкие кляузы, дрязги, поземельные споры...

— Ну, батюшка-граф, извините меня! — возразил Потемкин. — Упорная защита своего в каждом понятна: а вы, чай, и самые походы на турецких палачей вмените им в государственные проступки?

Сказав это, Григорий Александрович стасовал колоду, хотел сдавать и остановился.

— Много здесь трактовано, — сказал он, — дельных для блага народа и монархини мыслей; но я не слышал одной и самой главной...

Победитель Пугачева, Панин, с боярской сановитостью, вопросительно и несколько насмешливо посмотрел на новое, восходившее светило двора.

— На Волге, между донскими и яицкими казаками, — продолжал, оживляясь, Потемкин, — к общему горю, были Разин и Пугачев... Я, батюшка-граф, аттестуя вполне ваши отменные в искоренении последнего бунта заслуги, отнюдь не предоставлю нашим преемникам подобных лавров на Днепре... Я, как всем ведомо, был расположен к запорожцам, но не к их буйству... Отныне же, государи

6*

мои, — ручаюсь в том — никому на Днепре не пригрезится ни злодей Разин, ни Емелька Пугачев... Да-с, ручаюсь в том...

Четвертого июня 1775 года, на троицкую неделю, русский корпус венгерского выходца, генерал-поручика серба Петра Текели, с валашскими и венгерскими полками другого серба, генерал-майора Федора Чорбы, двинулся к Днепровским порогам. В этом корпусе было пятьдесят полков конницы — пикинеров, гусар и донцов — и десять тысяч пехоты. Войско разделилось на отряды и без огласки, занимая по пути главные села, с четырех сторон подошло к Сечи.

Празднуя зеленые святки, запорожцы увидели нежданных гостей, когда они уже стали на возвышенностях вокруг Коша.

— Что, дети, будем делать? — спросил кошевой Калнышевский, разглядев из окна передовые пикеты армии. — То, верно, царское войско пришло, чтоб звать нас опять на турок?

— Нет, батько, — ответили вбежавшие с поля казаки, — русские не зовут нас на турок! Их пушки нацелены горлами против Коша...

— Что ж мы, паны-атаманы, и вы, братья-молодцы, станем делать? — спросил Калнышевский. — Ужли так и отдадим нашу матерь-Сечь?

— Ни, тому не быть, пока свет солнца! — крикнули запорожцы. — Кто в Бога верует, за сабли! Чи можно ж так, за спасибо отдать все славное Запорожье? Бей в набат, собирай войско... Передавим москалей, как мух...

— Э, братцы, — ответил, почесывая седой чуб, Калнышевский, — те мухи — ох! — крылатые и больно кусаются. Надо прежде обо всем, как след, разведать.

Горбоносый, худой и длинный серб Петр Абрамович Текели был опытный вояка. Офицер австрийской службы, он перешел в русскую армию, где получил гусарский полк. С командиром донского отряда, земляком Федором Чорбой, он

отличился при усмирении Пугачева и теперь, пятидесяти пяти лет, был генерал-поручиком и кавалером Георгия и Анны первой степени.

Подойдя ночью, Текели разбил свою ставку на холме, в двух верстах от Сечи. Едва рассвело, он отрядил полковника Мисюрева звать к себе кошевое начальство. В то же время орловский пехотный полк Языкова и эскадрон пикинеров барона Розена прошли предместьем Гассан-паши и без выстрела заняли Новосеченский ретраншемент. «Часовые были, — как потом доносил Текели, — заняты в упражнении сна».

Кошевой, завидя, что артиллерия и суда в гавани отрезаны и что везде на улицах появились «пристойные от гостей караулы», взял с собой судью Головатого и писаря Глобу и пошел с хлебом-солью в поле.

— Это уж не дурница, — сказал он на прощание казакам, — то гости такие, что, подойдя к ним, вряд ли и назад вернешься... Быть тому так... Боже, поможи! Что будет, то будет...

Два Петра встретились в лагере на холме — серб Петр Абрамович Текели и запорожец Петр Иванович Калнышевский.

Войдя в генеральскую ставку, кошевой вспомнил о третьем Петре, Великом. «Был бы ты жив, — подумал он, — не случилось бы того, что вижу».

— Ну, братушка, здравствуй! — сказал Текели. — Как живут твои запорожники?

— Ничего, пане, живем себе помалу.

— А что, господа? — произнес с усмешкой серб. — Это вам за Хорвата, Шевича и Штерича. Хорош гостинец?

Произнеся это, он указал из ставки на раскинутые по холмам пушки и полки.

— То было, пане, давно, — ответил, кланяясь, Калнышевский, — и охота вам про то вспоминать? Наши казаки поднимали оружие токмо против незаконно влазящих в их землю и худобу пришельцев. Скажите на милость: когда б мы пришли в вашу сербскую палестину и стали вас гнать

оттуда, как с куросадни кур, ужли бы вы не раскудахтались?.. А теперь, как завгодно нашей матери-царице, мы и все под ее властной рукой.

— То-то, запорожники, бес вас поймет! — произнес Текели. — Идите обратно; разберу сам ваши дела.

Пока запорожское начальство было в лагере, отряд русской пехоты спокойно занял пороховой и денежный погреба Сечи, войсковую канцелярию и острог. Пушки, порох и кошевой архив были немедленно вывезены из крепости в поле. Запорожцы бродили по базару и предместью, собираясь в кучи и толкуя, что им делать. Начальство возвратилось. Войску объявили указ императрицы и предложили сложить оружие.

Сечь зашумела.

— Измена, подвох! — закричали в волнении казаки. — Нас предало начальство, поставил под пушки Калныш.

— Нет, братцы-молодцы, — ответили кошевой и куренные атаманы постарше, — не продавали мы вас, то сами увидите, а лучше покоримся, без пролития братской крови. Русские окружили Сечь, а прежде они заняли все наши слободы, паланки и хутора. Не сдадимся — пропадут наши пожитки, а у кого есть жены и дети — сербы все предадут огню и мечу.

Кошевого и атаманов не послушались. Ропот возрастал более и более.

— За сабли, хлопцы, за мушкеты! — крикнула толпа, направляясь к куреням.

— Убойтесь Бога, — произнес, выйдя на площадь, соборный архимандрит Сокальский, — вы христиане и поднимаете руку на христиан... Вот вам крест — все погибнете, если не сдадитесь... Лучше просите милости великой монархини...

Женатые запорожцы одумались первые.

— Ну, пан отче, — сказали казаки, — быть тому так! Незачем неповинным класть из-за нас головы.

Войско послушало старшину и выдало оружие.

— Успокоились? — спросил Текели посланных от Калнышевского. — Ну, и дело. А теперь ведите нас в гости; хочу посмотреть на ваше житье.

Текели и Чорба со штабом обошли курени, крепость, гавань и отобедали из деревянных мисок, деревянными ложками в жилище кошевого, кущевском курене.

— Вкусно едите, хоть и по простоте, — сказал долговязый серб-генерал, обращаясь к Калнышевскому.

— Хоть с корыта, да до сыта, а вы, пане, хоть и с блюда, да до худа! — ответил ему куренной атаман Строц.

На утро Текели опять потребовал в лагерь кошевого, писаря и судью. Судья не явился по болезни, Калнышевскому и Глобе Текели приказал готовиться, и в тот же день оба они, вопреки заступничеству более мягкого Чорба, были отправлены под конвоем в Петербург. Чорба, как говорили, имел при этом такую перепалку с товарищем, что они хватались за сабли и чуть не дошли до кровавой расправы.

Впоследствии стало известно, что Калнышевский изъявил желание постричься в иноки и был препровожден в Соловецкий, а Глоба — в Белозерский тобольский монастырь.

Текели стал твердой ногой в атакованной Сечи и начал вводить новые порядки. Эти меры сильно не понравились запорожцам. Особенно им претили паспорта. Без билета никуда их больше не пускали.

Спустя неделю-другую к генералу сошлось с полсотни человек.

— Что вам? — спросил Текели.

— Пустите, добродию, на заработки.

— Куда?

— В Тилигул.

— А что это за Тилигул?

— Рыбные тони на море.

— Зачем так далеко?

— Обносились, пане, в недоле: ни сорочки, ни чобот, ни штанов; надо подушное, да и панам уделить хоть мало...

— Идите, — ответил Текели, подумав.

— Только вот что, пане, эти пачпорты... мы их сроду не видели и не умеем читать... Дайте один билет на всех.

— Сколько вас?

— Пятьдесят человек.

— Ну, согласен, берите.

Получив пропуск, запорожцы сладили в камышах челны и баркасы, собрались ночью в числе тысячи человек и, нагрузив лодки, до зари зашумели веслами в Тилигул.

Спустя день-другой, явилась новая ватага серомах, получила такой же билет на полсотню, и с ним уплыла вторая тысяча. За этими — третья, четвертая и остальные.

Офицеры, державшие караулы по окрестным холмам, вскоре заметили странную пустоту в Коше. Послали проведать и узнали, что там остались только слепые, хромые и старики.

Донесли начальству.

— Куда ж делись прочие? Где ваше войско, старшина? — закричал Текели, призвав к себе седого, сгорбленного деда.

— Как, пане, где? — ответил дед. — Оружие и прочее от нас отобрали, не стало и войска. Одни, кто женат, разбрелись по зимовникам; остальные, сироты, ушли, видно, до турка...

Текели рванул себя с досады за усы и разразился сербскими проклятиями.

Из тринадцати тысяч запорожцев на Дунай, к туркам, перешло двенадцать тысяч человек. Из Петербурга явился фельдъегерь. Командование завоеванной Сечью было, вместо Текели, передано князю Прозоровскому.

Мысль вывести запорожцев и расселить в других местах России, о чем английский резидент писал в то время из Петербурга в Лондон министру Суффольку, не удалась. Запорожцы выселились сами.

XI

Барвенкова Стенка

Между тем Шпак не думал спастись из турецкого плена. Ему помог случай. Турецкая кочерма, на которой он состоял за матроса, была потоплена греческим корсаром. В числе других невольников, взятых с кочермы, он некоторое время плавал с греками. У Сулинского гирла он кинулся вплавь в камыши, перебрался на левый берег Дуная и несколько недель был за работника у некрасовцев. Несмотря на их увещания остаться в благодатных палестинах «салтана-царя», он бросил некрасовцев и тайно ушел обратно на Днепр.

Подпольную Шпак на этот раз обошел. «Не та стала степь! — сказал он себе, приглядываясь кругом. — Не узнали бы ее отцы и деды. Сколько напахано земли! Все идут в гречкосеи... Пойду и я в зимовник; если в эти годы померла жена, может, в живых остался сын. Довольно бурлаковать! Поклонюсь земле-матери, чтоб уродила хлеба и мне».

В степях была тишина. Дикое Поле не оглашалось более громкими криками: «За веру, братцы, за веру!» Там, где Швачка, Лусконог и буйный, беспощадный Шелест носились на конях, собирая братчиков Христа славить в Турции и менять в Польше кожухи на шелковые жупаны, — там мирно зрели золотые нивы и ходили в ярме круторогие волы. Не видно было у рек и оврагов воинских станов с ночными окликами часовых: «Славен город Полтава! Славен город Ромны!» Мелькали копья пикинеров, желтые и черные гусары, треуголки и шпаги уездных комиссаров...

Шпак вспомнил, идучи на родину, недавнее прошлое. Уманская резня встала перед ним, как наяву. Поляки обливали горячей смолой украинских церковников, сыпали им за голенища раскаленные уголья, вбивали им в темя гвозди, допытываясь мирской казны. Украинцы разграбили уманский польский собор, и раненый ксендз Костецкий, подбирая с земли разбросанные святые дары, был добит палками и брошен в канаву. Шпак вспоминал Гонту и Железняка, когда они топтали в улицах конями связанных еврейских детей. Красавица еврейка Брейла не вынесла поругания и сама бросила в реку свое дитя. Жиды-купцы принесли Гонте богатый выкуп; казаки взяли деньги и выбросили жидов из окон. Ученый старый еврей Бал-Аршол спрятался в погребе с дочкой; дочь взяли, а отцу на пороге погреба отрубили голову. Вспоминал Шпак последние часы уманского погрома, как победители-казаки, снимая лохмотья и рваные лапти, надевали желтые и красные, со шпорами, сафьянные сапоги и, сидя в шелковых мантиях на алтаре, пили из католических священных сосудов водку и наливки. В лагере стоял гул от веселых песен, плясок и карточной игры.

Запустели теперь реки Тясмин и Турия. Слепой кобзарь волох, сопровождавший ватаги Железняка, был Браницким сожжен в Серебрии. «Не будет более старая собака, — сказал граф, — воспевать изменника Гонту и его пособников». Гонта перед казнью ссылался на то, что он нобилитованный шляхтич, «дворянин». «Ты аки неблагодарный пес, — ответил ему граф, — кусал руку благодетеля, своего господина» — и велел, надев на бывшего хлопа верючий лист, благословение Мельхиседека, снять с его головы кожу, а потом отрубить ему руки и ноги. Гонта, по народному сказанию, обернул окровавленную голову, страшно взглянул с плахи на польского графа обезображенными, угасающими глазами, и грозно раздались последние слова уманского мстителя-хлопа: «Отзовутся на тебе, пане-графе, и на твоей Польше все наши муки, вся пролитая вами, злодеями-панами, наша кровь!»

Побираясь милостыней и прячась от комиссаров и воинских команд, Шпак добрел до реки Торца, очутился в Барвенковой Стенке.

Жена Акима была жива. Савке пошел пятый год.

Харитина чуть не умерла от радости. Шпаки оправили хату, вспахали брошенную полосу, посеяли и зажили так, что вся Барвенкова на них радовалась.

Прошумело руйнование — разгром Сечи. Оно отозвалось на Украйне, в Польше и Литве. С Днепра по России шли вести об отобрании в Коше оружия, боевых припасов и всего войскового добра. Старшинское имущество, их хутора, скот и весь скарб были описаны и проданы с торга на казну. Общественные стада пожалованы поселенным в степях валахам, грекам и арнаутам. Церковная утварь — облачения, хоругви и книги — отосланы в новопостроенный Николаев. Крепости обращены в села, паланки в уезды и в них назначены военные командиры из сербов и донских старшин. Вместо Серка, Калныша, Швачек, Бочек, Зозуль и Неживых явились бесконечные Ивановы и Сидоровы, а с ними земляки Хорвата и Шевича — Депрерадовичи, Милорадовичи, Пестичи, Вукотичи и Никорицы.

Преемник Текели, князь Прозоровский, получил в дар округ в сто тысяч десятин пустопорожней земли в Диком Поле, с островами и плавнями на Днепре и с селом Половицей, нынешним Екатеринославом; генерал-прокурор Вяземский — столько же, и в том числе и обе знаменитые Сечи, на реках Хортице и Подпольной у Днепра.

Тайный поголовный уход в Турцию почти всех строевых запорожцев сильно взволновал Шпака. Заслышав, вслед за прибытием Текели, что казаки в скрытности, в плавнях и камышах, готовят лодки и баркасы для побега, он оседлал коня и тайно от жены поехал на реку Орел, где на дьячковском хуторе проживал, также женившийся тою весною, Недоля.

— А что, Дороше, скучно тебе?

— Скучно.

— И Москва не понравилась?

— Куда! Там народ все расчетливый и норовит надуть. Редко где и горелкой попотчуют.

— Так не закивать ли и нам пятками, за товарищами, под турка?

— А и то правда.

Запорожцы стали совещаться, для чего даже вышли из хаты и отправились в хлев. Но их речи все-таки подслушала молодайка Недоли. Поднялись бабьи попреки, слезы, крики. Дело сразу расстроилось. Шпак возвратился в Барвенково.

— Оно точно, — рассуждал Аким, — затеяно неладно, и было бы совестно перед хозяйкой, что без нее решал. Надо выждать слуха, как живется нашим у турка... Ох, славные места за Дунаем, и не все ж у турок цепи да бичи...

Лето 1776 года было на исходе. У Шпака на диво выколосилась красная пшеница-гирка, а овес и просо выросли по плечи. В саду, выхоленном Харитиной, уродилось гибель яблок, дуль и слив; а за курганом, на бакше, поспело столько арбузов и дынь, что Аким поставил в поле шалаш и с винтовкою по ночам стерег его от прохожего народа.

— Продам бакшу на ярмарке, — размышлял Шпак, — справлю жинке и сыну на зиму по новой кожушине.

Но над Шпаками стряслась беда.

Однажды перед вечером мимо Акимовой бакши ехал обоз важного пана, назначенного командиром на Орел. Конвойные бросились с дороги на арбузы. Шпак пригрозил палкой, а далее, когда воры не послушались, выстрелил холостым зарядом из ружья. Те — на телеги и ускакали.

В тот же вечер к Шпакам в гости и на помощь по уборке бакши обещал приехать с женой, шурьями и соседями Недоля.

— Что это, Акиме, ты там палил из винтовки? — спросил его приятель. — По дрохвам чи по гусям?

— То такие, братику, дрохвы, — ответил Шпак, — что советую всем вам не класть ружей далеко, коли их взяли с собой.

Хозяева и гости поужинали, потолковали и, загасив огонь, легли спать: Аким с семьей на сеновале, гости в хате.

Двор Шпака стоял на отшибе, вдали от поселка. Сложенный из дикого камня забор, примыкая с одной стороны к полю, с другой — к обрыву над Торцом, окружал небольшой, покатый двор, сад и огород. От реки сад отделялся вербами. Ворота, по тогдашнему смутному времени, были постоянно на запоре. Ночь стояла темная, ветреная. Было не далеко до рассвета. Срывался дождь.

— Отворяй, собака! — раздалось впотьмах.

Шпак вскочил, перекрестился, разбудил жену; оба они вышли из сарая. В темноте кто-то стучал в ворота.

— Не потчевал даром кавунами — давай теперь за гроши! — продолжал тот же голос.

За воротами фыркали лошади, переговаривалось несколько человек.

— Братцы, вставайте! — сказал Шпак, вбегая в хату к гостям. — Недобрые люди ломятся в двор. Берите мушкеты и что у кого есть; только помалу, чтоб сразу не расстрелять зарядов и нас не накрыли бы, как малых утят.

Запорожцам такое нападение было не в диковинку. Они мигом попрятали жен и детей в погреб и в пустую камору, заложили окна хаты подушками, ворота и двери подперли бревнами и стали ждать.

— Не отпираешь, чертов сын? Не прогневайся! — крикнул кто-то, перелезая через забор.

Шпак спустил курок. В отблеске выстрела было видно, как здоровенная, с дубиной, фигура, взмахнув руками, повалилась обратно за забор.

— Так вот ты как? — отозвалось несколько голосов: — Будешь теперь помнить! Живого не выпустим. Есть жинка — давай и жинку; есть дитя — и его заколем!..

Нападающие смолкли, будто удалились. По вскоре захрустели сучья у реки. Часть грабителей спустилась к огороду, обходя двор Акима в тыл.

— Это как мы в Умани! — невольно вспомнил Шпак.

— Гляди, гляди! — шептал Недоля.

Посыпались искры. Кто-то у верб махал пучком соломы, очевидно собираясь поджечь ближнюю овечью закуту.

— А-ну! — проговорил Шпак.

Запорожцы разом выпалили из трех ружей. От ворот и снизу от реки раздались ответные выстрелы.

— Беда, братцы, конвойные гусары! — сказал Шпак, разглядев нападающих. — Теперь пуще берегите заряды! То сербы пана Никорицы...

— А что, гусятники, хлеборобы? — кричали нападающие. — Выходи, кто смеет! Выпустим и намотаем на шею кишки...

Раздались новые выстрелы. Пуля пробила подушку Харитины, за которой у окна стоял, заряжая, сосед Недоли, Лопатка. Он упал с простреленной рукой. За ним в сарае была ранена в голову чья-то жена. Даже в погребе шальная пуля положила насмерть чье-то трехлетнее, кудрявое и пузатое дитя. Выстрелы пронизывали окна, крышу и глиняные стены. Загорелась овечья клеть, за нею стог сена.

— Свинцу, голубе! Хоть пуговок! — крикнул Недоля, вбегая в сени, из которых ловко отстреливался Шпак. — Убит Кушка. Самойло Нещадим хрипит под лавкою.

— Ни свинцу, ни пороху! — ответил Шпак. — Вон сабля... Под печкой был топор...

«Кто ожидал! — думал тем временем Аким. — Разве мы о бок с ляхами? И через реку Звенигородка и Канев, а не Изюмский уезд»....

Сквозь порывы ветра от села донесся звон колокола. Барвенковцы не слышали выстрелов. Но кто-то, проснувшись, увидел вдали, над двором Шпака, зарево, добежал до колокольни, схватился за веревку и ударил в набат.

Нападающие, заслышав погоню, дали последний залп по хате Акима, подобрали своих раненых и скрылись.

На барвенковском кладбище схоронили двух запорожцев, их бабу и дитя.

Шпак и Недоля, потолковав с женами, решили оставить Торец и Орел; уездному начальству они объявили, что, по бывшей с ними «помеже» и убыткам от «незнаемых людей», они идут плотничать в Николаев. Продав свою худобу, приятели взяли по горсти родной степной земли, зашили ее в ладонки и пошли Диким Полем, знакомым сиротским путем, к Черному морю.

Был конец октября. Погода стояла дивная, теплая, почти весенняя.

Дорош Недоля шел один. Его жена, дьячковская дочь, отказалась следовать за ним. «Будет тебе хорошо, — сказала она, — тогда зови и меня». Шпак шел с женою и сыном. Сам он нес торбу с одежей и хлебом, косу на плече и топор за поясом, жена вела за руку Савку. Босой, резвый и носатый мальчик то и дело гонялся за степными птицами, которые, чуя близкую зиму, шумными крикливыми стаями собирались в отлет.

— Так за Дунай, к туркам? — спросил Шпак товарища, когда они, миновав всякие кордоны, пикеты и дозоры, добрались к Черному морю и в Кинбурне добыли себе челн. — Не я тебе, братику, говорил?

Недоля только кивнул головой.

Они сели к веслам, сняли шапки, перекрестились и оглянулись на родные синеющие степи.

Востроносый, ходкий челн запрыгал по пенистым морским гребешкам...

Прошло сто лет.

Дикое Поле запорожцев населилось новыми деревнями, местечками, городами. Последняя Запорожская Сечь, переменив несколько владельцев, в недавнее время была в собственности петербургского банкира Штиглица.

Степи пересеклись железными дорогами — азовскою, одесскою и севастопольскою. Украинские бандуристы и кобзари, еще не так давно славившие запорожцев, вымерли. На Днепре никто более в народе не помнит ни Калнышевского, ни Головатого, ни их остальных товарищей.

Последний кошевой, Калнышевский, прожил в Соловецком монастыре около тридцати лет. Освобожденный при воцарении императора Павла, он не пожелал оставить обители и в 1803 году, в царствование Александра I, умер иеромонахом. Он не расставался с часами, подарком Потемкина, и, указывая на них, говорил: «Были и мы когда-то в силе, были людьми».

«Невысок ростом, седастый волос обсекся» — так описывали в старые годы бывшего кошевого посетители Соловков. Девяностолетний старик Калнышевский два раза в год, на Рождество и на Пасху, допускался в общую монастырскую трапезу. В долгополом синем кафтане, с мелкими пуговками, до пят, он входил с костылем и не садился.

— Кто нынче царствует? — спрашивал он монахов. — Хорошо ли живут люди и какие льготы на свете?

— Иди, старец, не смущай братий, — говорили ему начальники иноков, — ты древен стал, что тебе? Землей пахнешь!

В 1828 году император Николай воевал с Турцией. Русские войска подошли к Дунаю. Запорожцы, носившие у турок название буджакских казаков, вспомнили родину, из которой бежали пятьдесят лет назад. Весь их задунайский кош, на сорока двух огромных лодках, прошел в море, а оттуда Килийским гирлом и Дунаем — в Измаил. Кошевой,

Осип Иванович Гладкий, положил к ногам императора Николая булаву, саблю и шапку с султанскими фирманами на вольность.

— Просим ваше величество, — сказал он, — за себя, за товарищей и за наших предков простить нас и забыть наши глупые дела.

— Вы не подражали некрасовцам, — ответил государь, — не шли под знаменем неверных и не вносили на родину мстительного меча и огня. Родина и я вас прощаем. Добро пожаловать, запорожцы молодцы!

Император милостиво принял обращенных казаков и пожаловал Гладкого полковником их отдельного азовского войска. Двадцать седьмого мая 1775 года Текели выступил для уничтожения Сечи; двадцать седьмого мая 1828 года последовал указ о принятии запорожцев обратно в Россию.

При переправе под Сатуновом император переехал за Дунай на простой запорожской лодке. У руля сидел новопожалованный полковник Гладкий, на веслах, меж гребцами, — седой, но еще бодрый буджакский куренной Савка Шпак и двадцатилетний внук Недоли, Ярема. Жена Недоли, дьячкова дочь, одумалась и впоследствии также ушла к мужу, в Турцию.

Барвенкова Стенка — нынче небольшая станция Барвенково на азовской железной дороге, невдали от поворота последней к станции Лозовой.

Едущие по азовской дороге тщетно будут искать в Барвенковой чего-либо из запорожской старины.

... Недавно, проезжая здесь между станциями Лозово-Севастопольскою и Барвенковскою, я услышал следующий разговор двух путников. «Вы куда едете?» — спросил первый. «В Болгарию». — «Что же вы там?» — «Губернатором-с...» — «Стало быть, освободители?» — «Так точно-с...» — «Эх вы, извините, воскресители, наехали туда!.. Дома пятнадцать миллионов толоконников, а они с по-

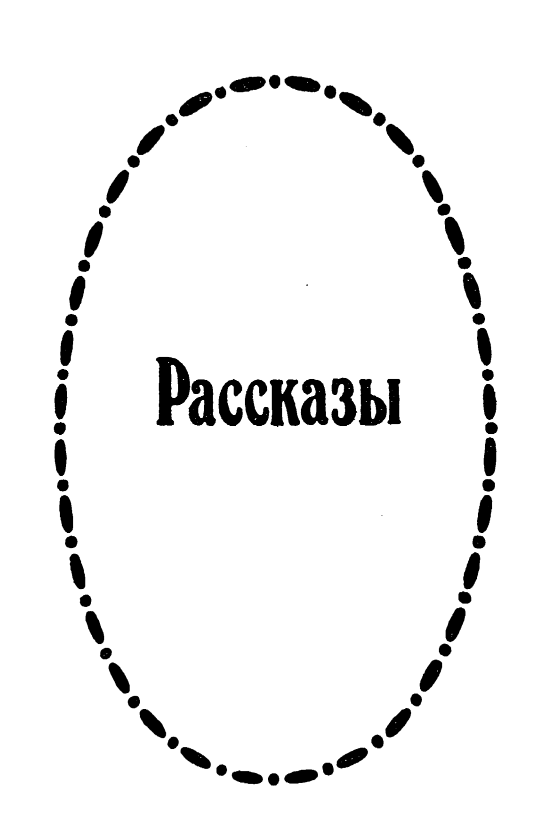
мощью туда, где торгуют розами!» — «Одно другому не мешает. Заповедь предков...» — «Предков? Ну, уж о них лучше бы вы помолчали. Испугались ваши деды у заволжских да донских казаков-раскольников появления Разина и Пугачева и сохранили это самое войско доныне, а ради случая разгромили верных и православных своих охранителей, запорожцев, куда ни Разин, ни Пугачев и носа не показывали...»

Степной украинский люд, нежданно закрепощенный при Екатерине и переживший восемьдесят пять лет неволи, по-своему излагает конец Запорожья.

Призрак Пугачева, до побега за Волгу жившего здесь невдали, в селе Кабаньем, у казака Овечки, никогда не смущал украинцев. Герои донских и заволжских раскольников, Разин и самозванец Пугачев, здесь не имели последователей.

По народной украинской молве, второй из сербских генералов, Чорба, придя для атаки Сечи, стал против ее окончательного разгрома. «Он долго спорил с генералом Потемкою, но не осилил его и вызвал на поединок. Они дрались у великой Саур-могилы, куда царь Петр вкопал камень с надписью: «Не трогать запорожцев». Чорба был убит наповал, а Потемка, раненый, оставляя кровавый след, ушел на Дунай, где, истекая кровью, и умер без покаяния и всякой помощи Божьей и людской...»

1878 г.



Рассказы

БЕГЛЫЙ ЛАВРУШКА В ПАРИЖЕ

В начале весны 1860 года, перед отъездом из Парижа мне привелось обедать в тамошнем русском трактире, содержимом некоим господином Петром Ахчауловым. «Pierre Achtschauloff, restaurateur russe» значилось на его карточках, тыкавшихся вам, как новичку, везде, даже среди газет и журналов, в кабинете для чтения, при редакции журнала «Le Nord». Общие подстрекания знакомых оказались и здесь, как почти всегда, пустяком. Забавный кабачок представился тем же французским отелем, с маленькими столиками, некрашеными полами, усыпаемыми ежедневно беленьким песком, с посредственными винами, из так называемых туземных, дамой-счетчицей за конторкой и печальным результатом всех парижских обедов, выходом из-за стола «впроголодь». Зато здесь вам подавались и теперь еще, вероятно, подаются весьма сомнительного свойства квас, гречневая каша, борщ с бураками, разумеется, на винном уксусе, кулебяка с вязигой, паюсная икра, более похожая на сгусток от чернил, чем на икру, чай и прочие тонкости, без которых, как говорят, не обойдется желудок русского человека. Взглянувши на часы и сообразя, что есть еще средства утолить голод за табль-дотом в отеле Франциска I, где я заседал ежедневно с молодежью из русских художников, давно обстрелянных и не способных поддаться на слабость посетить г-на Пьера Ахчаулова, я уже встал и взялся за шляпу, как с одного отдаленного столика также встал благообразный бе-

локурый господин, в сером простеньком пальто и подошел ко мне.

— Извините-с!.. — начал он по-русски.

— Что вам угодно?

— По двум вашим словам в ответ здешнему хозяину я решил, извините, что вы... чиновник-с!

— Ошибаетесь; почему же вы так думаете?

Блондин вынул бумажник, достал оттуда карточку и подал мне со словами:

— Извините. Я ваш соотечественник; я русский *эмигрант-с*.

На французской карточке значилось: «Лоран, второй швейцар в доме барона Ротшильда».

— Что же вам угодно от меня?

Белокурый господин попросил меня к окну.

— Извините меня, — начал он добрым голосом, — я нуждаюсь в совете... Многих я здесь в ресторане-с переследил и относился к многим-с. Все господа важные или занятые весельем-с. До того ли им...

— В чем же ваше дело?

— Вы не чиновник?

— Нет, не чиновник.

— В университете вы учились? Законам учились?

— Учился...

— Позвольте вас попросить меня выслушать; если угодно в сад, тут по близости-с, на лавочку...

Я пошел с Лораном в сад, примыкавший к какому-то дворцу или казарме... Мы сели на лавочке. Мой собеседник вынул красивый портсигар и предложил мне отличную «баядеру».

— Ах! — сказал он, — как тут ни весело, а все-таки поневоле обрадуешься живой родной душе. Две недели, как я выжидал и искал человека, с кем бы посоветоваться. В наше посольство идти жутко: так мало знакомств имею-с между нашими, занят очень-с. Я беглый крепостной человек-с одного полтавского помещика-с, а зовут меня, то есть

звали когда-то-с дома, Лаврентием Даниловым Блинченко, а попросту-с Лаврушкой...

Лаврентий Данилыч помолчал, глядя на толпу щеголих, мелькавших мимо нас.

— Долго вам рассказывать, сударь, как я сюда попал и как тут остался. Когда-нибудь сообщу. Теперь же дело вот в чем: тут барин один есть; заезжий и добрый барин; только совсем прожился — слабый, хворый, денег нет, а ко всему этому здесь соблазну манит, ну, и тянется: совсем уже, так сказать, уронил себя... известно-с, прогорелый!.. Ну, а народ тут расподлющий, шельма на шельме... Жаль, а помочь некому; силы над ним нету никакой, а силу надо...

— Так вы думаете, что я...

— Вы мне, сударь, скажите одно: могут ли по нашему, то есть русскому, закону вытребовать барина обратно, положим так, в Полтаву, что ли?

— Кто? Правительство?

— Нет, не казна-с... А дети — могут? У него двое и уже взрослых; славные были детки — Саша и Соня-с, то есть теперь уже Александр Аркадьич, выходит, и Софья Аркадьевна... Ведь пропадет человек; почитай уже теперь по улицам побирается, паяцем за деньги готов стать к расподлющему какому французу.

— А есть имение у этого господина в России?

— Было-с, триста душ, да теперь уже их нету... прокутился...

— А дети чем обеспечены?

— Отданы были в обучение через бабку; у бабки теперь, верно, и живут, своего достатку нет. И жива ли бабка, не знаю...

— Ну, вряд ли что тут силой сделаешь; дети могут только писать ему, надо уговаривать.

— Уговоришь его! Совсем пропал, как есть...

Мы еще поговорили. Я обещал навести справку в посольстве, дать ему ответ через неделю и простился с ним.

На расставание Лаврентий Данилыч замялся.

— Скажу уж вам всю правду... Вы все равно в посольстве узнаете, извините, этот барин — Аркадий Андреич... Дольский — был когда-то мой барин. Двенадцать лет назад мы вот с ним вместе бежали сюда, при Ламартине-с, как раз при республике этой бежали и прогорели. Кабы не Господь Бог да Миколай-чудотворец, и я бы, может статься, в тюрьме какой сидел. А теперь, благодаря Богу, в хороших людях живу...

— Да, место хорошее; вы, кажется, у Ротшильда в доме?

— Точно так-с, у них; барон распредобрейший человек-с, каких поискать в мире. Сперва я у него выездным был, а потом в швейцары попал и комиссии иногда имею по делам: по городу, от конторы...

— Сколько вы жалованья получаете?

— Deux milles francs dappointements et deux milles de commissions, — сказал Блинченко с чистейшим парижским выговором, принимая при этом все ухватки туземца, — две тысячи франков жалованья и две тысячи комиссии, квартиру и одежу-с.

— Это хорошо...

— Только ни днем-с, ни ночью, верите ли, покоя нет! Теперь же я выпросился, извините, я жду вашего одолжения-с — не оставьте!..

И он опять заговорил по-французски и повторил адрес своей карточки. Странно! По-французски он говорил как истый парижанин; казалось, слушаешь лепет франта на Итальянском бульваре. Как заговорил опять по-русски, о Париже и помину нет: будто слушаешь разговор дворника у лавочки на Поварской или в Гороховой.

— Вы давно из России-с? — спросил он.

— Недавно.

— Что ваши крепостные?

— Дело обсуждается! Нельзя — много хлопот.

— Тэ-эк-с; насчет тоже-с откупов, тут говорят, будто у нас свободно будут водку продавать. Правда это?

— А вас это занимает?

— Да-с, в Миргороде у меня сестрин муж шинкарем сидит, так как бы места не утерял, много детей... А правда тоже, извините...

— Ничего, ничего, что такое, говорите!

— Правда, тоже, тут произошел слух, что будто богача купца Самокишина в Москве на цепь к столбу приковали за то, что народу чай из бурьяну поддельный продавал? Мы у него в доме у Покрова с барином стояли, и будто народу было дано, всякому человеку, право и дозволение три дня и три ночи плевать на него и бить его по щекам за это жидовство-с?

— Кто это вам сказал? Это чистейший вздор!

— Приятель, тоже, скажу вам, русский и, как я, лакей тоже, беглый из Крыму, писал. Он бежал, значит, дурак, во время войны да три года у англичан и потер лямку во флоте; а теперь в Лондоне, на улице Гей-Маркет, в турецкой кофейне официантом служит, уже тоже третий год. Он в аглицких газетах начитал. Вы, я думаю, его видели, коли в Лондоне были, — его *все наши* эмигранты знают — так его Данилкой и зовут. На днях это тоже опять пишет мне: «Ну, брат, Лавруша, поздравляю: у нас секанцию отменяют». Шутник такой, что на-поди! Извините-с, опять заболтался. Au revoir!

Мы расстались. Но я плохо сдержал данное слово. Ранее недели судьба унесла меня в Италию. Выборы в Тоскане, смуты в Риме, Неаполь и Венеция, Гарибальди в туринском парламенте — все это были такие впечатления, среди которых поневоле забылся и обед в русском кабачке у Пьера Ахчаулова, и разговор с Лораном Блинченко. Но зато едва я воротился в Париж и в квартирке художника М., где бросил часть своих вещей, наткнулся на карточку с именем и адресом мосье Лорана, я отправился в посольство, переговорил с чиновниками, порылся даже в своде законов и поехал отыскивать знаменитую улицу Лафитта и еще более знаменитый дом барона Ротшильда. Мне кстати нужно было

справиться в банкирской конторе барона об одном векселе, и я вошел в контору. Целое министерство предстало моим глазам. Клерки за столами, главноуправляющие с пушистыми бакенбардами, мешки с золотом, кучи билетов, кассы за металлическими сетками окон; общая тишина, мерные шаги по коврам и плавное скрипение сотни перьев; сам молодой белокурый барон, худощавый и красивый, «султан червонцев и целковых», в мягком кресле огромного, сияющего камином, кабинета, с сигарой, за подписанием бумаг — все это заняло меня. Но я спешил обратно в приемную и потом вниз.

— Что угодно, мосье? — спросил меня дежурный привратник.

— Мосье Лорана.

— А, мосье Лоран; знаю, знаю; вы, верно, его земляк? Он все ждал кого-то; его теперь нет дома! Он с баронессой в Булонском саду. Но вы пожалуйте в его комнату, он живет выше меня; о, он истинно достойный малый и живет по заслугам выше меня — вот, по этой же черной лестнице... А-а? Козак!.. Козак! Хе-хе!.. Vous etes tous des kosaks!

И дворник, лукаво подмигнувши, почему-то громко рассмеялся. Я вошел в комнатку второго этажа, сопровождаемый дворником. Это была конурка в пять шагов; железная кровать, под фланелевым одеялом, два стула, столик у единственного окна, на столе два подсвечника, зеркало, папка с бумагой, карандаш и чернильница, клетка с канарейкой над окном, а на стене на гвозде обернутое простыней платье. Апрельское солнышко весело светило в комнату, канарейка заливалась на все лады. Я склонился к столу и стал писать записку. Дверь отворилась за спиной привратника.

— А! Это вы! Я вас давно ждал! — крикнул мне на пороге поспешно вошедший Лаврентий в голубой ливрее, шитой золотом, в штиблетах и с блистательными гербами на пуговицах.

Он сухо выслал подобострастного дворника, снял ливрею, облачился в пальто и сел.

— Да, я вас ждал, ждал! Где вы были, сударь?

— В Неаполе, в Сицилии, в Турине; где я не был?

— Гарибальди видели-с? Вот герой; наш Суворов-с!

— Видел в парламенте и даже к нему на дом с другими русскими водили; видел его и на улице — перед студентами речь держал...

— Да, герой человек, я думаю, такого и наш Ермолов бы не победил. Тут шла на него по лавочкам тайком подписка, и я два франка дал. Хотите курить? Что же наше дело?

Я передал ему справку. Оказывалось, что г-на Дольского по требованию детей выслать не могли, да вряд ли дети и захотели бы хлопотать о таком папеньке. Мой рассказ произвел горькое впечатление на Лаврентия. Он склонился на руки, волосы упали ему на лицо. Прошло минуты три.

— Пропал человек! А что за человек был! Спасибо за справку; стал бы я вам жизнь его теперь рассказывать, да надо идти. Барон отпустил всего на пять дён; теперь дни такие...

— Что же теперь такое?

— Да теперь... страстная неделя-с, страсти; а вы закутились и забыли? Надо говеть, надо в нашей церкви о службах справиться. Извините, пойду туда, а к вам опосля заверну-с...

— Ну, уж нет, Лаврентий Данилыч, за грехи мои и я пойду с вами. В самом деле, я среди здешнего счета чисел и запутался.

Мы пошли бульварами. Шли долго; Лаврентий Данилыч, как начал рассказывать, все не умолкал. Прошли и Маделену, и Фобур-Сент-Оноре, и другие улицы. Заходили и в нашу прежнюю церковь. Там, во дворе, мой товарищ отыскал помещение одного из причетников родного клироса и у него справился о времени вечерен, всенощных и обеден. Помню я, что и этот причетник поразил меня тем же, чем поразил сперва и Лаврентий. Мы разговорились в веселой хорошенькой гостиной этого дьячка русской парижской церкви перед камином, уставленным фарфором, среди уютной

мебели, обитой трипом; по стенам висели картины масляными красками, при нашем входе из-за пианино встала маленькая дочь дьячка, игравшая что-то из оперы. Сам он заговорил по-французски — чистейший парижанин, и даже слово «parbleu» употребил; заговорил по-русски — прямо дьячок из-за Москворечья; даже ругательства родные ввертывал подчас в свою речь. Тридцать лет он живет в Париже при церкви, в полном довольстве; усвоил себе все его привычки, всю обстановку туземного счастья и комфорта, а воротись на родину, одной косички на затылке первое время не будет, — сохранил в себе всю святую Русь в точности.

— Ну, — сказал Лаврентий, справившись у причетника, — мы на день еще свободны; так слушайте же далее, до конца!

Мы вышли на улицу Берри, оттуда набережной Сены в Тюльерийский сад и беседовали до самого вечера на лавочке, у знаменитого фонтана...

— Мы бежали двенадцать лет назад из России. Мой барин-с, как я сказывал, был богатый помещик. Вы меня извините, коли я что неприличное вам скажу: надо говорить правду. Баловался мой барин сызмальства, хоть был и дворянин; наберет, бывало, ребятишек, как из корпуса приедет, запрягает их в колясочку, играет всячески, а после и сечет; это, говорит, для фронту, чтоб после боялись; нас, говорит, тоже в корпусе и в зачет секали. А потом получил офицерский чин, сейчас в отставку поступил, завел собачню, свор десять, тут уже и я в комнаты попал. Начались попойки; господа соседские с ним пьют, охотятся, объедают его, а потом над ним же смеются, дураком его за глаза зовут. Была у нас по соседству семейка, сущие жиды. Как отец нашего барина помер, его эти люди заловили, попросту — женили. И узнали же мы эту барыню нашу! Как поселилась эта в нашей усадьбе, ведьма ведьмой так и глядит, что уж я от нее терпел — и сказать трудно. Скоро раскусил ее и наш барин. Сперва пивал крепко, а тут уже просто закурил так, что на-поди. Как уже там случилось, были у них уже

и детки, сын и дочь, а барин часто стал из дому отлучаться, все на охоте, все на охоте — собаки воют, барыня бесится, на служанках вымещает. Раз мы воротились из отъезжего поля, а дома недоброе дело — полон двор судейских, следствие идет — барыня померла «скорописной-с смертью», как спала, так уже и не встала-с. Девки наши задушили... Похоронили ее; барин съездил к своей матери, детей там оставлял, а после взял гувернантку — швейцарку, что ли, только она больше по-французски все говорила, глазатая такая, полногрудая да разбитная, а прежде тихая-тихая была и все его в плечо целовала. Ну, а ужо тут вы, сударь, догадаетесь. После этой грызотни и вечной свалки в доме гувернантка повела все дело начистоту; и детей смотрит, и людям говорит все «вы», и на кухню побежит, и белье барину поштопает, рубахи накрахмалит и вымоет, а там стала вензеля на них чудовые вышивать. И дались же ему после эти вензеля: учиться и прежде дети не учились, а с ней и подавно. Покинула она как-то сиденье с детьми, взяла свое платье и пошла к барину в кабинет примерять; я чистил посуду в буфете — слышу начался у них хохот. Барин все что-то говорил по-французски, а она смеется, пищит по временам, а тут стали двигаться стулья, она в залу выскочила. Не прошло и полчаса, барин выходит скорыми шагами и ко мне, сам в землю смотрит. «Лаврушка, — говорит, — пойди, закрой мне ставни в кабинете, что-то нездоровится; а мадам мне лекарство сделает, ступай!» Запер я ставни с надворья; они и затворились вдвоем и пробыли так до вечера. Детей я и накормил, и спать уложил; да уже ночью она вышла и говорит: «Тишь, Лавруш; мосье малад!» И пошел с той поры у нас стыд и срам; зажил с ней барин как женатый; старуха ключница, Мавра Федосеевна, его няня, еще и слать постель им вместе на двоих стала. Это бы еще ничего; сперва было соседи к нам, как обрезали, перестали ездить, а потом помирились и как ни в чем ни бывало менялись с нашими визитами и даже Эмеренции Карловне, гувернантке-то этой, ручку целовали. Забрала тогда нас в

руки новая барыня пуще нашей родной; сама лично ничего не делает, а все мужа на нас напускает. Скоро детей спровадили к бабке, а бабка хоть небогатая, да добрая такая была; а сами сейчас на зиму в Москву и меня взяли с собой. Там барин стал выезжать в маскарады, в театры, ездили к нам разные господа, больше актеры из французского театра. Тут Эмеренция Карловна понесла... Уж как рад был этому наш барин-то, Аркадий Андреевич; уж я таковой радости и не зрел отродясь. «У меня, Лаврушка, — говорит, — сын француз будет!» А сам так и прыгает, так и млеет. Ну, французик родился неживой, почти что как щенком она, треклятая, опоросилась, танцуя и на попойке у одной своей приятельки. Долго была она хворая, а там опять они закурили — ехать да и ехать в Италию. «Мы, Лаврушка, — говорил барин, — в хижине на берегу большого озера станем жить, как пастушки; это и для здоровья Мусиньки (так он ее звал) нужно!» Тут уж я не утерпел. «Эх, для чего вам, барин, хижина, коли у вас Всесвятское, триста душ и барские палаты находятся; да и чем в вашей вотчине, сударь, река Ворскла хуже озера итальянского какого большого?» Но они уже порешили. «Дурак, — говорит, — ты, Лаврушка, и настоящего счастья не понимаешь; а впрочем, мы тебя тоже туда возьмем!» — «Лаврушь-дурнушь!» — так меня и звала эта гувернантка с той поры. Ну-с, барин сперва заложил, а потом стал искать случая продать Всесвятское; тут вмешалась бабка его детей, жаловалась — ему не дали заграничного паспорта, он подговорил меня — мы через Одессу и убежали в Турцию, а потом прямо в Италию. И точно, возле Неаполя есть озерко у взморья, там мы и поселились: сперва я боялся, что поймают и в Сибирь сошлют. А после обошелся. Зажили мы. Я хожу корову пасти, дрова собираю, на базар в Кастелламаре (деревушка она, что ли, за Везувием есть такая) хожу, салат, овощи, фрукты покупаю; а барин все ходит в такой большущей соломенной шляпе, по морю катается, рыбу удит, на огни Везувия по ночам с любовницей смотрит, и оба ровно ничего не делают больше.

Покушают, погуляют, полежат, спать лягут; я опять им и тут ставни закрываю, как во Всесвятском. Выспятся, опять поедят, опять, это, пошатаются по камням, выкупаются или рыбки половят, и опять спать. Она растолстела, жирные такие губы и плечи стали, глаза подернуло поволокой, так и пышет вся, стал толстеть и мой барин, но меньше. Он все на лакрима-кристи да на алеатико стал налегать — там вина такие есть. Тут начала голова у него болеть, приливами, глаза как кровь, еле уже ходит, а тут и желудком стал сердечный объедаться; я дважды за доктором ездил на осле в город, кровь ему бросили. Прошло так месяцев семь; смотрю, оба замутились; привялило их маленько, что ли, такое житье — хлопают только глазами; она книжку читает, он зевает да курит. А тут и казус произошел. Надо вам знать, что барин мой был очень ревнив еще и к своей прежней барыне, и к этой; а она со скуки, что ли, или так — шутя — один раз и залучила меня в саду. Сперва все ходила около с зонтиком, как я корзинку плел, а потом подошла и взяла меня за щеку, а сама, смотрю, дрожит, и как пахнет от нее всякими духами. «Лаврушь-дурнушь, — говорит, — полюби меня, я тебя озолочу!» Я, сударь, так и обомлел. «Non, — говорю, — impossible, нельзя; барин убьет из пистолета!» А она по-французски мне в ответ, я тогда уже понимал и сам начинал говорить: «Не бойся, деньги все уже на мое имя переведены; бросим его, убежим — он мне противен!» И она тут плюнула на траву, а сама держит меня за голову, я же на корточках сижу с корзинкой. «Нет, — я ответил, — не могу, и я вас не люблю, Эмеренция Карловна; у меня, скажу вам по правде, тут итальяночка по любви ходит...» Позеленела барыня, сама усмехнулась и отошла. В тот же вечер мой барин, ни за что, ни про что, впервое в жизни поколотил меня. Соседские кучер и садовник на меня взъелись. «Дурак русский, брось своего господина, ведь ты тут свободный, тут крепостных нет!» — «Даром, пусть бьет, а я все-таки его не кину! На то он барин, а вы дурачье». Через два дня она выпроводила барина

куда-то, сама пришла ко мне в сад опять. «А что, — говорит, смеючись и не поднимая глаз, — испытал?» — «Испытал, — говорю, — сударыня, так что же?» Она кинулась ко мне на шею и давай меня целовать... ей-богу! Так и горит, ласкает, дрожит, шельма, и в глаза целует, и в щеки, и в губы — насилу я оторвался от нее, ей-богу-с, как Иосиф прекрасный в истории. Она мне пригрозилась и ушла. А там раз ночью ко мне в коровник пришла... Тут уже я все барину сказал. Не поверил он сперва, сердечный, а потом — и заплакал. Плачет, как малое дитя, хнычет: «Пропал я, Лаврушка, как собака, теперь уж я предчувствую — она меня бросит. Где она?» — «В ванне сидит: Клара с ней» (это служанка старая была). — «Бросит теперь она меня, и я пропал...» — «Да чем же вы, сударь, — говорю, — пропали? Возьмем место на пароходе и, через Одессу, воротимся опять домой; коли Всесвятского родового вашего не выкупим, так по крайности хоть в хуторе каком в Малороссии сядем на хозяйство. Вон, Дорош, лакей Павленка-с, в Риме мне говорил, что у них земля под Бахтутом ничуть не хуже-с, чем в этой Кампанье-с, али хоть бы и поблизости Неаполя; вспомните наше село, вареники; да и пшеница наша не в пример лучше здешней». — «Ты, Лаврушка, вздор мелешь; знай, братец, что теперь я нищий — меня вызывали через газеты; имение продано с аукциона, а мои все билеты у Чезаре в Риме я перевел на ее имя после того, помнишь, вечера, как мы за Монте-Пинчио в лесок ездили и оставались там до зари. Ах, братец, женщина! Вот ад и рай вместе, что за пыл и что за страсти! Ты не вкусил этого, дурак, и потому не знаешь... Ну, да авось это еще перемелется!» Только нет! Как узнала она, что я барину все открыл, волчица волчицей стала, нас, беспаспортных, еще миловали — мне выхлопотали какой-то плакат на итальянском языке и отпустили; барин и глядеть на меня, сердечный, не мог, а она так просто расхворалась, как я отходил. Клара только передала мне тут знаками, что она ночью барина по щекам била и он перед ней на коленках прощения все за что-то

просил. Тут я переехал в Анкону, а потом в Падуе к бывшему харьковскому профессору-окулисту В***, по одной рекомендации, поступил в услужение. Профессор вывез большое состояние, имеет виллу-с, а ест доныне-с по памяти ботвинью и делает себе дома квас. Оттуда я уехал сюда, в Париж, и тут уже остался. Только Париж мне, скажу вам, сперва больно не полюбился. В первый раз, как я приехал, тут правил Ламартин-с: из здешних помещиков он в короля на три месяца был выбран; мне тогда как-то не казался Париж — грязно так, улицы узенькие, сырые, сами французики такие обшарпанные, голодные ходили. Правители, это, в шарфах через плечо везде показывались, знамена раздавали, красным вином поили народ. Там их камера такая была, народ у входа толпился, задирал всякого. Епископа ихнего где-то в переулке осмеяли, грязью в лицо ему кидали; а у одной княгини на карете, среди улицы, гербы кирпичом постирали и ее еще заставили выйти в дверцы и на дело смотреть, стоя. Как бывало в камере что скажут такое, так и закишат улицы оборванцами, как улей пчелами; сейчас за камни; мостовые разберут, и драка. А тут я из Италии прибыл через несколько лет — везде тишина и все такие чистые и выбритые ходят. Полиции пропасть, и Наполеон, как наши генералы, стал в мундире ездить по городу, да еще и с конвоем...

— Ну, так вы приехали в Париж; а барин ваш где же делся?

— Я тут стал служить у французов, сначала по ресторанам, а там и в конторах, за швейцаров. Завелась у меня здесь тоже любовишка, извините, больно мою полтавскую Настю напоминала — такая же свежая, да добренькая, да с черной косой... Ездил я с ней в гуляночные дни за город и в окрестные сады, в театры и на смотры войск. Она разряжена и я. Раз тащимся мы в омнибусе в Буа-де-Булонь; я высунулся из окна и смотрю на щегольские экипажи; вдруг слышу из одной коляски громкий женский голос: «Лаврушь, Лаврушь, Анималь!» Оглянулся: Эмеренция Карловна, и ки-

нула она мне наскоро свою карточку с адресом; выскочил я из омнибуса, сконфузил и любовницу свою, поднял карточку, а коляска с Эмеренцией Карловной улетела, и она мне только рукой поцелуй послала, а сама хохочет, и с ней в коляске офицер усатый, да черный, тоже заливается, хохочет. Взбесила меня эта баба; думаю себе, пойду, справлюсь хоть о барине. Насилу отыскал ее квартиру, почти за городом, за прежней чертой городского вала, только квартира отличная, целый дом в саду и палисадник выходит на улицу. Зашел я прежде в соседнюю лавочку пива выпить, а сам давай расспрашивать хозяина, кто такой занимает этот дом с садом. «Богатая дама русская из французов, — ответил мне веселый хозяин лавочки, — деньги сорит, дом вечно полон беспечных гостей — идет картеж, попойки справляются аккуратно, а на днях полиция вмешалась и у нее был комиссар по поводу одной ее штуки». — «Что же такое?» Лавочник оглянулся. «Видите ли, говорят, она обобрала одного русского барина в России, тысяч на двести франков, выманила у него эти денежки, а его прогнала или где-то бросила больного. Теперь она в связи с капитаном из гвардейских вольтижеров, такой здоровенный мужчина, еще прежде был у меня в невылазном долгу за пиво и сидр. Ну, она с ним почти открыто живет, кутит по загородным балам, а этот барин-то русский выздоровел, да как-то и доплелся до Парижа...» — «Ну, ну???» — «Доплелся, узнав ее адрес через хозяйку отеля, где он с ней впервые остановился, когда ехал из России, и отправился к ней. Она его не приняла. Две недели он ходил тут, бедняга, около ее окон, как нищий, почти что милостыню готов был просить, — двери ее не отворились для него. Я его зазвал, все это узнал и три раза давал ему даром, бедняку, каштанов и пива. Но на днях у нее была попойка, он опять пришел и сел вон на ту скамеечку у ворот ее двора. Вижу я, отворилось у нее окно, толпа молодежи высунулась с ней оттуда и давай кричать: «Мосье, мосье! Как же о вас не доложили, пожалуйте!» Он вошел к ним, и после того там раздавались такие крики, смех и возгласы, что мы и

мои посетители из соседних мастерских и лавочек только плечами сдвигали. Ночью этого господина отвезли замертво пьяного, а утром там был комиссар и у нее взяли какую-то подписку. Говорят, что в этой компании веселых гостей моей соседки ее бывшего обожателя подпоили, заставили петь и плясать национальные русские пляски и потом, нарядивши его шутом, сделали с ним еще какую-то наглость. Он этого наутро ничего не помнил; но кто-то из собеседников проврался, и госпожу эту взяли под присмотр полиции и следят, откуда у нее взялось состояние. Спрашивали, говорят, этого чудака, осмеянного ее обожателя, не у него ли она выманила какой-нибудь подлостью деньги; но он ее не выдал и отрекся от всего». Что вам прибавлять к рассказу лавочника? Скажу вам, сударь, одно: был я у нее, водила она меня по комнатам, показывала их убранство, свои вещи, свою спальню, ванну, зимний сад с теплицами, вспомнила про Россию. «Э! Ты! Кстати, хочешь назад в Полтаву?» — спросила она меня. Я не ответил ни слова. «Сударыня, — говорю, — где мой барин? Где вы его дели?» Она слегка побледнела. «Мосье Дольский теперь свободен; он мне изменил, и мы расстались; он, кажется, в Швейцарии... фермером живет на хозяйстве». Мы были одни; я не выдержал и говорю по-русски: «Эмеренция Карловна! Смилуйтесь; у вас души нет — барин мой вовсе не там, а здесь, в Париже, и с голоду умирает!» Она взглянула в окно искоса и засмеялась: «Tiens, моя душа: если бы у меня не было этого (она показала сперва на рот, потом на лоб и потом на левый бок, этого и этого, если бы я не хотела есть, не думала жить и не имела бы надежды любить, — я бы поняла тебя. А теперь — прощай! Да кстати: хочешь ли в лакеи-друзья; ты еще так же хорош, как был в Италии; я тебе дам вакансию у одной моей подруги, содержательницы шоколадного магазина на бульваре. Подумай!» — «А барин мой, барин-то?! — сказал я, трясясь от злости и омерзения-с. — Вам его не жалко? Не жалко его деток, ваших учеников, Саши и Сони?» — «Ха-ха-ха-ха!» — захохотала она во все горло, потом, топнув ногой,

указала мне на дверь и закричала: «Вон отсюда, колпак!» Я оглянулся, кругом нас и в этой части дома не было ни души. Я молча кинулся на нее и уже в точности не упомню, чем, сколько времени и по чем я ее бил... Помню только, что на ее крик стали останавливаться у окна прохожие, потом окно со звоном лопнуло и ворвался ко мне какой-то толстяк-булочник, а потом разняли нас и другие! У меня отняли из рук ножку стула и на полу подняли обломок шандала. Ее полумертвую отвезли в странноприимную богадельню; голова у неё оказалась без косы, — чем я отрезал ее, и доныне не соображу, — в двух местах была пробита, а на лице и на руках оказались у нее такие раны, что едва я мог спастись и доказать, что мстил ей за господина, но не думал ее убить до смерти. Через два дня в здешних газетах появилась статья под заглавием: «Русский тигр, или Анекдот на улице Звезд с русским рабом и парижской сиреной, за старого любовника». Я просидел более полугода в тюрьме; ко мне являлись и угрожать, и упрашивать. Мой адвокат оправдал меня, и я вышел, но бедствовал долго без места. Тут-то отыскал меня по газетным статьям мой барин... Боже милостивый! В каком я положении его увидел... какой-то камлотный камзольчик, куцые жидовские брючки с чужих ног, видно, прямо с рынка, и поверх всего старенькая плисовая, как у паяца, курточка, старый-престарый, волосы до плеч, седина прошибает сильно, небритый и под хмельком. Воротился я как-то с поисков за местом в свою конурку, смотрю, боком у окна барин стоит. Я так и обомлел.. «Барин, голубчик, Аркадий Андреич, вас ли я вижу?» Да в слезы от радости, да к ручке его. Он руку не дал поцеловать, и сам не смотрит, стыдится. «Ты, Лаврушка, — говорит, — много не рассказывай и не унижайся, хоть и бывший мой крепостной. А ты лучше вот что: поставь мне, брат, выпить, червячок точит, надо заморить. Помнишь, как во Всесвятском: «Антошка, Пашка, Лаврушка, вы, зверье, водки!» А ты кричишь: «В секунд!» — и бежишь. Беги, Лавруша, и теперь». Замстался я, сказать вам по правде, как бывало точно в старину, и

сам знал, что он уже не барин, а заметался и за вином махнул во весь опор; что делать — прибыл старый барин! Вот угостил его; он и говорит: «Теперь давай мне денег, я без денег ничто; а ты на ноги меня поставь, Лавруша!» — «Где мне, — говорю ему, — денег достать? Я сам, Аркадий Андреич, суп из крыс ем, камушками закусываю по мостовым, да и тех, вон, Бонапарт-император поубавил по улицам, чтоб баррикад француз не строил, с тех пор, как мы были с вами тут, ваше благородие! Ей-же-ей, барин, с голоду приходится помирать...» — «А все-таки ты меня должен ублаготворить». Занял я у одного приятеля сорок франков да взял вперед в кафе Бюфона-с, куда нанялся на год, шестьдесят франков в счет жалованья и фрак свой заложил. Но не долго были барину эти сто франков. Через два месяца он опять притащился ко мне и занял у меня угол в каморке. Как он и чем тут жил, уже не знаю; писал, сказывают, кое к кому и в Россию, да не получал оттуда ожидаемого. Детей вспоминал, плакал о них, а возвратиться не хотел. Как-то подвернулся сюда один молодчик, из наших полтавских, встретил его, сжалился, вспомнил его же былую хлеб-соль — взял его к себе тут в качестве собеседника. Должно статься, что и этот барин тут прогорел. Прошло с тех пор еще три года. Я бедствовал невообразимо; не дослужа забранных шестидесяти франков, заболел... Поместили меня в больницу чернорабочих, вылечили, а после заставили отслуживать. И я работал на каменной работе у племянницы моих теперешних господ, баронессы Ротшильд, на ее даче. Там меня узнал аббат из русских, Саламахин Фадей Сергеич, и рекомендовал в лакеи сперва к племяннице баронов, а потом и к ним самим — спасибо ему. Тут я теперь и стою. Только не так устроилась судьба моего барина-то. Вдруг, слышу — сманил его какой-то фокусник и стал возить в колымаге с обезьянами, попугаями и учеными медвежатами. Смотрю, раз по бульвару с сигаркой ходит, на лавке в Тюльерийском саду сидит, на публику смотрит и, выбритый, в пальто с чужого плеча, раздает объявления про этого фокусника. Я и пошел

к фокуснику в балаган; глядь, а барин-то мой и билеты у него продает. Я было попятился. «Ничего, — говорит, — prenez un bilet, cher Lavrouchka, один франк двадцать сантимов, первый ряд!» — «Барин, — говорю, — Аркадий Андреич, вас ли вижу здесь! Вспомните ваши степи, Всесвятское, своих деток! Воротитесь лучше домой; вам ли у паяцев проживать? Ведь у вас своих триста слуг было...» — «Дурак ты, брат Лавруха, — сказал он мне на это, — мы тут равны, да я же и в опале, в злом скандале... фр!» Он уже тогда начинал рифмами говорить, как в театре, и многих господ смешил. «Батюшки, батюшки, — подумал я, — что с человеком не бывает!» Тут меня отличили, прибавили жалованья. Саламахин рассказал барону о моей сцене за барина с той-то воровкой, разорившей его, и статью ему про меня читал. Барон прозвал меня vrai Kosack — говорит — и приблизил меня еще больше к себе. С ним тут я и в Лондон ездил, тюки возил; после оказалось, что то было золото и его кредитные бумаги, еще почище золота. Главный клерк барона, немец, шут такой, особенно меня, скажу вам, оценил, и теперь я уже с конторскими за одним столом обедать стал... Много тут всякого народа из наших беглых. И люди будто уже не наши, не свои; одному незачем ворочаться домой, другому нельзя; все при местах и будто благополучны и благоденствуют. А ударит тут между нами про родину весть какая, точно в колокол в Иване Великом, — или бранят нас, или войной на нас собираются, или пожары где большие, наводнения, дороговизна, так сейчас собираются и заставляют газеты читать либо все гуртом в церковь.

Мы оба помолчали. Стало ужо темнеть.

— Где же теперь ваш бывший барин Дольский?

— В тюрьме-с сидит... тяжело мне это сказать! Сидит за пустячный долг. Увлекся у фокусника какой-то фокусницей да в долг на нее и набрал нарядов, а продавец и засадил его.

— Что же его никто не выкупит?

— Да я первый выкупил бы его, только он опять туда попадет. Совсем развратный стал, изленился вконец, а тут и навозу залежаться не дадут, не то что человеку. Вот кабы его в Россию! А то и меня он осаждает письмами, да уж теперь я и боюсь, как бы он не вытребовал меня, по правде, опять к себе в крепостные!

— Ну, на это закона нет, чтоб он требовать мог, если сам без паспорта.

— Все так, да я ведь крепостной. Вот хоть бы дети его самого отсюда взяли, что ли!

Я записал адрес его детей и дал слово известить их, воротившись в Россию. Мы встали.

— Ну, как же вы, Лаврентий Данилыч, свою судьбу устроить думаете? — спросил я.

— Послужу у барона: теперь из жалованья и комиссий моих порядочная сумма уже составляется. Еще побуду, авось тогда и свое дело начну; лавочку, что ли, открою... После женюсь... Оно теперь и в Полтаву манит... да жутко как-то... Закон еще неизвестен... А коли бы Всесвятское было наше и барин там жил бы — вот, ей-ей, кажется, воротился бы. Что в этой ливрее, что в этой свободе! Честью заверяю, страшно; ну, как потребуют, да по этапу отошлют...

Я заспорил, удивленный таким понятием; доказывал, что Париж не Полтавская губерния и что, будь только честен, здесь сберегут не хуже, чем на застольной во Всесвятском или по паспорту в Миргороде.

— Нет, скучно, барин, становится. Все не свое... двенадцать лет степей не видел...

«Уж не хитрит ли он, — подумал я, — что за дичь подобные убеждения. Мы разрываем крепостные связи, а он жалеет о том, что его барин не во Всесвятском, а в долговой парижской тюрьме. Вот она старая-то Русь».

Перед моим выездом из Парижа, Лаврентий Данилович Блинченко, или иначе, гражданин Франции, мосье Лоран, зашел ко мне проводить меня: таскал мои чемоданы, сходил мне за кое-какими покупками, прилаживал мне на дорогу

всякую вещицу, чистил с обычным русским лакейским форсом чистейшего русского изделия мои сапоги и, наконец, весь запыхавшись, выразился так:

— Эх, сударь мой! Ведь вот тут и кожи-то так выдубить не смогут, как у нас. Что здесь за сапоги! Месяц поносил и бросай или носи триковые ботинки по грязи этого каторжного мак-адама. А вот в Полтаве нашему барину завсегда Корж сапожник шил; так верите: по семи месяцев без починки носились — даже тошно было чистить... Оно, видите ли, будь и здесь прочность какая в заверении тоже, что вот тебя не отошлют в другую какую деревню, я бы воротился, хоть сейчас, барину рад был бы снова служить, лишь бы во Всесвятском. А то Наполеон всех выдать может, как беглых.

Лаврентий задумался. В это время на бульваре Бон-нувель, где я стоял, затрубили трубы и полился молодцеватый гром военного гвардейского оркестра. Мы подбежали к окну. Быстрым залихватским маршем шел отряд гвардейских зуавов; музыканты, с табличками нот перед глазами, шли и играли на ходу какую-то необыкновенно подмывающую штуку. Веселая толпа блузников, детей и щеголей шла следом, заглядываясь на бритые головы и алые фески импровизированных алжирцев. Громадные омнибусы катились за город. Был какой-то не то народный, не то императорский праздник. Я взглянул на опечаленное и задумчивое лицо Лаврентия.

— Поедем-ка добровольно в Россию, — сказал я.

— Нет, боюсь, да и барина по правде жалко; как я ворочусь без него и что скажет старая барыня. Сегодня от вас к нему забегу, вот припас ему деньжат на табак...

И чудак показал десятифранковую монету.

— Вы же теперь знаете мой адрес! Пишите мне в Россию, — сказал я ему.

Он опять помолчал.

— Если бы земли нам дали, кажется, и я скорее бы домой воротился. Матери нет у меня; только тетка, да и

та продана вместе со слободой. Ну, да все ничего; воротись барин, сядь опять во Всесвятском — вот так бы и пошел! Жаль его, сердечного. Надо бы ему и белья сегодня; черт знает, однако, по правде сказать вам, извините, что это за человек такой: ему бы только лежать, ничего не делать.

Лаврентий махнул рукой и более не говорил ни слова.

— Наше вам почтение-с! — сказал он и вышел, дав слово мне писать.

Я подождал, пока он спустился по лестнице из восьмого этажа моей конурки, именовавшейся апартаментом номера сорок четвертого, и нагнулся из окна над улицей, смотря, как уйдет Лаврентий. Внизу он показался снова уже в ливрее барона Ротшильда, которую он, очевидно, оставлял у привратника. Он ловко застегнул золотые пуговицы на бледно-голубом кафтане с малиновыми отворотами, загнул набекрень круглую, с кокардой сиятельного и магического герба, шляпу, подтянул на руках перчатки, вынул, не спеша, на последней ступеньке крыльца знакомую уже душистую «баядеру» — закурил ее от сигары какого-то прохожего полковника, остановленного им одним легким кивком головы, заложил руки в карманы и пошел, гордо поглядывая, в толпе праздных зевак всякого оттенка и всяких наций и возрастов. И где были в это время мысли смиренного Лаврухи? Во Всесвятском? В Мазаской ли тюрьме? У сестриного ли мужа в Миргороде или где на теплой, давно оставленной печке какой-нибудь белокурой Гали или черноволосой Насти?

В России я прожил уже два месяца осени 1860 года. Варшава и Полесье, поездка по шоссе на Киев и Царство Польское, между сплошных зеленых вековечных дубрав, стонавших тысячами птичьих стонов, с перебегавшими через белое полотно свежей новой дороги лисицами и какими-то еще темно-сизыми пушистыми зверками, величиной с большую кошку; потом возврат на родимый хутор на пароходике нового общества по Днепру, еще в полую

воду его картинных берегов, то плоских и песчаных, то крутых с лесами и скалами, — все это мелькнуло и сменилось тихой жизнью маленького домика среди ровной, гладкой и окаймленной одним небом поляны, у маленькой речонки.

Но моя родина в это время уже была полна давно ожидаемыми слухами. В воздухе было чутко, хотя все ждало и жило по-старому. Соседний священник съездил в город и привез кстати мою почту. Я кинулся к газетам. В куче почтовых пакетов мелькнуло письмо с заграничным знакомым штемпелем и французской почтовой маркой, на которой хорошо сразу узнался и бонапартовский примелькавшийся глазам профиль, и его знакомая бородка. Пока мой гость раскуривал трубочку и собирался вторично заговорить о пшеничке, обещанной ему не в зачет прежних субсидий, я распечатал письмо. Оно было от Лаврентия Блинченко из Парижа.

Вот оно.

«Милостивый государь, Александр Сергеич!

Милостью Божьею, наш барин, Аркадий Андреевич Дольский, в больнице Святые Маделены, сего дванадесятова августа, 1860 года, помер. Жизнь их была при жизни злосчастна, а смерть и тем паче. Я пахаранил их на свой шчет; последнеи деньги стратил, равно же как и на личение ихнее. Силы души маей нету — а рассказать трудно о их канчине — почти как нищие скончались. Но Бог меня за них не оставит. Напишите при чем мне быть. Я больно часто отлучался для них от должности, и уже мне отказали от службы у барона, а дворник, что был ниже меня по лесница, слукавил и теперь взял мое место. Я же почти опять без куска хлеба. Не напишите ли вы моим господам Софье и Александру Аркадьевичам; пусть мене вазьмут, наймут, а я им за деньги на возврат на родину мою в Рассею отслужу. А я их батеньку досмотрел до конца, и живата маво не жилел; а готов я опять им служить по найму, либа пусть мине земли дадут, как

тут пишут и слыхать про законы. Вы же ихним миластям припомните, что я и ихние миласти выносил на руках; а Ликсадра Аркадьич мне когда-то шутя волосы прожгли... Вашего благородия усердный слуга Laurent. — Septembre 9. 1861. Paris».

По отысканному адресу я сейчас написал подробно к вдове не имевшего чина отца г-на Дольского. У нее точно жили прежде ее внуки; но она умерла, и вместо нее мне ответила какая-то госпожа майорша Скрябина, что наследники Дольские живут в большой бедности — сын Александр служил в пехоте, а ныне в отставке, по случаю огорчения от товарищей запивает, принят одним купцом в откуп, находится в Рязани по акцизной части дистаночным, но где он именно живет — Скрябина не знает, а что сестра его была в Нижнем замужем за мелкопоместным дворянином Горшковым, ныне овдовела, живет в Калуге, в пожилицах или компаньонках, на Московской улице, в доме почетной гражданки Стрешневой. Я написал к госпоже Горшковой письмо в январе, а в апреле этого 1861 года получил от нее следующее письмо, писанное, очевидно, смелой и бойкой, но безграмотной до тошноты рукой военного писаря, бьющего в составлении писем от солдаток, горничных и неутешных вдов из дворянок на красноречие, а подписанное страшными каракулями самою дочерью покойного Дольского, умершего в больнице св. Маделены в Париже, давно еще владельца степных полтавских угодий и трехсот душ во Всесвятском... Боже! И отец ее ездил искать наслаждений в Неаполь, в Байский залив, по той триумфальной тропе, по которой ездили во времена сказочной древности сказочные императоры Рима! Жалкая отрасль угасающих дворянских родов...

«Милостивый государь и преусердный благодетель и благотворитель мой! Вашему Высокоблагородию благоугодно было в ваш вояж во Францию навестить место жительства нашего покойного родителя, но не известились мы, видели ли вы его, не видели ли, а холопа и слугу нашего Лаврушку

Блинченко нашли же. Преусерднейше и нижающе кланяясь вам, а мы вас тоже не зная, вследствие отношения Вашего Превосходительства от сего истекшего января 16-го дня 1861 года имеем честь всенижающе известить. Теперь уже вышло положение вышчих властей о крестьянах и дворовых, а так как оный беглый наш холоп Лаврушка обязан нам прослужить в полном повиновении господам еще два года или же платить нам оброк, заплатя же и за истекшие двенадцать годов оброк же, как и следует понимать оные законы, то мы с братцем Сашей списались через добрых наших благотворителей, купца Должикова и купца Ножикова, и положили через вас, высокоуважаемый генерал, просить о высылке по этапу из города Парижа, Франции французского королевства, в Россию в город Калугу в дом почетной гражданки Стрешневой, оного беглого и беспачпортного бродяги нашего из дворовых Лаврентия Данилова сына Блинченка. И буде он прибудет по этапу, то, уплатя нам за двенадцать лет оброк и два года отслужа, или же заплатя тоже, то мы ему дадим вольную. Ваше же Превосходительство просим известить нас не оставить в том же времени безотлагательно, куда нам обратиться и через какого посланника или амбассадера о взыскании по законам с итальянцев, и французов, и с кого именно, буде вам известно, за укрывательство и передержательство в сии двенадцать лет и семь месяцев беспачпортного и беглого нашего слуги и подданного Лаврушки Блинченко. Ему же мы обещаем наше прощение и благословение. А тетка его и сестрин муж также померли. Сие ему тоже скажите. Мы же преусерднеище и нижающе еще к вам прибегаем: известите, есть ли у вас супруга, или дети, или мать, или тетушка, дабы мы знали, за кого Бога молить. А когда место мне или братцу найти можете в ваших окрестностях, и того преусерднейше принесем за вас мольбы ко Всевышнему. Апреля 10 дня, 1861 года. За неграмотную, ее собственной рукой подписано составителем письма от ее особы: *«Софея Горшкова»*. Приписка в конце последней страницы: «У нас в городе Калуге живет Шамиль. Не вы ли

содействовали к его плену? Мы читали вашу фамилию. Помогите же и о Лаврушке»[1].

Сняв точную копию с этого письма, я послал подлинник в Париж и вскоре получил превеселую записку от мосье Лорана. Он извещал о своем счастье, что интриги дворника Ротшильда снова побеждены, что он получил снова прежнее благоволение барона и его старшего клерка, даже еще более прежнего, именно ему обещали место правителя фермы на даче барона в Перигё, что на зиму они снова будут в Париже, а теперь пока едут на воды на остров Иер, а оттуда в Турин к сестре его новой госпожи, где он надеется увидеть Гарибальди, и что из Турина он отпросится у своей хозяйки на поклонение к мощам Миколы Чудотворца в Неаполитанское бывшее королевство, в град Бари, а там — *«что Бог даст»*.

Новото своего адреса мосье Лоран мне теперь не передал, и потому, вероятно, к узнанию о дальнейшей его судьбе надо считать следы окончательно утерянными.

1861 г.

---

[1] Моих однофамильцев при отчетах о взятии Шамиля не упоминалось.

СЕЛО СОРОКОПАНОВКА

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕПУТАТА***)

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий!

Из одного альбома.

Я объезжал свой депутатский участок в*** уезде с целью собрания сведений о помещичьих имениях, для обсуждения губернского комитета об улучшении быта помещичьих крестьян. Более двухсот имений стояло в моем списке. Много было досадных случаев. Иного владельца не застанешь дома, а ехать часто приходилось верст за семьдесят. Другого и застанешь, да не вдруг уломаешь ответить на печатную программу; над всем он задумывается. Несколько владельцев, в том числе две барыни, даже вовсе отказались отвечать; они были — неграмотные. Дело, впрочем, известное — стоит только пустить повестку, что вот, мол, любопытно узнать, сколько в таком-то округе рабочего скота. «А, — подумают владельцы, — тут что-то неладно; это налогом обложить хотят!» И в ответах на повестки окажется, что в уезде вовсе нет рабочего скота.

Описав имения покрупнее, с псарнями, винокурнями, сахарными заводами и мызыкантами из мира каменных палат, башен со звонящими часами и размалеванных сельских контор, я на время спустился в мир крошечных мелкопоместных захолустий — поехал по хуторам и хуторочкам...

Хутора... много вы изменились с тех пор, как среди вас жили незабвенные Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Конечно, и доныне в ваших зеленых весях, безданно и беспошлинно коптя православное небо, живут многие родные по крови этих милых «младенцев-стариков». Но все уж не то. Те же тихие домики, и так же тут едят и пьют, а много воды утекло и многое изменилось.

Со мной, в качестве секретаря и землемера, ехал некто Абрам Ильич Говорков.

С ним мы, между прочим, завернули в многовладельческое село Сорокопановку.

— Что это за Сорокопановка? Странное имя! — сказал я Говоркову, когда мы спустились с зеленого холма и поехали ровной, гладкой степью.

Скоро засвежело. Близки были поемные берега большой реки. Луг, весь в тростниках и озерах, шел по ее левому берегу. Правый был гористый. С этого-то правого берега приходилось нам подъезжать к Сорокопановке. Ни облачка на небе. Только вдали где-то нахлобучилась сизая туча, и наискось падали из нее полосы дождя... А это что? Не то овцы, не то дикие гуси. Подъезжаем ближе. На зеленом раздолье, мерно выстроившись в ряд, ходила стая журавлей... Вот они завидели нас, остановились; все головы вытянулись; все следят за нами. Но мы их не спугнем. Они опять склонились и длинными носами долбят землю, должно быть, подбирая народившуюся гусеницу или кузнечиков.

— Сорокопановка, — заговорил Абрам Ильич, — как мне ее не знать! Вот это что: здесь испокон века живут мелкопоместные панки. Как будем ехать, увидите три глубоких оврага. Где эти яры сошлись, тут она и начинается; все хатки да хатки, и в каждой помещик или помещица со своей дворней. Так здесь жилось еще при Екатерине. Говорят, что шутник Потемкин поселил здесь каких-то майоров, числом ровно сорок, за какое-то отличие из целой армии, и дал всем дворовых и землю. Село назвали сперва Майоровка, но в простонародье да и сами поселенцы про-

звали потом свою деревню Сорокопановкой, от сорока панков, ее обитателей; так она и теперь зовется. И какой это все народ забористый и с гонором! Еще их деды, первые поселенцы, никому не давали проезда: а эти хотя и более тихого нрава, да все байбаки и себе на уме. Полиции спуску не дают, и многие буяны. Промеж них мало грамотных. Иного даже и не отличишь от мужика. Пашет землю, ездит ямщиком. А спросишь — дворянин. У редкого больше двадцати-тридцати десятин земли; а дворня есть у каждого. Господа и слуги едят вместе, даже иные живут в одной хате. Странные прозвища повывелись через браки. Иной выдал дочь, сам умер, а зять на его место сел со стороны. Другие продали участки и выехали в город. Но есть еще между ними и старые люди...

— Чем же они более живут?

— Так, более ничем. Иной целый день трубку курит, лакей ее переменяет, да чешется у двери. Другой лошадьми торгует — сущий цыган. Барыни сеют бакши, огороды содержат; барышни гранд-пасьянс в карты раскладывают, про женихов гадают. Неурядица у них страшная. Никто не хочет уступить и покориться старшему. Хотели было завести у них какое-нибудь начальство, да стали в раздумье: к какому роду общества отнести такой поселок? Город не город, деревня не деревня. Будь это мещане, в посад бы их обратили; будь вольное крестьянское село, выбрали бы из обывателей голову, сотского или старосту. А то ведь что ни двор, то и помещик. Созовут жителей в уезд: «Выбирайте себе голову или сотского!» — «Вот еще, пойдем мы в сотские! Мы дворяне!» И делай с ними, что хочешь. Так и не выбирают себе начальника. Шум, гам, наедет становой, так насилу выберется; иной раз и обывательских лошадей не достанет, хоть пешком за десять, за пятнадцать верст в казенную слободу иди. А тяжбы. Однажды судились два сорокопановских панка. Дело в том, что шли они откуда-то с фурами и один другому дал, во время жары, на сохранение тулуп, а тот

его взял да и пропил в первом кабаке, пока его приятель там же лежал без ног. Надо было перед становым доказать, что один у другого взял тулуп и отдал его назад.

— А ведь мы же шли? — спрашивает истец.
— Шли.
— Мне же стало душно?
— Стало.
— Я ж тебе его отдал?
— Отдал.
— И ты же его взял?
— Взял.
— Где же он.
— Что?
— Тулуп.
— Какой?
— Что я тебе дал.
— Когда?!

Минута молчания. Истец переводит дух и начинает снова:

— А ведь мы же шли?
— Шли.
— Мне же стало душно?
— Стало.
— Я ж тебе его отдал?
— Отдал.
— И ты же его взял?
— Взял.
— Где же он?
— Что?
— Тулуп?
— Какой?
— Да что я тебе дал.
— Когда?!

И дело опять начиналось словами: *«А ведь мы же шли?»* Становой кончил тем, что позвал «дневальных» и обоих тяжущихся выгнал.

Но вот и сама Сорокопановка.

Я высунулся невольно из крытой нетечанки и велел остановиться.

Левый берег реки шел вдаль, весь затопленный плесами еще недавнего половодья. Мы были на правом. Пока кучер оправлял лошадей, мы встали в стороне. Мой спутник прищурился и улыбнулся.

— Вот помещик Куличок, — сказал он, тыкая пальцем в воздух, — он высек соседа за карточный долг; а вот и его высеченный сосед Белопятый; живут они теперь дружно. Вон, где видны крылья мельницы, живет престарелая девушка, Любовь Венцеславская, писательница и поклонница всякого рода птиц, певчих и простых, отчего ее дом напоминает собой рай или, скорее, лавку московского охотного ряда.

Более получаса Абрам Ильич, как демон в легенде великого поэта, рассказывал историю крошечных домиков, сидевших бочком и врассыпку по зеленеющим косогорам. Все они тонули в садах. Кое-где торчали бревна колодезных журавлей, скворечницы, белые избы и опять сады.

— Чьи эти два чистенькие дворика? — спросил я Говоркова.

Дворики, как оказалось, принадлежали двум сорокопановским дамам, Дарье Адамовне Павловой, с левой стороны реки, и Дарье Адамовне тоже Павловой, с правого берега реки. Как ни странен случай, но должно прибавить, что соседки, жившие друг против дружки через реку, действительно носили одинаковые имена и фамилии, хотя не были сродни друг другу и не имели решительно ничего схожего. Потомство этой фамилии искони существовало и по левую, и по правую сторону реки. Эти дамы были притом совершенно разного характера. Дарья Адамовна с левой стороны была подвижная и румяная, с носом, торчавшим вверх; затейница подтрунить на чужой счет, затейница устроить свадьбу или небывалую ссору в посторонней семье и потом весело и беззаботно обо всем посплетничать. Дарья же Адамовна с пра-

вой стороны хотя была также ничуть не прочь и подтрунить, и устроить свадьбу, и посплетничать, но зато почти никогда не улыбалась, не вертелась, все делала молча и сурово, без смеха и прибауток и даже была несколько падка к меланхолии... Иначе Дарья Адамовна с левой стороны была, как о ней выражались в Сорокопановке, Дарья Адамовна Комедия, а Дарья Адамовна с правой стороны — Трагедия.

В то время, как соседи этих помещиц с обеих сторон реки занимались хлебопашеством, иной раз сами ходили за бороной и плугом, сами ковали лошадей и дергали шерсть с коз, соседки предоставляли свое хозяйство двум задорным и зубастым работницам, а сами только гадали на картах про молодых пожирателей девичьих спокойствий, или, как говорили там о них, про «ненасытецких сердцеедов» и «безпардонных сумасводов», и проводили время в приятных разговорах... В то время, когда речка замерзала или пересыхала, они посылали по вечерам просить друг дружку «на свечку», то есть посидеть, поболтать и поработать вместе, не вводя себя в лишний изъян на освещение; когда же река весной пышно стремила свои воды меж родных берегов, они выходили, через огороды, на пустой еще берег и переговаривались друг с дружкой через реку...

— Ну, как же там у вас все идет? — вежливо начинала Дарья Адамовна Трагедия, поглядывая через речку и сурово шевеля спицами шерстяного чулка.

— Да ничего, тетенька, очень хорошо, — отвечала Дарья Адамовна Комедия веселым и почтительным тоном, также шевеля спицами чулка.

— Ну, хорошо, хорошо... и терновку перелили в бутылки?

— Перелила...

— И солод уварили, Дарья Адамовна?

— И солод...

— Скажите! Вот как!.. Так, значит, и кабана посадили кормить к розговенью?

— Посадила.

— Вот как! Скажите!.. Это очень даже, скажу вам, любопытно, Дарья Адамовна! — произносила угрюмая соседка, то бледнея, то краснея от зависти.

— Да-с, любопытно! А вам-то что, завидно, что ли, тетенька?

— Ну, матушка, завидно, не завидно, а скажу вам по правде, что сегодня ваш селезень переплыл ко мне в огород...

— Ну, так что ж что переплыл?

— А то, матушка, что каналья я буду, если не сверну ему головы! — произносила Дарья Адамовна Трагедия, едва шевеля от злобы спицами чулка...

— Ну, матушка, говорите это поповой кобыле, а не мне! Да я еще и посмотрю, как вы свернете селезню голову.

— А что, разве?

— Да то же, что каналья и я буду, если и другому кому тогда... не сверну головы!

— Как? Так это мне? — подхватывала Трагедия, задыхаясь от бешенства.

— Вам! Именно вам! — язвила соседка.

— Ну, тогда уж позвольте вам послать кукиш! — произносила Трагедия, протягивая руку в направлении к левому берегу реки.

— А при этой верной оказии позвольте послать и вам целых два! — кричала Дарья Адамовна Комедия.

Трагедия на это совершенно терялась и, помолчав, изъявляла убеждение, что с такой злодейкой, как ее соседка, надо говорить мужику, а не даме.

— А вы, Дарья Адамовна, кажется, просто мерзавка... — кричала противница.

— И, матушка! Мерзавка, не мерзавка, только всем уж известно, что у вас иногда губы пухнут...

— Как пухнут? Отчего? — спрашивала озадаченная Комедия. — Это быть не может, и я этого никогда не замечала!

— Может быть, только замечала это я! Я! Я! — кричала с ожесточением Трагедия. — И еще я вам доложу,

что вы в спальне в шкапу держите водку и пьете ее на ночь, и от того у вас нос бывает красного цвета и глаза не свои.

— Тьфу! — плевала на это негодующая Комедия и, сказав, — бес, а не женщина! — уходила домой, переволнованная до глубины души.

Иногда, впрочем, такая беседа кончалась неожиданным миром и каждая соседка, сказав: «Ну, матушка, вы себе, если хотите, гуляйте, а мне пора за работу!», — расходились по домам. Но в другое время, вслед за шишами, плевками и всякой перебранкой, утомленные барыни высылали на реку своих работниц. Зубастые бабы оглашали тогда окрестность не хуже запальчивых героев Илиады. «Да ты уж замолчи! — кричала одна работница другой, стоя на плетне огорода. — Ты уж замолчи, потому что я уж знаю, какая ты!» — «Ну, а какая же я, какая?» — «Да такая же, как и твоя мать!» — «А какая моя мать? Говори, сякая ты, такая! Говори!» — «Да такая же, как и ты!» — «А я какая, сякая ты, такая?» — «Да такая же, как и все вы!» И этот речитатив, при сбежавшихся с обеих сторон реки зрителях, тянулся нескончаемо. Слободка долго волновалась, разделившись на два враждебных лагеря, ратующих каждый за свою обывательницу и не знающих пощады и снисхождения...

Но таковы судьбы человеческого сердца! Подходили чьи-нибудь именины или крестины, и обе соседки, если был случай переправиться через реку, встречались снова друзьями, ухватившись за руки, чмокали друг дружку в губы, произнося: «Ах, это вы, душечка! Вот приятный сюрприз!»

Раз как-то (случилось это в самую засуху) Дарья Адамовна Комедия прибежала после обеда, запыхавшись, к Дарье Адамовне Трагедии, залилась слезами и упала ей на грудь. «Что с вами, душечка?» — спросила хозяйка. «Ах, и не спрашивайте! Я так взволнована, так взволнована!» — «Да что же там такое?» Гостья достала платок, отерла глаза и, вынув из-под лифа письмо, сказала: «Вот послушайте, ангел! Вот какой со мной сделался неожиданный случай!»

Она стала читать:

«К хищнице от жертвы.

...Милостивая государыня и, если смею так назвать, друг не только мой, но и всего человечества, Дарья Адамовна! Успехи дружбы вашей ко мне заставляют сделать открытие: я влюблен — голову совсем потерял. Разумеется, вам участь: блаженство посланное, а моя? Чем же я виноват? Хоть в речку! Сна не имею, целую ваши ручки; если же когда вы обратите взор на меня, то прошу не откажите подарить меня вашей рукою; вы меня знаете; теперь же пришлите мне ниток на карнетки, всего один моток и не забывайте дрожайшего Ивана... (фамилию гостья прикрыла пальцем), а также и шерсти, только той, которую купили в городе, а не вашей, а письмо держите в секрете!»

Гостья кончила, но от волнения не могла произнести ни слова и сидела, потупясь, как пойманная с папиросой пансионерка...

— Ну, что же, шерчик, очень рада! — возразила суровая хозяйка. — Жених нашелся, не надо упускать! Вот и все!..

— Ах! — воскликнула гостья, и радостные слезы снова зачастили по ее щекам.

Вслед за тем соседки стали шушукаться и шушукались до того, что положили, наконец, уведомив милого жениха, начать делать приданое...

Через неделю после этого решения счастливая соседка, получившая письмо, также сидела после обеда. Дверь отворилась, и в ее комнату вошла Дарья Адамовна Трагедия. Эта вошла гордо, молча поклонилась и таинственно села на диван... На ее руке висел ее обычный ридикюль. Она раскрыла его стальную пасть и стала оттуда вынимать на стол разные вещи. Вышел из этой пасти сперва клубок шерсти и две огромные деревянные спицы с начатым чулком, вышел потом бронзовый наперсток, тамбурная иголка, оловянные очки, рогулька для ковырянья в ушах, пузырек с нюхательным табаком, клочка два ваты для затыкания ушей, стальной игольничек, ножницы и кирпичик, обернутый в чехол, для

пришпиливания работы. Суровая гостья разложила все это в большой симметрии на столе, скинула нитяные перчатки, без пальцев, оседлала нос очками и, вооружась спицами, произнесла:

— Ну, матушка, и я к вам тоже... с новостью!

— С какой? — спросила хозяйка, насторожив уши, как моська в то время, как, перележав все бока у ног мечтающей хозяйки, она неожиданно услышит: «Жю-жю! или Фидель, ты философствуешь?» — и поднимет к хозяйке оскаленную мордочку...

Гостья оставила спицы, взглянула через очки, сказала: «Ну, пропала и я, машер», — вынула со дна ридикюля письмо и стала его читать:

«Хищнице от жертвы.

...Милостивая государыня и, если смею так назвать, друг не только мой, но и всего человечества, Дарья Адамовна! Не терзайте меня, а я готов сейчас жениться на вас! У меня наследство сорок десятин и мельница — жду ответа; не мучьте, потому что мучить можно муху или что-нибудь другое, но не мучьте меня, нежный друг, душечка! Слова ваши льются, как бы алмазы из вашей фортуны, когда вас слушаю, и притом у вас чисто русское сердце.

Иван...» (фамилию гостья прикрыла также пальцем).

— Что же это? — вскрикнула помертвелая Комедия.

— А что?

— Да одна и та же рука.

— Врете!

— Нет, вы врете.

Раздались две звонкие пощечины, свалка. Полетели чепцы с голов. И снова Сорокопановка чуть не полгода была разделена на два враждебных лагеря.

— Ну-с, Абрам Ильич, теперь за дело, — сказал я Говоркову, въехав в Сорокопановку, — где список? Тычко, Крячко, Макарищенко... С кого бы начать?.. Оно, разуме-

ется, статистика тут мало чем поживится. Лесов и фабрик, конечно, не имеется, сахарных заводов, оркестров, промышленности и торговли — также. Однако все-таки надо составить списки крестьян и дворовых; измерить, хотя приблизительно, землю под их усадьбами; спросить цену земель и строений, узнать о содержании дворовых... Вы послали сюда повестки с печатными программами от предводителя?

— Как же-с, послал. Куда же нам ехать? Где выбрать исходную точку своих действий? Не к Павловым же ехать...

— Советую к Венцеславской... Она образованнее других. У нее и дом побольше. Двор стоит в роще, за косогором, над рекой. От нее можно послать повестки о явке на съезд и к другим.

Мы поехали к Венцеславской.

Был знойный полдень, когда песчаным прибрежьем, мимо сорокопановских дворов, домиков и хат, мельниц и огородов, мы въехали на опушку густой дубовой рощи, круто взбиравшейся в гору и примыкавшей к общей околице поселка. В этой роще стояла глухая и неведомая миру усадьба Любови Павловны Венцеславской.

Пробираясь между дубами и орешниками, между упругими их корнями, издали мы заметили раза два мелькнувшую крышу нового тесового домика. Скоро въехали во двор. Куча каких-то зданий, амбарчиков, голубятен, кладовых и погребов стояла по сторонам двора. За низеньким длинным домом виднелся сад, из которого шли тропинки к сорокопановским дворам. Двор был чист, подметен и усыпан песком. Среди двора прыгала, оставляя следы своих лапок, бесхвостая ручная сорока. На перилах крытой галереи сидели две тоже ручные старые совы. Туча голубей кружилась в воздухе, спускаясь к кровлям двора. На шнурке вдоль галереи висели мешочки с сушеными травами, распространявшими в знойной тишине разные полевые и лесные запахи. Мы остановились, как околдованные, и сам назойливый обывательский колокольчик, издав неловкое тренькание, будто устыдился и за-

молчал... Вприпрыжку через двор куда-то пробежал, как угорелый, огромного роста рыжий голландский петух. За ним другой — белый. Куры подняли где-то невообразимый крик.

Мы постояли, поглядели и пошли на крыльцо. Ни души не было и там. Вдоль стен и у дверей крыльца, до самого потолка, шли клетки с разными птицами, и сколько их было здесь: мохнатые, пестрые, кривоносые, длинноносые, большие, малые и всякие, сидели и порхали по разнообразным клеточкам и клеткам. Две сойки взапуски передразнивали собаку; исседа-черный, старый ворон, как некий маг, сидел на скамье у порога, уставя на воздух огромный нос...

Мы прошли далее переднюю и еще какую-то комнату в цветах. Зала встретила нас низенькими комнатками, низенькими светлыми окнами, как показалось нам — будто даже неправильно расположенными, и кучей картинок, ярко озолоченных полуденным солнцем. Здесь были гравюры времен Павла и Екатерины: иллюстрированная «История Жильблаза», «Погибшая невинность Катерины Дуранси», «Малек-Адель», «Повесть о льве и дитяти», словом, десятки тех картинок, перед которыми и теперь еще с любопытством останавливается редкий посетитель подобных мест, в комнатках, где случайно зажились лица или предания прошлых времен. Вышитые подушки на кушетке, вышитые сиденья на стульях, коврик с индейцем и турчанкой у фортепьяно дополняли обстановку залы.

Мы откашлялись. Сперва вбежала, также кашляя и волоча параличную ножку, престарелая, крохотная и совершенно расслабленная белая болонка, с глазами, дочиста заросшими длинной шерстью. За ней вошла престарелая и тоже будто не слишком здоровая востроносенькая и худенькая хозяйка, с седыми локонами, с платком в руке и в зеленом ситцевом платье, узор которого представлял смесь каких-то цветов и оленьих головок.

— Извините, господа, что я вас заставила ждать! — заговорила сорокопановская барыня. — Я догадываюсь о причине вашего приезда... не так ли?

С этим словом она присела на стул, приглашая и нас садиться на диван. Мы обменялись приветствиями и пояснили ей подробнее нашу цель.

— Ах, помилуйте, очень рада! Помилуйте, я никогда не прочь! Я всегда была готова; я даже губернатору не раз говорила, что надо дать свободу нашим крепостным людям. Даже мое стихотворение об этом он хотел поместить тогда в ведомостях. Очень рада, господа, дать вам ответы на все. Вот видите, какой анахореткой я здесь живу. С той поры, как кончила курс в пансионе, я уже сорок два года здесь живу безвыездно, среди сада, цветов и моих птиц... Люди! Эй! Палашка, Феська, кто там?

На звук ее дребезжащего голоса явились в дверях несколько веселых и улыбающихся голов. Полные, здоровые, румяные лица слуг так и говорили: «Жизнь наша хоть куда: едим и спим мы вдоволь, и будут ли также хороши наши дни после, как теперь, у этой редкой барыни, это еще вопрос...»

— Кофею! Да отпрячь лошадей господ чиновников.

— Мы не чиновники, — вмешался Говорков, — они по выбору, а я частно занимаюсь землемерством!

Хозяйка повернулась на стуле, утерла нос, запачканный табаком (она нюхала), и долго не могла сказать ни слова, глядя на нас с восторгом и как бы озадаченная приливом нежданных, бившихся наружу, сладких чувств.

— Да, да! — заговорила она. — Наконец сбываются мои грезы, и я умру спокойно! Давно я ждала и думала... Наши крепостные люди будут свободны... Наконец-то час пробил! Когда же это совершится?

— Скоро-с! Комитет открыт, и теперь его члены собирают последние сведения! Сведения нужны через... две недели. Вы ваши ответы приготовили?

— Мои?.. Нет... Я не ожидала, чтоб так скоро...

— Помилуйте, да повестка у вас уже третий месяц...

— Повестка?! — спрашивала сама себя добродушная старушка. — Зачем же сведения? Разве нельзя без них?

Говорков вступился за канцелярский порядок. Она задумалась. Потом встала, ушла в гостиную и вынесла оттуда, в пыли и совершенно оплетенную паутиной, повестку комитета, с печатной программой.

Я был озадачен.

— А ваши соседи, сударыня, господа сорокопановцы, приготовили свои ответы? — спросил я.

— И они, вероятно, как и я, — ответила Венцеславская.

— Нехорошо, Любовь Павловна! — отнесся Говорков. — А мы надеялись на вас. Как же теперь нам быть?

— Ах, Боже мой! Мне право совестно! Как же тут помочь? Ах, право досадно и совсем совестно!..

И она стала набивать нос душистым табаком, от которого распространился по комнате запах жасмина...

— Дело простое, — вмешался я, — все почти владельцы Сорокопановки имеют разве одних дворовых. Значит, нам нужны сведения только о числе дворовых людей, о их содержании, о их усадьбах и работах. Список дворовых мы уже получили по вашему селу из казначейства. Остается нам сообщить о их содержании и о работах и оценить их усадьбы, а мы измерим хотя приблизительно вашу подусадебную землю по каждому двору...

— О содержании, о работах, цену усадьбам? — повторяла про себя в раздумье хозяйка. — Где же тут определить? Жили у меня, ели мое, ходили в моем, как тут считать!.. Да тут и на целый год будет работы, а не на две недели...

И она развела руками.

— Да у меня же и земли, кстати, нет, — продолжала она, — есть дом и кухня, да сад, да и только; люди живут в кухне, едят постное и скоромное... Как тут высчитать? Право, как тут определить? А впрочем, делайте, как знаете...

Мы стали ее утешать, что нужные сведения соберем в один, а уже много в два дня. Она опять понюхала табаку и задумалась...

Подали кофе, потом завтрак, и не огляделись, как подали и обед. Мы сидели и толковали о старине. Говорков между тем написал циркулярную повестку ко всему сорокопановскому обществу с приглашением явиться в 4 часа пополудни, в тот же день, в дом госпожи Венцеславской, для суждений об общем деле, к такому-то депутату губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян. Повестка была вручена призванному в залу, совершенно круглому и румяному мальчику, увальню лет пятнадцати. Ему сказано: обойди, а еще лучше, обегай всех господ по селу; дай прочесть бумагу и расписаться и проси к 4 часам к Любовь Павловне; да скажи, что непременно. В повестке прибавлено: «Просят захватить печатные программы, разосланные три месяца назад, и ответы на них, буде таковые готовы». Мальчик, брав повестку, смеялся. Улыбнулись и мы с Говорковым, глядя на его круглые щеки, русую, плотными рядами стриженую голову и жирное, круглое туловище. В открытое окно было видно, как этот толстый Меркурий перебежал сад, не без труда вскарабкался на колючий плетень и перевалил через него в сочную и густую траву чьего-то соседнего огорода, а оттуда зашагал к темной роще, зеленевшей на той стороне реки...

Нам зевалось. Какое-то блюдо, вкусное, сытное, съеденное за столом, особенно склоняло к дремоте. Птицы пели; листья чуть шушукали. Запахи всякого рода пробирались из сада в окно. Любовь Павловна сидела, тоже задумавшись. Абрам Ильич прямо заснул. Я кашлянул. Мы извинились перед хозяйкой, запросто попросили позволения соснуть и, тыкаясь носами в дверь, пошли в коридор...

— Как же-с, и комната готова, — заметила кротко хозяйка, обратив к нам совершенно сонные глаза, — кстати, и другие подоспеют тогда!

Мы очутились в темной и прохладной комнате, с запахом имбиря и чуть ли не калганного корня, выходившим из какой-то конторки; нащупали перины, подушки и завалились спать.

Два, чуть ли даже не три часа мы спали. Ни луч света, ни жужжанье назойливой мухи не прерывали сна. Имбирь и калган приятно щекотали обоняние. Тишина в доме кругом была невозмутимая. Я помню, что заснул, все обдумывая впотьмах: «Откуда проникают эти запахи? Из шкапа, или это наливки стоят где-нибудь на полках, или на печке вверху, и пахнут...» Глаза как-то сами собой раскрылись у меня первого. Гражданские заботы возникли в уме. «Как же это? — рассуждал я впотьмах. — Сведения комитету нужны скоро, особенно о мелкопоместных; а эти господа, кажется, и не думают о важности их составления».

— Абрам Ильич! — шепнул я. — Абрам Ильич!

Говорков очнулся.

— А? Что? — спросил он.

— Не пора ли вставать?

— Нет, поспим еще. Никого что-то пока не слышно. К чему же...

Сон опять стал меня одолевать. Но под окном загоготал гусь, а потом петух затрубил, как военная труба, и мы встали.

Светло и весело встретила нас опять та же зала, с картинками и гарусными подушками. Только вместо собачки по полу уже ходили две галки, в сафьянных панталончиках, сережках и, по остроумному соображению, для чистоты, с ситцевыми мешочками под хвостом.

— Вот, — заметил Говорков, зевая во весь рот, — губернскому предводителю грозят, что крайний срок подачи сведений для комитетов не будет отсрочен, а Любовь Павловна перед такой реформой мешочки под галок подвязывает!

И он опять зевнул, за ним и я.

— А что? — спросил Говорков. — Я думаю, парижские и лондонские публицисты никак не воображают, чтобы дело у нас так делалось, чтобы мы, положим, так зевали?

— И я думаю то же...

Мы опять зевнули и расхохотались. Никто не являлся в залу. В открытое окно к стороне двора было видно только,

как два каких-то мальчика, игравшие перед тем в бабки, спали, раскинувшись на земле, а престарелая комнатная женщина, сидя у амбара на земле, спала, держа в руке недовязанный чулок с прутками и, развеся губы, клевала седой головой.

— Что ж тут делать? — спросил я. — Соседи не собираются, да и хозяйки нет, а время уходит. Скоро и вечер. Завтра надо еще в три места ехать. Что нам делать? Ведь все это спит, Абрам Ильич, спит вся деревня, как в сказке.

— Спит, да еще как! Слышите?..

Из коридора в это время послышался тоненький, очевидно женский, хотя довольно забористый храп: звуки вылетали из комнаты самой хозяйки.

— Надо готовить астролябию, — сказал сердито Говорков, — хотя одну или две усадьбы обойдем и нанесем их на план.

Мы отправились к нетечанке, достали ящик с астролябией, разбудили мальчиков, спавших под сараем, и отрядили их добыть кольев. Старушка под амбаром спала по-прежнему. Мы пошли в сад. Перед нами, с обрыва над рекой, открылась вся разнообразная и живописно-пестрая картина Сорокопановки. Вот ряд мельниц по косогору. Вот хатки и домики, враскидку, бочком и спиной одни к другим, разделенные садами, оврагами и просто площадями зеленых пустырей, величиной в иное хуторское поле. Волы, коровы и лошади ходили по этим пустырям. В одном месте, среди села, паслось целое стадо овец; в другом кто-то запахал полплощади под гречиху и на неогороженной пахоте уже всходила зелень. Толстые, дряблые и совершенно лысые от дородности свиньи шатались привольно по всем углам села, тыкаясь в калитки и почесывая спины у крылец и окон. Стаи голубей носились в безоблачном небе. На три или на четыре версты раскидывалась во все стороны любопытная Сорокопановка, село не село, посад не посад и город не город, а всего этого понемножку...

— Ну, долго же этот мальчишка-посланец будет обходить с повесткой господ здешних обывателей! — сказал Говорков. — Я думаю — просто спит где-нибудь на дороге, под забором!.. Каково? — продолжал он. — Ни души не видно — все спят! Смотрите, где же тут дождаться кого-нибудь на нашу сходку?

И в самом деле, несмотря на близкий вечер, Сорокопановка была еще царством мертвых. Кое-где только заливались криками горластые петухи, да дюжины две индеек в чьем-то огороде прерывали общую тишину дикими возгласами.

— Вот если бы, — сказал Говорков, — какой-нибудь французский миссионер случайно забрел сюда и не знал, что это Россия, он прямо сказал бы в своих записках, что был в таком-то селе Верхнего Кианга, Соро ко-панчун-ху... И свиньи даже напоминают про Китай!..

Явились мальчики, отряженные за кольями. За ними со двора показалась и Любовь Павловна. Протирая глаза и с подрумяненными от сна щечками, она, слегка зевнув и закрыв рот белой ладонью, подошла к нам, когда мы ставили астролябию и наводили ее на угол ее усадьбы.

— Что это? Вы уже и за работой! Ах, что значит неутомимость! — начала Любовь Павловна. — Это не то, что мы.

— Долг требует! — сурово заметил Говорков, копаясь у кольев и неистово вколачивая их в землю.

— Вот, мы начнем с вашего уголка, Любовь Павловна! — сказал я, наводя вехи далее к усадьбе священника, а за ним некоего подпоручика Свербеева.

— Ах, как же это? — проговорила Венцеславская, шагая за нами вдоль плетня. — Не освежились! А я велела вынести сюда и варенья.

Мы вышли на улицу. Мальчики ставили вехи, тянули цепь; Говорков отмечал углы в записной книжке. У дома священника надо было взять вправо и вести вехи по краям огорода Любовь Павловны. Тут вышел сам отец Павел.

Поглаживая лысину, он молча нам поклонился и с недовольным и пристальным любопытством смотрел на вехи. Подоспела и Федосья с подносом. Мы наложили на блюдца варенья и стали есть.

— Что это, Любовь Павловна, прошлогоднее? — спросил отец Павел.

— Разумеется, прошлогоднее! Где же еще быть новому!

— Эх, брат, да говорят тебе — левее, — ворчал между тем Говорков, направляя парня с вехами. Он свернул за тополя, огибая усадьбу Венцеславской.

Когда мы с блюдцами в руках, облизываясь, немного позамешкались с отцом Павлом, начавшим рассказывать, что вот у каких-то Андреевых дети в сыпи, Говоркова окружили новые лица.

Седовласый и толстый старик, едва передвигая ноги, подошел к астролябии, уставя на нее отекшие щеки; какая-то низенькая, коренастая, круглая дамочка в черном коленкоровом платье и таком же чепце, с огромной нижней почти коровьей губой и серыми глазами навыкат, ходила тут же, с палкой, судорожно подергивая на руке ридикюль, из которого торчали бумаги. Другая дама, в голубой полинялой шляпке, бледная, но с черными южными глазами и черными густыми бровями, стояла также в этом обществе, будто попав сюда невзначай. Это были старик Свербеев, дамы — известная уже Трагедия и Комедия.

А между тем вдали стали показываться и другие лица. С горы от мельниц шли: неслужащий дворянин Чубченко, с неслужащим же сыном Чубченко-младшим, оба с виду простые мужики, в простых мещанских свитках и с длинными бородами. От моста близ реки отделилась группа новых дам, предводимых огромного роста усатым господином, в красной рубахе, ополченских сапогах и с эспаньолкой. По хлыстику в его руках, а более, разумеется, по эспаньолке, нельзя было не узнать в нем общего вздыхателя и сердцееда. Все эти лица молча подходили, едва нам кланялись и, перешептыва-

ясь, останавливались в стороне. Все с подозрительно недоверчивым вниманием следили за нашими действиями.

Так, я думаю, следили японцы отважных моряков, некогда смело отводивших себе квартиры в недоступных дотоле Иедо и Нагасаки; так и индейцы времен Кортеса встречали белых пришельцев на берегах своих заповедных рек...

Работа шла своим чередом. Никто по-прежнему не рекомендовался. Солнце обливало даль, сады, кровли домиков и нас самих яркими лучами.

Первый отозвался подпоручик Свербеев.

— Па-а-звольте-с! Вы, кажется, не так угол взяли! — заметил он Говоркову.

— Чего-с? — свирепо огрызнулся Абрам Ильич, подняв от колышка налитое кровью и озлобленное лицо.

— Надо взять вот как... Когда я был в плену у Шамиля, он попросил меня снять вид своего гарема... Ну, я и снял.

— Может быть, может быть! — возразил со вздохом Говорков, докидывая последний угол.

Группы оживились.

— Вот трудолюбие! — отозвалась Венцеславская.

— Да-с! — подхватил чей-то женский голос. — За жалованье можно!

Сказавшую поспешно остановили. Свербеев принялся помогать Говоркову. Пошла общая беседа. Из ворот Дарьи Адамовны Комедии вынесли стулья; кое-кто сел. Явился ковер, несколько лавок. Все сели. Новые знакомцы к нам присмотрелись, стали разговорчивее.

— Да не выпить ли, господа, тут же и чаю? — спросил кто-то из толпы.

— Отлично, отлично! — отозвались голоса.

Пошли за самоваром и за чашками. Дарья Адамовна Трагедия побежала за сливками.

Все уселись с печатными программами вокруг стола. Чернильница отца Павла поставлена передо мной, явились перья и бумага.

— А что, господа депутаты, — сказал Свербеев, — мы люди простые, где нам постигать ваши статистические тонкости. Вы нам диктуйте, а мы будем писать...

Я улыбнулся.

— Этого нельзя!

Венцеславская разливала чай; какая-то девица курила папиросу за папиросой. Все приумолкли. Я объяснил данные мне от комитета инструкции.

— Что, господа, откладывать! Берите перья. Пишите в клетках против ревизских душ, сколько у кого крестьян и сколько дворовых.

— Да у нас почти у всех одни дворовые...

— Так и пишите, дворовые.

Все написали; пошли толки. Павлова-Трагедия объявила, что у нее всего одна душа, мужского пола, отличный повар, но что он уже два года содержится в губернском остроге и что она его показывает теперь потому, что он больших достоинств и что она надеется получить за него выкуп. У Павловой-Комедии по ревизской сказке оказалось другое любопытное явление: у нее было три души женского пола — бабка 50 лет, дочь ее 28 и внучка 14, хотя первые две значились *незамужними*.

— Теперь, господа, сколько у кого грамотных? — отнесся я. — Какие вам платят оброки, сколько у кого недоимки и во что обошлось кому обучение ремеслу или мастерству ваших дворовых?

Написали и это. Свербеев, между прочим, хватил, что ему обучение кузнеца обошлось в 1000 рублей серебром...

— Бога вы не боитесь, Сысой Иваныч, — усмехнулась Павлова-Трагедия, заглянув в его бумагу, — ну, где же тысячу? Да ваш Парфенка обучался за харчи...

— Ну, так сто рублей! — смягчился, глядя на меня, Свербеев.

— Пишите тридцать целковых, и баста! — отрезал отец Павел. — И то широковато.

Свербеев молча вписал в клетку 30 и вздохнул. Между тем Дарья Адамовна Комедия задвигалась по стулу, собираясь что-то сказать.

— Что вам, сударыня? — спросил я.

— Я, право, не знаю, как тут быть, — сказала она, — две ревизии сряду у меня люди были показаны при сорокапяти десятинах земли, а у меня земли, кроме усадебной, нет уже давно, более двадцати лет, ни клочка...

— В острог, матушка, в острог засадят! — бухнул Свербеев, подмигивая на остальных.

Число господского и крестьянского скота, количество земли пахотной, сенокосной, лесной и выгонной также было записано примерно. Все справлялись друг у друга, вписывали и не заметили, как в полчаса с небольшим главные статьи программы были решены.

— Перейдем теперь к оценке полевых и усадебных участков, — сказал я, — а также к настоящему положению.

Все стали в духе. Беседа не умолкала.

Вечер лил потоки огней и, казалось, не хотел сходить с неба. Даже обе Павловы повеселели и дружно разговаривали.

— Вы, Сысой Иваныч, первый назначайте: по чем кладете десятину пахотной земли? — спросил отец Павел Свербеева.

— А по чем? Меньше нельзя, как сто целковых: ведь это на вечные времена отходит.

— Как сто?! Полтораста!!.. — отозвался чей-то голос, и все за ним зашумели, и никого уже нельзя было расслышать.

— Меньше двухсот нельзя! — до охриплости и с пеной у рта кричала не замеченная до тех пор, совершенно сморщенная старушка, без единого зуба во рту и с черным зонтиком. — Нельзя! Как можно, и того мало... и того... Ведь это наше, наше. Да говорят же вам — наше! Триста... Меньше трехсот нельзя!

Она расплакалась.

— Полноте, где же слыханы такие цены, — сказал я, — вы на себя накличете беду, вызовете недоверие правительства...

Встал Свербеев.

— Нет, уж па-а-звольте; вот, например, мой хлыстик: он стоит в лавке целковый — да купец-то может за него просить хоть пятьдесят. Спрос меры не знает. Когда я был в плену у Шамиля, он один раз и говорит: что, говорит, можно взять за этот архалук?..

— Ну, пошла коза на базар! — возразил священник.

Все были в замешательстве.

Я пустился объяснять, как ценится земля. Все соглашались со мной. Но цену требовали все-таки невозможную. Уже в сумерках помирились на 75 целковых.

— Заседание закрывается! — сказал я, раскланиваясь. — Завтра надо будет по планам определить величину усадебных участков каждого. Абрам Ильич займется этим с утра и к обеду все кончит.

Все встали, удивляясь, как это скоро все кончилось.

Все начали наперерыв приглашать меня и Говоркова, кто на ужин, кто на ночлег, кто на все время пребывания нашего в Сорокопановке на квартиру. Но мы отказались, не желая обидеть прежней хозяйки, Венцеславской, не покидавшей меланхолического выражения своего маленького лица. Все изъявили желание провести нас до ее дома. Месяц взошел и обливал ярким светом сады и тихие улицы. Соловьи пели, прерывая наши толки о содержании дворовых, о их одежде и обуви и о ценности усадеб. Дарья Адамовна Трагедия распространялась о стоимости серых штанов для повара Терешки, а неграмотный Чубченко-сын — о ценности башмаков и юбок отцовских работниц. Вечер закончился катаньем по реке на лодке отца Павла, причем Свербеев не преминул заломить фуражку с кокардой набекрень и затянуть волжскую песню, а потом вклеил рассказ о катанье на лодке по какой-то реке у Шамиля. И когда отец Павел сказал за-

просто: «Врешь, Сысой Иванович, на Кавказе таких рек нету!» — подпоручик прибавил: «Есть, хотя мы еще до них не доходили!»

Блаженные, тихие уголки! Свербеева вообще слушали не без любопытства. И никто во всей Сорокопановке (не перечь только отец Павел!) так легко не разъяснял европейской политики, не мирил и не ссорил Австрии с Францией и Англии с Италией, как Свербеев. Решили на реке, что вернейшая цифра стоимости годового содержания дворовых с души будет высшая 40, средняя 20 и низшая 10 рублей серебром в год.

— А как вдруг по сорока целковых велят нам платить дворовым в год, если мы это подпишем? — робко спросила Павлова-Комедия.

— Ну, что же, и будете! — сказал, усмехаясь, Свербеев. Общество смолкло и погрузилось в думу.

— Э, господа, — сказал подпоручик, — советую, пишите больше, а то еще скажут, что вы морили людей голодом!

Мы распростились с остальными и ушли в усадьбу Венцеславской, где снова улеглись в знакомой комнатке с запахом имбиря и калгана. Кто-то постучал в окно — я отворил его.

— Вы потрудитесь, — сказал с надворья Свербеев, — завтра назначить сходку здешним дворовым, надо им пояснить, чего им ждать и кого слушать.

— Таких сходок в наших инструкциях не положено, — отвечал с кровати Говорков.

— Нет, как уж хотите, а я их вам соберу, — настаивал у окна Свербеев, — смотрите же, поговорите. Боньнюи!.. — Он ушел. Имбирь и калган скоро нас усыпили.

Было совсем светло, когда я открыл глаза. Говорков сидел, сгорбившись, против света и, держа у самого носа конец гусиного пера, свирепо чинил его, отхватывая ножом огромные куски.

— Вот, — говорил он, — и толкуй! Да тут такой хаос, что и не приведи Господи!

— А что такое?

— Да вот вам-то хорошо, а я с зари возился, но хоть плюнь...

— Что же именно?

— А то, что в этих усадьбах сам черт ногу сломает. Обошел я, представьте, всю дачу сорокопановскую, чуть солнце взошло. Что же бы вы думали? Спросишь: покажите, где границы вашей усадьбы, двора, сада, огорода? А они в ответ: «То мое, что видите, да и то, чего не видите и что перешло вон туда, это его проклятый отец отмежевал насильно, и об этом мной уже прошение подано!» И пошло: хвост одной усадьбы влез в бок другой, сад этого втемяшился в огород того, а посреди их всех уселся колодец или свиной хлев третьего. Как тут их усчитать? Все переплелось и спуталось. Жили прежде бесспорно, а теперь, как пошло дело на объявление прав, так на стену лезут. Чубченко грозится жаловаться на Свербеева и на меня, Павлова-Трагедия даже с поленом за каким-то Никищенком по улицам стала бегать, носится с бумагами и тычет мне под нос. Ходят толпами, на плетни влезают и смотрят, что я делаю. А двое под рукой объявили напросто, что поколотят всякого, кто их обмерит.

— Ну, и что же вы?

— Приблизительно прикинул всякую усадьбу, и баста. А там пусть они же сами окончательно определят свои границы.

Мы вышли в залу. Хозяйка сидела за чайным столом. А по полу уже ходили и галки с мешочками, и куцая сорока, и параличная болонка. Не успели напиться чаю, как явились жареные в сметане перепела, форшмак из карася и селедок, яичница с ветчиной и еще что-то.

— Однако пора бы и дальше, — сказал Говорков, распуская под сюртуком на спине запасные пряжки, — но что-то господа обыватели нейдут.

— Да вот и они! — сказала хозяйка, глянув в окно.

Вчерашние наши знакомцы вошли снова и чинно сели в зале. Всех набралось человек двадцать.

— Программы готовы? — спросил я, обращаясь ко всем.

— Готовы.

— Абрам Ильич! Потрудитесь внести в список имена представивших.

Свербеев тоскливо взглянул на Чубченко. Тот повел плечами.

— А крестьян скоро у нас выкупят? — спросил Свербеев.

— Мне неизвестно.

— Полноте нас морочить! Мы не дети...

— Как решит комитет и как утвердят выше, — прибавил Говорков.

— Ну, а барщина по-прежнему будет три дня на крестьян и шесть дней в неделю на дворовых?.. Ведь у нас все дворовые, — отнеслась Венцеславская, тоскливо ловя мои взгляды.

— Не знаю и этого. Все дело решит губернский комитет...

Младший Чубченко перешел на цыпочках к старшему и что-то сказал ему на ухо. Они размахивали руками.

Свербеев долго и упорно чесал у себя в затылке и сопел, ворочая налитыми кровью глазами. Наконец он подошел ко мне, взял меня за руку и сказал:

— Bien merci, за все — за все... мерси-с... Но позвольте на пару слов...

Отведя меня в соседнюю комнату, он сказал: «Ничего, ничего», запер дверь, опять подошел ко мне, хотел что-то сказать, кашлянул и не мог выговорить ни слова. Руки его дрожали, лицо было в поту. Глаза смотрели в землю.

— Экуте, — начал он, оглядываясь, — нас никто не видит! Я человек прямой... Без тонкостей... Скажите всю сущую правду, что там с нами будет? Я никому не скажу! А нам нужно. Откройте по секрету... Экуте — между честными людьми.

— Да говорю же я вам, что ничего не знаю... Ведь я выборный, ваш же дворянин...

— Ну... экуте!.. Полноте — я вам...

Свербеев сунул руку в боковой карман сюртука.

— Вот... благодарность... помилуйте, между нами... это приношение всего нашего общества, — прошептал он, дрожа и красный, как рак, сжимая мои руки.

Я рассмеялся, отвел его руки.

— Или мало? — спросил он, еще более смешавшись.

— Полноте; не стыдно ли вам! — сказал я, отступая к двери. — Я ваш же товарищ! Клянусь вам, я ничего более не знаю... Честью вам клянусь.

Свербеев быстро сунул опять руку в карман, круто повернулся на каблуках, вышел в залу, и я видел, как он свирепо махнул головой в направлении ко мне, как бы говоря: «Не поддается, христопродавец!»

Собрание встретило меня с отменной сухостью.

— Итак, вы ничего нам более не скажете? — спросила Венцеславская.

— Ничего, к сожалению...

Подпоручик между тем, оправясь и презрительно стукнув ногой, дерзко ходил по зале, шагая перед самым моим носом. Хозяйка хотела было начать веселый разговор, но Свербеев обернулся к остальным и сказал: «Что же, господа! Здесь нам более нечего делать. У! Тончайший человек». И он с судорожным смехом развел в мою сторону руками.

Положение мое делалось невыносимо. Все стали раскланиваться. Я отвешивал усердные поклоны.

— Па-а-звольте, однако! — отозвался опять Свербеев. — У отца Павла, если угодно, во дворе собраны здешние крестьяне и дворовые. Поговорите с ними. Мы просим вас.

— Право, господа, незачем... Ну, что же я им буду говорить? Не время еще, ничего еще не решено!

Говорков кивнул мне пальцем. Я подошел к нему.

— Позвольте мне поговорить за вас; я поговорю! — сказал он шепотом.

— Ну, извольте! Пойдемте! — сказал я вслух и взял шапку.

Мы пошли всем обществом. Венцеславская, провожая нас с крыльца, из-за кучи птичьих клеток, объявила, что рано еще уезжать и что нам следует остаться отобедать. Лошадей наших уже запрягли, и мы отказались, благодаря от души хозяйку. Садом мы пошли к усадьбе священника. Из-за плетня мы увидели толпу крестьян, человек в пятьдесят. Священник в подряснике ходил перед ними и что-то им объяснял. Дворяне презрительно остановились в стороне. Свербеев, с иронической улыбкой косясь на меня, издали помахивал хлыстиком и крутил усы. За ними следовала уже запряженная наша нетечанка.

— Ну, — шепнул я Говоркову, — что же ваша речь? Пора уж ехать!..

Говорков обдернул фалды своего сюртука, ступил шаг, кашлянул, глянул в землю и, как-то странно пискнувши, начал:

— Что, ребята, верите ли вы мне?

Ответа не было.

— Я вас спрашиваю, верите ли вы мне и тому, что я скажу? Иначе не стоит и слов терять.

Двое из переднего ряда крестьян усмехнулись. Остальная толпа хранила молчание. Все, держа в руках шапки, смотрели вниз. Это были большей частью дворовые, бобыли бобылей, то есть батраки мелкопоместных. Лица угрюмые, притупленные от лени и праздности. Одежда у всех была сборная: у иного тулуп, у другого ополченский поношенный кафтан с нумерованными пуговицами; у кого белая рубаха, с гребешком на веревочке, у кого дырявая свитка или порыжелый плисовый жилет. Здесь же стояла плечистая сердитая баба, в сапогах и в старом кучерском армяке.

— Верим, говори! — робко сказал моложавый, широкоплечий парень в кожаном фартуке, нечто вроде кузнеца или скорняка. — Отчего не поверить — на то ты прислан, ваше благородие.

— Ну, так слушайте же! — сказал Говорков, усиливая голос. Крестьяне сдвинулись теснее.

— Давно уже, ребята, — продолжал Говорков, — давно у вас идут толки о вольности. Не так ли?

— Еще бы! — послышалось среди дворян.

— Ну, так знайте же, что господа сами хотят вам дать вольность. Да надо только подождать... В России пятьдесят да и с хвостом еще губерний, а в губерниях по 10 и по 15 уездов. Ну, и советуются теперь все эти пятьсот уездов, как бы дело вышло получше.

— Ну, а метла на небе, звезда-то, что по вечерам видна, что значит? — спросил из толпы седой, как лунь, старик. Ему не дали договорить и удержали его за полы...

Абрам Ильич не умолкал. Его слушали внимательно. Отец Павел, надев очки, что-то торопливо приискивал в раскрытом на подоконнике Евангелии.

А солнце светило ярко и вместе безмятежно. Петухи и другие птицы затихли и будто также внимали неслыханным речам Говоркова. Тучка набежала на солнце. Прохладная тень надвинулась на луга и на половину села, с зеленеющими на берегу и далеко видными усадьбами Павловых. За церковью раздавалось серебристое ржанье жеребенка, искавшего потерянную им среди огромных сельских пустырей мать.

Часа через два крестьяне разошлись, молча, не глядя друг на друга и долго не надевая шапок. Слова Абрама Ильича их как-то озадачили. Парень в кожаном фартуке особенно долго не мог угомониться. Он стоял на бугре, среди улицы, провожал глазами остальных, и мысли его, казалось, были далеко-далеко...

— Что, Абрам Ильич, о чем думаете? — спросил я Говоркова, когда мы выехали из Сорокопановки.

— Скверно на душе! — ответил мой спутник. — Никого, кажется, не обидел, а что-то так неловко, так неловко...

1859 г.

ФЕНИЧКА

I

Школа

> Вы осмотрелись и видите, что вы в юбке. Прическа головы, передник, талия и все в порядке. Вы очень довольны, что вы не мальчик, и делаете книксен.
>
> *Вопросы жизни Пирогова*

> — Где остановился Ноев ковчег?
> — На Арбате...
>
> *Сцена на экзамене*

Случилось как-то в одной из южных губерний губернскому предводителю дворянства заехать в бедный выселок, на перепутье с какого-то званого пира. Пока кучер выбивался проселком напрямик, собралась сильная гроза. Небо обложило тучами. Не успела карета поравняться с дверью низенькой мазанки, а довольно тяжелый сановник вскочить в сени, как дождь хлынул и гром раздался у самых окон. Заходила ходуном бедная мазанка, и захлопотался при виде высокого посетителя старик хозяин, отставной или, собственно, уволенный без прошения из соседнего суда, протоколист Басорский. «Ах ты, Боже мой, Господи!» — воскликнул он, мечась без толку в темной каморке. С трудом напялил он зеленоватый сюртук с бронзовыми пуговицами, провел ладонью по бороде,

усеянной седой щетиной, тяжело вздохнул, застегнулся на все пуговицы и с трепетом явился к его превосходительству.

— Кто там?

— Это я, ваше пр-ство! Хозяин!

— А! Ты откуда?

— Здешний, тут и родился-с...

Слуга под шинелью пронес из кареты снадобья для чаю, сигары и французскую книжку. Предводитель уселся к окну. Чтение, однако, не шло в голову. Дождь лил как из ведра; ручьи с ревом неслись под колесами кареты и ногами свесивших уши лошадей.

— Васька! Да где же у тебя глаза-то? — крикнул сановник в окно, указывая пальцами.

Седовласый кучер Васька молча снял попону и укрыл любимую пристяжную лошадь. Подали чай. Хозяйка стерла со стола.

— Много у вас земли?

— Десять десятин, ваше пр-ство! — грустно ответил хозяин, ступив от двери и пощипывая то пуговицу, то назойливые волосы на бороде.

— Гм! Есть еще какие-нибудь угодья, заведения?

— Есть овечки, пара волов; траву косим, корову держим, свиней кормим, кур.

— Что же, это хорошо!

— Где хорошо, ваше сиятельство! Сбыту вовсе нет. Город далеко, дорога большая тоже, сами изволите знать. Вот у нашего заседателя, через речку, лесу тысяча десятин, дубу; цены никакой нет, ну, никакой ровнехонько — так и гниет. По реке бы его хорошо сплавлять. За полтораста верст оглобля полтинник стоит. Так и сидим; как проедет кто-нибудь, получишь там за сено да за чай. А то и на сапоги да на юбчонку жене не хватает...

— Как же ты, чем живешь?

— Перебиваемся кое-как.

— Да, о лесе ты, действительно, верно заметил; по реке его точно хорошо бы сплавлять. Написал бы ты, братец, проект, высшему бы начальству передал...

— Не могу, ваше пр-ство; мне запрещено проекты подавать, подписку взял...

— Отчего?

— По злой судьбе, так выразиться — оштрафован, якобы в ябедах и в составлении кляузных бумаг замешан...

Предводитель на это ничего не сказал.

Буря между тем угомонилась. Гость напился чаю, закусил яичницей, сделанной наскоро хозяйкой, толстой апоплексической бабой в миткалевой юбке и в платке на голове, спросил, прояснилось ли на дворе, получил утвердительный ответ и велел подавать лошадей.

— Ну, любезнейший, чем же мне тебя отблагодарить? — спросил гость, вынимая, хотя еще не развязывая, кошелек. Хозяин в это время явился с подносом.

— Не откажите наливочки! — сказал он.

— А, очень рад! Однако как же насчет платы-то? Что с меня возьмете за сено и за закуску? — все еще улыбаясь и не развязывая кошелька, прибавил гость.

Жена глянула на мужа, судорожно запахнулась платком и, кланяясь, ответила:

— Ничего нам не надо, ваше превосходительство; мы и чести одной довольны, а о вас наслышались — о вашей доброте!

— О, нет, нет, я этого не хочу. Говорите, говорите, что вам надо? Не надо ли места? Я все сделаю, все могу! — ответил гость, пряча кошелек в карман.

У жены при слове о месте дрогнули руки. Из ее памяти еще не выходили те светлые городские дни, когда купцы несли к ней сахар, муку, рогожки, рыбу и все.

Мысль о попытке получить новое тепленькое местечко приятной улыбкой расположилась и на лице мужа.

— Если уж ваша милость, если на нашу дворянскую бедность...

В это время предводитель случайно взглянул в окно...

По прояснившему двору, вприпрыжку по лужам, бежала из соседнего мелколесья девочка, лет семи или восьми, в одной рубашечке, босая и с лукошком каких-то ягод. Не заметив кареты за углом, она разлетелась и стремглав вскочила в сени. Капли сбегали с ее густых, нерасчесанных волос и дрожали на полных, иссиза раскрасневшихся щеках. Глаза внимательно и пугливо остановились на незнакомце.

— Чья это? — спросил предводитель.

— Дочка наша; простите, такая глупая, шаловливая! — ответила мать, делая знаки глазевшей на гостя дочери. — Ушла за ягодами, постреленок, да и промокла.

— А! Очень рад! Привезите ее ко мне, и я ее пристрою. Ты хочешь, девочка, в городе жить?

Девочка закинула за плечи длинные волосы и молча повела глазами из сеней в растворенные на крыльцо двери.

— Ваше пр-ство! Век будем Бога молить! — заговорил отец.

— Ну-да! Ну-да! Вы ее доставьте мне, а там уже я ее пристрою.

С этими словами гость сел в карету, лошади двинулись. А муж и жена долго еще стояли, глядя то на дорогу, то на дочку, и тут же положили, что не надо упускать такого благодатного случая

— Вот, нечаянно-негаданно, — судили они, — Господь дал праздник; теперь уж Феничка наша — отрезанный ломоть. Как там ни говори, а все же со двора долой — с рук долой, и сами сытее будем. Промаячит там, как ни на есть, живучи у больших людей. Еще и денег припасет и нас прокормит. Богатая рука хоть кому помога.

Через месяц Иван Григорьевич Басорский, обитатель уединенного хутора, запряг пару волов, оделся в свою чунарку, взял кулек с закуской и припасенным кстати на базар маслом, посадил с собой дочку и отвез ее в губернский город. Был вечер, лакомка-предводитель воротился с именин от губернатора. Жена встретила его еще в коридоре.

— Что это ты, Павел Романович, затеял? Каких это ты нищих вздумал брать на прокормление?

— Как? Что? — спросил с нежностью муж, давно, по правде, забывший и стоянку на хуторе во время грозы, и свое обещание.

— Да помилуй, там с утра в людской ждет тебя какое-то чучело, с красным носом, и так странно смотрит. Он привез какую-то девочку.

Позвали нежданного гостя. Сановник тем временем, копая зубочисткой в зубах, все уже успел припомнить, и совестно ему стало послушаться супруги, которая настаивала, чтобы скорее этих попрошаек прогнали со двора.

— Хорошо, мой любезнейший, хорошо! Ступай себе, поезжай; твое дело решенное. Ступай, я позабочусь о судьбе твоей дочки! — сказал предводитель, принимая из дрожавших рук просителя бумаги о рождении и крещении девочки.

— Ваше превосходительство, не оставьте!

Иван Григорьевич не распространялся более потому, что, в чаянии разлуки с дочерью, закатил уже порядком за галстук в соседнем кабачке, и наутро, с трудом помахивая на волов, с предводительского двора поехал обратно на хутор.

Девочка приведена к барыне. В ситцевом платьишке, материнском полинялом платке на голове и с загрязнившимися ножками, она не понравилась генеральше.

— Как тебя зовут?

— Химочка...

— Это что такое? — спросила генеральша в нос, оправляя одежду замарашки и относясь к своей наперснице Марфе Кондратьевне, тощей, вдовой и бездетной домоправительнице из вольноотпущенных.

— Это имя у малороссов значит Афимья, Феничка. Притом же, сударыня, какие теперь дворяне у нас бедные! Стыдно смотреть!

Генеральша еще строже взглянула в лицо девочки.

— Грамоте умеешь?

— Умею-с...

— А руки отчего у тебя выпачканы, а?

Девочка с напряженным удивлением взглянула себе на пальцы, потом на бледные, начавшие дрожать губы предводительши.

— Что же ты не отвечаешь? А? Говори же!

— Ах, сударыня, да вы посмотрите, ведь уж это таково заведение, — возразила домоправительница, — ведь у нее и глаза, как у кошки, смотрят. Что ты смотришь так на барыню? У, зверенок...

Домоправительница не кончила. Нервная генеральша глубоко вздохнула, закатила глаза, потребовала капель и, охая, опустилась в кресло. К вечеру девочка была сослана на кухню.

— Я тебя, Павел Романович, не понимаю! — сказала предводительша мужу. — Ну, как быть до того малодушным, без характера, до того флюгером, что куда ветер повеет, туда и ты? Выдумали прежде мыльные пузыри пускать, и ты начал; потом в столицах стали обеды задавать всяким проезжим артистам и знаменитостям, и ты туда же. А теперь ударились все на благотворения, и ты за ними! Да где же твой характер? Это просто смешно и жалко!

Муж стал утешать.

— Да помилуй, душа моя; о чем твоя забота? Твоей заботы быть тут не должно! Пойми меня, и только! Горе в том, говорю я тебе в тысячный раз, что ты никогда не понимала и не хочешь понять ни моих замыслов, ни моих стремлений и идей. (Жена возвела глаза к небу и, вздохнув, сильнее прижала склянку с эфиром к носу.) Нынче век такой! Надо отличать себя в кругу сословия стремлением к добру. Надо поражать, ярко кидаться в глаза. Coup detat, ма шер, во всем! На моем месте от меня требуют, ждут добра...

— Хорошо добро! Разводить нищих! Лучше бы вы подумали об уплате ваших долгов да поменьше в карты с дворянами играли!

— Ну, слушай, эту девочку еще можно взять на руки, это еще дитя природы.

— Смешно и глупо, смешно, и больше ничего! И с чем это сообразно! У самого состояние на волоске, сын в гвардии служит, дочь — невеста и почти на выдаче, а он, как Евгений Сю, по вертепам бедности ходит да подбирает себе членов в богадельню! Паясничество, и больше ничего!

В это время дверь тихо отворилась; с кошачьей улыбкой, чуть трогаясь ковра, вошла и стала у порога Марфа Кондратьевна.

— Что тебе, Марфуша?

— Там, сударыня, эта девочка, которую их милость приказать изволили оставить на кухне, просто на стену лезет: ревет ревмя, как батрак какой. Просто удержу нет, и как бы еще чего дурного не сделала!

Барыня выразительно взглянула на мужа.

— Вот тебе и стремление к добру, и дитя природы! (Домоправительница, постояв немного и не замечая к себе участия, вышла.) Слушайте, милостивый государь, — сказала, даже вскочив на кровать, супруга, — я не желаю, я не хочу чтоб эта дрянь тут оставалась долее; сейчас ее вон! Слышите ли? Сейчас!

Муж, уже зная насквозь свою жену, тоже не отличавшуюся знатным происхождением, мало обратил внимания на это едкое восклицание.

— Посуди хладнокровно, — сказал он, потирая лысину, — ее можно отдать в пансион. Пять лет она там пробудет: двести целковых в год, и того тысяча. Пансион мадам Бареж — очень хороший пансион!

— Да это курам на смех! У тебя нет тысячи целковых на карету для дочери, на рояль, а ты бросаешь в грязь! У тебя сын без порядочной верховой лошади; долг в опекунском совете за два года не заплачен!

Муж задумался. Наконец, нагнулся к уху жены и шепнул ей:

— Ну, что же, душа моя, делать? Срок мой исходит; скоро новые выборы. Надо во что бы то ни стало пустить в ход какое-нибудь благотворение в пользу беднейшей части

сословия! Об этом заговорят, и дело в шляпе. Судьба этой девочки должна быть устроена, и я ее устрою.

Прошло несколько дней. На таинственных совещаниях в спальне было положено замарашку одеть и приготовить к поездке. Предводительская дочка, напыщенная и гордая барышня, тронутая слегка оспой, сидевшая с утра за фортепьяно, которое, впрочем, как-то ей плохо покорялось, и надменно-молчаливо выходившая к гостям, что не мешало ее лицу украшаться еще отменно-некрасивыми угорьками на лбу и на носу, взялась за снабжение ее платьем. Из старой распашонки, с обильным запасом ругательств, переделан мешковатый наряд, куплены козловые башмаки. Волосы заплетены косами и перевиты бархаткой, в руки дан носовой платок.

— Ты умеешь читать? — спрашивала предводительская дочка.

— Умею.

— А молитвы знаешь?

— Знаю.

— Кто же тебя учил читать?

— Горихвостов Петр Михайлович, сосед наш; а папеньке все некогда было!

Посадили Феничку в экипаж, с предводительским секретарем, и повезли по широкой улице. Дело в том, что предводитель, по старому знакомству и новым отношениям, был дружен с директрисой местного благородного института. Старушка была у него в долгу за какую-то значительную услугу с его стороны перед губернатором и, как рассудительная женщина, ждала только случая отблагодарить его. Он написал к ней, что высылает на ее заботы, для помещения в «благодетельное для сирот учреждение», бедную девочку-дворянку, дочь «престарелого», «немощного» и «заслуженного отставного чиновника» его губернии, девочку, просто чудом открытую им среди страданий убогой семьи в одну из его поездок по службе, по беднейшим закоулкам края. У директрисы случилась свободная вакансия, и девочка была тут же принята и

записана в первый детский класс под именем *Евфимии Ивановной Басорской*. Новая ученица вошла под кров опрятного, щегольского, красивого здания, с золотой надписью. Утро стало сменяться вечером, уроки рекреациями, прогулки репетициями. Много сменилось косыночек, износилось чулок и передничков. Детство уступило место отрочеству, отрочество юности. Там прибавилась округлость, здесь увеличена мерка платья, там зашевелились неясные грёзы. Из ребенка незаметно стала взрослая девушка...

А между тем, пока совершилось десять узаконенных лет, много судеб прошло и вне ее места воспитания. Предводитель вскоре был не избран, уехал в огорчении в деревню, где и скончался от удара, среди долгов, на руках жены и дочери. Его место увидело трех новых преемников. О девочке Басорской забыли все. Да мало думали о ней и собственные ее папенька и маменька. Знали они, что куда-то по милости генерала в науку отдана их дочка, а куда именно и в какую науку, они, грубые люди, даже хорошо и не дознавались. Матушка, здоровенная баба, по-прежнему возилась с утра до позднего вечера, доила коров, варила обедать и ужинать, яростно скребла ножом белый липовый стол, чистя хату перед праздниками, ткала зимой холсты, пряла, откармливала и продавала свиней, по праздникам молча с мужем напивалась до омертвения или отправлялась «повеселиться» к такой же охотнице до хмельного, к куме-мещанке, в соседнюю вольную слободу. Муж во всем оказывался слабее, хотя также с грехом пополам хлопотал по хозяйству, ходил дома в простой свите, задавал корм волам, смотрел за пасекой, молол хлеб на мельнице, ездил по разным надобностям по соседству, но более шатался по уездному городу, стряпая потихоньку желающим просьбы и апелляции и при этом, разумеется, также усердно служа Бахусу. Когда ему и жене соседи говорили: «А что, где же ваша дочка?» — они отвечали: «Э! На свете не без милости добрых людей; выйдет из науки, нам же подмога будет!»

Между тем, как сказано, прошло десять лет, и Феничке приходилось покинуть науку. Отца по почте уведомили от института, что дочь его кончила с отличием курс учения и чтобы он за ней приехал или, если пожелает, оставил бы ее, по уставу заведения, еще на несколько времени в пепиньерках при институте. Насилу отыскала бумага за печатью заведения уезд, волость, глухой хутор и в хуторке, в бедной мазанке, самого Ивана Григорьевича Басорского. Старик стал искать очки. Оказалось, что руки его в эти десять лет приобрели еще более дрожания. Напялив на нос оловянные очки и вскрыв пакет, он прочел письмо сначала про себя и потом жене.

— Вот еще что! — говорила мать. — Учили, учили, и опять учить! Слава тебе, Господи, уж теперь невеста; в Филипповку будет восемнадцать лет! Мне будет помощница! Вот левая рука да и нога у меня, тоже левая, совсем как из дерева стали. Паралич, что ли, подбирается! А тут нужно подати платить! Где без помощницы обойтись, и не думай этого, и не гадай! Не у нас, так за хорошего человека замуж отдадим!

Муж, не замечавший до этого, чтобы жене нужна была помощница, не прекословил. Потолковали и с соседями. На волах за барышней было положено не ехать, потому что это совестно и на смех поднимут. А когда доходу в год всего пятьдесят рублей ассигнациями, за вычетом того, что проживешь, то на лошадей не кинешься. Решили Ивану Григорьевичу дойти пешком в «губернию», а там нанять «будку» у жида и привезти Феничку домой, на покой. Иван Григорьевич завязал в узел платка три целковых на наем жида, взял мелочи про запас, для выпивки дорогой, перекинул через плечо шинель и сапоги и пошел в путь большой дорогой, в губернию...

Тем временем Евфимия Ивановна была в раздумье. Годы воспитания в светлой шумной школе мелькнули для нее незаметно. Она даже ни разу в этот срок не написала домой и только теперь мысленно стала решать вопрос, как она поедет домой и как встретит отца. Из маленькой замарашки

она стала уже рослой, стройной девушкой, с полными белыми плечами, которые так и рвались из-под зеленого платья, с густой каштановой косой и карими глазами. Она уже отлично танцевала; красиво и ловко кланялась; ходила, точно лебедь белая по синю морю плавала; шнуровалась в рюмочку; знала она русскую литературу до Пушкина, по руководству Греча. Писала очень мило по-французски, в классных упражнениях, на предметы о восходе солнца, о трех розах и о значении Шатобриана в искусстве. Декламировала из «Федры» Расина и умела делать при публике физические опыты над электрической машиной и воздушным насосом. От подруг заслужила имя «душечки Фенички» и «божества», прошла с ними усердно период поедания «грифелей», «мелу» и испивания «уксуса» и, готовясь к выпускному экзамену, разделила с ними также усердно человечество на «противных штатских» и «обворожительных военных», что не мешало, впрочем, ей с ними «обожать» подслеповатого и чахоточного учителя русской словесности, у которого бледные ланиты в классах постоянно пламенели, и «презирать» учителя математики, седенького старичка с подагрой, несмотря на то что он был из военных. На публичном испытании Феничка Басорская играла в четыре руки с княжной Раисой Вонзковской, из соседних западных губерний, громкий и ослепительный концерт Тальберга. Потом она одна, в числе двух других солисток, пела «Гимн» на слова: «Где вы, где вы, дни нам милы?», сочиненный на случай одним городским статским генералом, славившимся подписями к портретам разных сановников, и увлекла всех своим густым звонким и широким сопрано. Учитель музыки, худенький черненький человечек в золотых очках, млел при этом от удовольствия и, совершенно теряясь, направо и налево лепетал о ней полузнакомой публике бессвязные похвалы. Когда пришел срок, громко прочитали ее имя в числе других девиц: Евфимия Басорская получила шифр и похвальную книгу...

Но не это, собственно, занимало все языки. Горожане и толпы съехавшихся к выпуску родных узнали целое драма-

тическое событие, эффектная сторона которого тотчас ярко бросилась всем в глаза и увлекла всех. Пронеслась весть, что за этой хорошенькой девицей, которая так мило пела институтский гимн, престарелый отец-хуторянин, седовласый старец, пришел за несколько десятков верст пешком. По неизвестной причине у всех в уме мелькнули тотчас образы Эдипа и Антигоны. Когда Иван Григорьевич, гладко выбрившись в цирюльне и выпив с колбаской в соседнем кабачке стакан забористого травнику, вошел в залу, где происходило еще какое-то последнее испытание, род педагогической беседы, изобретения учителя математики, из семинаристов, все глаза и лорнеты обратились на него, на его седую голову, потертый сюртук и красный нос. Дамы стали сильно шушукаться и приходить в волнение. Локти и шали задвигались под мерные вопросы экзаменатора: «А что приличнее в свете гражданину и гражданке? А к чему нас долг ведет, когда мы впадаем в грех и преступление?» Многие даже перезнакомились тут же в зале, без чего прежде только холодно оглядывали друг друга с головы до ног или небрежно через плечо. «Вообразите, моя милая, у этой Басорской, говорят, нет даже теплого капота, чтобы уехать». — «Говорят, у ее отца всего десять десятин земли и одна корова». — «Жена его сама есть варит!» — «Э! Это бы еще ничего! Но она, бедная, сама этого не знает и не сознает; восьми лет ее увезли из дому. Бедная, бедная!..» Из этих толков составилось то, что так особенно любят составлять барыни. Был пожертвован теплый капот, несколько белья и башмаков. Не забыты были и два, довольно ловко сшитые, хотя и поношенные, платья: одно букмуслиновое, с пелеринкой, а другое гроденаплевое, с воланами. Жертвованные вещи сыпались щедро. Некоторые самолюбивые дамы даже впоследствии усердно просматривали номера газет, тайно отыскивая, не припечатают ли где-нибудь их имени за посильные приношения на пользу ближних. Замешали даже какого-то откупщика, который до того времени сидел только за счетами и весьма безграмотно подписывал свое прозвание, а тут счел

себя образованнейшим человеком, покровителем наук и художеств и чуть не философом. Он пожертвовал куш в пятьдесят рублей серебром, на каковую сумму тут же, по совету учителя русской словесности, было куплено много книг, между прочим, издание сочинений Жуковского и Муравьева «Путешествие ко святым местам», и совершена подписка на три литературных, два музыкальных и один дамский рабочий журнал. Книги и билеты на журналы поднесены госпоже Басорской в особой коробке, раздушенной и разрисованной, вместе с другими подарками, одной из выходящих девиц, причем некоторые из дам, в слезах и чуть не умирая от жалости, почти вслух восклицали при Феничке:

— Только осторожнее, осторожнее, медам; чтоб не обидеть ее, ах, чтоб не обидеть ее подарками! Она девушка с чувством!

Феничка приняла все подарки с грациозной улыбкой и с каким-то особенно праздничным чувством радости, перецеловав плечи у дарительниц и увлекши в сотый раз всех своей миловидностью, застенчивостью, румянцем, полнотой щек и молодого стана. Надавали подруги Феничке и она им клятв в «верности и дружбе до гроба», обещали друг другу писать обо всем-обо всем и часто-часто, причем княжна Раиса Вонзковская даже проколола себе палец и кровью написала ей на лоскутке бумаги: «В беде и в горе доставь мне случай тебе помочь, и я все отдам, все сделаю, чтоб быть тебе полезной!» Взяла Феничка с собой на дорогу неоконченную работу Мери Кахнович broderie anglaise, запаслась каким-то особенно неистовым, переданным ей одной из подруг романом Поля Феваля и поехала с такой мыслью: «Бедность — вещь нехорошая и довольно, как говорят, противная; но я постараюсь озолотить дни и часы старых родителей и под шалашом водворить рай! О, да, постараюсь!..» И, раскрыв дорогой, в трясучей и темноватой будке жида, книжки, она переложила на новую страницу вышитую тамбуром закладочку, оправила платье и взглянула на отца. Отец молча сидел в углу будки и, уткнув нос в воротник, смутно глядел из-под полости окна на дорогу.

Что ему думалось в эту пору? При первом свидании с дочерью, когда вечером, при ярком освещении ламп, его ввели по длинному ковру в залу, ему показалось, что перед ним очутилась если не сама сказочная богиня, то по крайней мере царица-фея. Так показалась ему нарядна и представительна его собственная дочка, его Феничка. Он даже чуть было не приложился к ручке, чуть невольно не попросил извинения, точно был виноват чем-нибудь, и потом пристально-пристально посмотрел на нее, улыбаясь, скрипя табакеркой и собираясь сказать ей особенно что-нибудь милое. Но ничего не сказалось; тщетно он искал в чертах смущенной, со своей стороны, и миловидной девушки черты былой Фенички. А другие девицы, княжны и помещицы, генеральские и асессорские дочки, о которых ему рассказывал до прибытия его дочери словоохотливый сосед по месту в зале, ходили мимо и посылали Феничке то улыбки, то особые знаки любви, дружбы и равенства. Ликовал втайне Иван Григорьевич: «Поди с нашей Химкою! Вон она с кем запанибрата».

С этими чувствами он и в дорогу выехал. Да уже в дороге немало призадумался, сожалея, что без парада, в простой жидовской будке пустился и что было бы лучше как-нибудь купить дрожки или коляску и лошадей бы купить, одеть дочку во все одежды, какие только подарены, и провезти так по уезду — знай-де, любуйтесь такой писаной красавицей!

Не то ожидало ее дома.

Приехали они в праздник, после обеда перекусив и переодевшись поблизости, в корчме, неравно дома гости есть. Перышком вспрыгнула Феничка из будки, оправила платье, достала шелковый красный платок, припасенный подарок для матери, и быстро вошла в сени.

— Нет, дочка, постой, не ходи: мать спит после обеда, как бы не рассердилась.

— Нет, нет, я хочу маменьку видеть, маменьку!..

И она вошла в темную комнату, где с закрытыми ставнями от мух покоилась старуха. Дочь наклонилась к морщи-

нистой, запекшейся щеке ее и не рукой, а тем же нежным поцелуем разбудила мать. Отец не без основания удерживал дочь: от матушки несло водкой. Как уже сказано, был праздник и послеобеденное время. Мать раскрыла мутные посоловелые глаза и долго не могла прийти в себя; наконец, утерла рот, встала, оправила на голове платок и сказала:

— А! Это ты, Химко! Хорошо, что ты приехала, только плохо, что мать так ни за что разбудила. Вперед того не делай! Видно, что этому не учили там, где ты была!

Дочь была озадачена.

— Ну, — начала ласковее матушка, — дай же я подивлюсь на тебя, какая ты стала!

Окна растворили. Старуха сперва пристально осмотрела на все стороны подаренный платок, потом дочку, напилась потом воды, перебрала и перещупала все дочкины наряды и книги, белье и разные безделушки. Наконец она задумалась, вышла на крыльцо, села, сложила руки, зевнула, перекрестила рот и сказала.

— Ты, может, дочка, привыкла чай пить и теперь хочешь?

— Нет, маменька, не хочется, если вы выпьете, так и я.

— Э! Дура же ты, коли это говоришь. Нет у нас чаю для себя и в заводе, и не за что пить, а держим только для приезжих!

Дочь потупилась и смолчала. Немного погодя опять зевнув, мать взглянула на дочку мимо мужа, стоявшего молча у двери, и спросила:

— Ты, может, дочка, привыкла в наряде ходить и чтоб за тобой глядели, чулочки да башмачки тебе подавали? — Дочь уже ничего не говорила. — То-то же, дура ты будешь, коли это и помыслишь! Нет на то у нас прибытку, а сами все делаем, делай и ты!

Сердце Фенички задрожало, она кинулась к матери на шею и со слезами стала уверять, что она любит, будет любить вечно и папеньку и разделит с ними труды и под убогой крышей.

— Убогая? Нет! — перебила мать. — И глупо ты говоришь! Чем же она убогая? Батько твой только в прошлом году ее и перекрыл; сам и солому возил!

Вечером она вышла за ограду хутора. «Вот то поле, где я за гусятами гонялась, вот мельница, под которой я в камушки играла, вот лесок, откуда я тогда, в дождь и бурю, бежала с лукошком». Размечталась Феничка. Не сознавала она в ту пору еще ясно ни того, что у них нет ни работника, ни работницы, ни того, что на десять верст кругом нет у них ни одной живой и истинно человеческой души. А местечко и вечер были обворожительны, закат солнца золотил и обливал тонким румянцем верхи пирамидальных тополей, края облаков и груды дальних косогоров. Воробьи шумными стадами перелетали с вербы на плетень и с плетня на огород. Неоглядная степь застлалась вечерней мглой. Над крышей хаты поднимался тонкой струйкой голубоватый дымок. А за ним был сад, а за садом дорога, город, заведение, подруги, княжна, выпуск, обещания, клятвы, надежды...

— Вот и видно сейчас белоручку! — произнесла мать, выйдя на порог хаты, с засученными рукавами, подоткнутой юбкой и с ухватом. — Другая бы скинула ситчик и все, что понаряднее, да матери бы помогла, да коровку бы сдоила, а она глазеет по верхам!

Евфимия Ивановна, еще в первом пылу неопытной энергии, на другой же день сбросила платье, надела какую-то старенькую накидку, вышла на крыльцо, боязливо оглянулась во все стороны, взяла ведро, нашла мать, попросила ее показать, как доят коров, и, несмотря на страх, наводимый на нее жирной рогатой коровой, глотая слезы, уселась доить... Но это были только цветки. Мать отобрала у нее деньги, какие были, отобрала все платья и повела с мужем речь, что хорошо бы ему отвезти эти платья в уезд и запродать их исправницкой племяннице, а Феничке другого, попроще, накупить, все выгода будет, а ей же не в шелках да кисеях ходить. Сказано и сделано. Батюшка с матушкой заперлись и поделили между собой привезенные деньги. На стол же

Феничке были брошены два куска московского линючего ситца, по двугривенному аршин, и было предложено самой пошить себе платья, да поскорей: «неравно женихи почуют и наедут!», а на те деньги, сказано, наймется степь у балтинского винокура и прикупятся два десятка овец. И дело! С тем же детским рвением принималась горячо за иглу Феничка и в три недели, между топкой печи, крошением лука, капусты и бураков, доением смурой коровы, поступившей исключительно под ее попечение, и ухаживанием за отцом, который почти ежемесячно страдал после запоя сильными приливами к груди и удушьем, сшила себе по образцу оставшегося заветного зеленого платья дешевенькое платье и несколько передников. В это время она порывалась несколько раз писать к подругам, особенно к одной мечтательной, с золотыми кудрями, генеральской дочке, Мери Кахнович, с которой была очень дружна. Но некому было отвезти письма на почту; и она отложила письмо до другого времени.

Отец оправился. Наступил какой-то праздник. Съехались на хутор соседи, частью, чтобы навестить выздоровевшего соседа, а частью, как надо было ожидать, чтобы посмотреть соседскую дочку. И все женихи, хотя немолодые, незнатные и некрасивые, а женихи в околотке хорошие. Отставной юнкер Перепелица, вдовый винокур и заика Тюрюков, мелкопоместный дворянин Грех, с расстроенным желудком, охотник до псовой травли, и сам г-н Горихвостов, когда-то бывший в университете, когда-то учивший Феничку грамоте, а теперь совершенный пьяница и больше ничего. Этот бедственный «пропойца» Горихвостов, бывший еще в памяти всех ухарским молодцом, ходивший и говоривший, как выражаются о таких людях, «с кондачка», теперь, от запоя в одиночку, впадал уже в делириум-тременс и представлял совершенную развалину. Он уже почти не отрезвлялся, хотя редко терял самосознание и даже присутствие какого-то особого остроумия. В часы здоровья он ездил верхом на заез-

жих с товарами жидах, стрелял в них, посредством дворовых людей, залпом из ружей, холостыми зарядами, обматывал их, с лошадьми и телегами, соломой и после зажигал эту солому издали ракетами; запаивал всякого, кто к нему ни являлся из новичков, и с тысячами других проказ слыл притчею околотка. Послали было к нему года четыре назад, в ту пору, когда он еще книги читал, и ездил кое-куда, и говорил метко и ядовито, и на человека походил, послали было к нему увещевать его заслуженного и уважаемого всеми помещика, знавшего его еще ребенком. Помещик, строгий и трезвый с юношества, явился к нему, не веря еще в его порок. Войдя в дом Горихвостова, он застал странную картину: сам хозяин полураздетый сидел на диване, перед ним на столе была деревянная баклага с водкой, а в углу на стуле полулежала растрепанная Феська, его экономка, тоже пьяная и в слезах. При виде посетителя хозяин встал и потерялся. Детство, молодость, жизнь, университет, профессора, товарищи, погубленная будущность — все перед ним в мгновение мелькнуло. Он жалко улыбнулся и, запахиваясь, долго не мог выговорить ни одного слова; наконец, сказал:

— Вот это, Аким Савельич, водка, а вот это — Феська, а я пьян!

Ничто не помогло, и напрасен был заезд увещевателя. Судьба Горихвостова окончательно была решена: он гиб, как многие гибнут в глуши деревень, жертвой праздности, лени и бездействия их окружающих.

Таковы-то были гости Ивана Григорьевича, завертывавшие иногда из своих темных и глухих нор, изредка разделить с ним и с его сожительницей удовольствия питий и брашен. Нечего говорить, что все они могли питать и действительно питали в сердце надежду поискать и получить в обладание руки новоприбывшей красавицы Евфимии Ивановны. Съехались они.

— Сударыня, позвольте! — отрапортовал первый из них, юнкер Перепелица, злодейски подергивая усы и козырем подходя к ручке Евфимии Ивановны.

— И-и мне по-о-озвольте! — заикаясь, загудел толстый винокур Тюрюков, храпя и выставляя увесистый живот.

Мелкопоместный дворянин Грех, робкий по болезни и застенчивый с женщинами смолоду, не сходя с места, только отвесил издали поклон. А Горихвостов, в качестве первого учителя Фенички, решил доставить себе другое, более дружеское приветствие. Он на пороге еще расставил руки и сказал:

— Моя первая и моя последняя ученица! Краса нашего края, роза долин и мед утесов! Сюда! — и протянулся к ней с объятиями. Феничка, перепуганная видом сального сюртука и небритой бороды, попятилась было назад и, жалобно приседая, поспешила уклониться к притолоке двери, но Горихвостов не угомонился.

— Э-хе, нет, не-е-ет?? — заговорил он, и прочие гости поддерживали его знаками согласия. — Так со старыми дядьками не здороваются!

Феничка все еще медлила.

— Эх! Дура ж ты, дура, — подхватила мать и плюнула, — коли Петро Михайлович целуется, то и целуйся, с такими можно; он наш! И хутор у него, дочка, хороший, и всего вдоволь; и уже я к вам заберуся, Петро Михайлович, и отвоюю у вас на завод бычка! Дадите, Петро Михайлович, бычка на завод, из-под вашего смурого быка?

— Дам! Не дать маменьке! — злодейски заметил Горихвостов и, разгладив усы, в два приема взасос поцеловал раскрасневшуюся Феничку. Хозяева засуетились с обедом.

А за обедом господа гости показали, какого они поля ягоды. Съели борщ; съели жареного поросенка. Выпили перед борщом по первой, выпили после поросенка по второй и третьей. Гости были крепче, а хозяин свернулся первый. Был он добр и кроток от рождения, у жены находился под башмаком, а хмельное делало из него

зверя. Как напьется — и пойдет буянить, и все хочет показать, что он — первый в доме и во всех делах. Так случилось и тут. До этого дня он на дочку смотрел жалостливо и нежно и сбавлял ей работы у матери. А тут вдруг показалось ему, что она брезгает родителями, да и гостями. Хозяйка и дочь прислуживали.

— Не люблю я этих чертовых белоручек! — гаркнул неожиданно зловещим голосом Иван Григорьевич, смотря на дочку и покачиваясь.

— И я не люблю! И я! — подхватили гости

— А еще больше я не люблю, — продолжал хозяин, свирепея, — когда бабы забирают верх. Бабы! Знай свое место, и баста! — и он ударил кулаком по столу, причем загремела посуда и у самой старухи жены дрогнули руки. Феничка взглянула на отца и окаменела; она впервые почувствовала в этой обстановке прилив какого-то необъяснимого отчаяния и ужаса.

Басорский опять ударил кулаком по столу и на этот раз еще швырнул оземь миску.

— Слышь! Дочка! Подноси гостям и мне водку!

Феничка, облокотясь о печку, стояла неподвижная и бледная, чуть дыша и не слыша слов отца.

— Химко! — крикнул отец. — Да разве ты уж не слышишь? Служи по гроб твоей жизни! Пас... — И он поднялся с лавки, направляясь к печке и не слыша ног под собой. Горихвостов остановил его и разом усадил.

— Иван Григорьевич, не буянь; угомонись и не беспокой дочки; они барышня деликатная, очень деликатная и не снесет позора! Чему вас, барышня, учили, скажите? Учили вас: «Печально я гляжу на наше поколенье...»? Феничка ответила кое-как, шум увеличивался.

Подали водки. По слову отца, мать передала дочке подносик, и та пошла разносить «очищенную». Потом по требованию гостей и отца, она дрожащим голосом, без аккомпанемента, спела какой-то романс, протанцевала тот танец, которому там в заведении ее учили. И когда все

уже лежали по лавкам, она вырвалась из хаты, бессознательно взобралась сперва по лестнице на чердак, потом, при взрыве хохота пирующих, пугливо сползла оттуда, удерживая платье, прошла двор, огород и в невыразимом страхе, бледная и трепещущая, забилась на сенник, ежеминутно ожидая кого-нибудь из приходящих в себя посетителей.

«В жизнь мою, — говорила она впоследствии, — я не воображала, чтоб могла перенести такие муки и страдания, какие перенесла в ту ночь, когда пробуждавшиеся собеседники до самой зари то начинали снова пить, то пели песни, то выходили с фонарем и свечами из хаты, лазили на чердак, шарили по двору, кричали петухами и кликали меня среди ночной тишины».

Бог весть, оттого ли, что заметили отсутствие дочки при гостях, по другой ли причине, только отношения к ней семьи выказались вскоре. Отец, проспавшись, также стал к ней безразличен и более сух, нежели строг. Но мать просто ее возненавидела. Миски, ложки в мытье уже не подавались ей, а прямо швырялись. Слова «белоручка», «барышня», «недотрога» и «гордячка» не сходили у злобной бабы с языка. С утра до поздней ночи она, как говорится, уже просто грызла свою дочку. Стоило Феничке задуматься о чем-нибудь, она сейчас зашипит: «Ну, о чем задумалась? Все о городских женихах?.. Как же, жди их! Так и кинутся на дрянь!» Стоило дочке с кем-нибудь из проезжих, выйдя на порог, проговорить, хотя бы это был мещанин, мать сейчас опять: «Вон она, вон. Хороших минует, а с побродягами нюхается! Что же? Мне за тебя топиться в речке, что ли, как пойдет про тебя худая молва?»

Сначала дочка плакала, потом привыкла; тяжела была ее жизнь. Из скупости и затаенной злости на дочку мать не брала работницы. Так прошло несколько месяцев.

Из уездного города ехал как-то на хутор Басорского уездный лекарь, молодой человек, лет двадцати восьми. Давно уже ходили по околотку слухи о тяжелом положении дочери в семье Басорского. Теперь лекарь ехал потому, что, как его уведомили, «панночка Химка» ходила на реку, в прорубь, за водой, да надела башмаки на босу ногу, простудилась и уже третий день лежит в огне и бредит.

Лекарь застал ее в горячке. Прогнал от нее всяких баб и знахарок, шептавших над ней с утра, как над покойницей, употребил все средства, искусством и удачей произвел перелом в болезни, объявил, что она спасена, и вместе с тем раструбил по всей окрестности и в городе о ее дивной красоте и вполне беспомощном, среди семейства, положении. Слова его не пропали даром.

О дочке Басорского заговорили. Но больше всех, разумеется, говорил о ней лекарь.

— Это, вы не поверите... это сущий перл, перл! — говорил он. — Вообразите! В сильнейшей бедности, в нищенстве, и что же бы вы думали? Красавица, сущая красавица, каких свет не создавал! Я не взял за ее лечение ни одной копейки денег! Ну, да этого ли одного она стоит!

Дамы ахали, пищали, передавали по двадцати раз иначе всем встречным и поперечным весть о «перле», найденном в грязи их «мизерного уезда», и занялись снова, как и губернские дамы, отрадной для самолюбия мыслью вынимания «того перла из грязи».

Молодой лекарь, за красоту бакенбард и орлиный нос, носивший в их сокровенных беседах имя Сашки, выиграл при этом в общем мнении на сто процентов. «Как! Ездить в стужу и метель за столько верст в глушь, на хутор, вылечить, можно сказать, чудом, и ничего не взять! Это непостижимо; это ангел-благодетель, изредка только посещающий мир и в редкие случаи прикрывающий его крылом снисхождения и бескорыстия».

II

> Благодеяние у нас — это, по-моему, что-то среднее между ханжеством и отъявленным взяточничеством, одна из ступеней, через которые идут к хорошей карьере.
>
> *Из одной передовой статьи*

Был вечер. Феничка значительно оправилась, но еще бледная и слабая, в хорошенькой блузе, сшитой собственными руками, лежала в своей комнатке на кроватке, полузавешанной старым ситцевым пологом. Свечка горела на притолоке высокой печи, освещая угол кровати, подушки, сундук, прикрытый ковриком, и вещицы Фенички на столе и на окне: банки с помадой и духами, гребенки, ножницы, рабочий ящичек, сочинения Жуковского и Муравьева и несколько туалетных безделушек, память школьного времени, пощаженных еще матерью и отцом Феничка полулежала, окутав ноги одеялом и опершись спиной о груду подушек. Распахнув ленты белого, хорошенького чепчика на голове, она опустила усталую руку и смотрела на дверь. Дверь отворилась. Вошел лекарь.

— Что, Яков Антонович, где вы были?

— У вашего батюшки; спорил все и убеждал его.

— В чем это?

— Да все в том же. Ну, с чем это сообразно! Разве вы на то созданы, чтоб на босу ногу ходить да простужаться? Сгоряча-то вы и не то сделать можете; да что же из того! Ведь наймитесь вы, поступите с вашим обучением куда-нибудь, так и вы сами будете спокойны, и работницу наймете домой. Эка уважительная причина: мыть кадки, обед стряпать, коров доить! Да на это нужно какую-нибудь Матрену в пятнадцать пудов весом, а не вас!..

— Я думала лично присмотреть за стариками.

Лекарь засмеялся.

Феничка повернулась в подушках и вздохнула.

— Яков Антонович!

— Что-с?

— Вы давно в городе были?

— Вчера.

— Ну, как там? Очень весело?

— Известное дело: святки, отплясывают, катаются, обеды задают, влюбляются...

— А вы влюблены?

— Я-то?

Феничка кивнула ему головой и, улыбнувшись, стала с подушки пристально смотреть на него. Лекарь поправил золотые очки, тревожно оглянулся по комнате и, припав к кровати, полушепотом произнес:

— Я вас давно люблю, крепко люблю... А ты меня, Феня, любишь?

Евфимия Ивановна на это неожиданное признание сперва было откинулась к стене. И лекарь очень ловко схватил ее за руку. Как видно, он в этом был уже довольно опытен.

— Скажите же мне... Скажи мне, ты меня любишь?

И он опять поправил золотые очки.

Оттого ли, что Феничка в свою болезнь успела его оценить и полюбить, оттого ли просто, что, благодаря замкнутости и непрактичности своего воспитания, она составила в голове самые дикие, неестественные и отвлеченно-туманные понятия о человеке и о любви, и теперь, как это случается сплошь да рядом, кинулась со своей любовью и невинностью к первому попавшемуся мужчине, только прошло несколько дней, и Феничка уже отвечала пожатием на пожатие руки лекаря, и уста их, как говорилось в романах г-на Воскресенского, наконец, слились в бесконечный поцелуй...

Нечего прибавлять при этом, что матушка в означенное время лежала без ног, а батюшка был в отсутствии. Лекарь очень поздно, почти на заре, уехал с хутора в город.

— Да вы, мамочка, да ты, душка, скажи мне, — говорил он, сладко расставаясь с больной, — скажи мне по правде: хочешь, я устрою твою судьбу и вовеки тебя не оставлю?

Феничка в томлении смотрела на него и не медлила ответить:

— Яков Антонович! Отныне судьба моя в ваших руках. Что вы мне скажете, то я и сделаю; убежим хоть на край света!

— Ну, на край света нечего бежать. А вот что! Есть у меня одна приятельница, дамочка, тут верстах в семнадцати живет. Я не то, что у нее домашний врач, хотя прежде ее и лечил, а она, собственно, в меня влюблена; ну, я по-прежнему к ней из жалости и езжу. У нее два мальчишки сына, одному семь, а другому восемь лет, и она ищет гувернантки. Дом отличный, и она сама — божество доброты и любезности. Хотите... хочешь, я тебя туда пристрою? Целковых триста в год даст, и к тому же платье и все готовое!

Феничка вздохнула.

— Ах, Яша, я одного боюсь: ты меня там при ней уж не будешь так любить!

— Как можно! Там-то и легко, там-то мы и будем видеться. У нее — дремучий сад... Я к ней постоянно по пятницам и по понедельникам езжу, под предлогом золотухи у старшего сына. А целковых триста наверное даст. Я уж устрою.

Условия приняты. Старик и старуха Басорские были уговорены, со слезами и причитаниями отпустили дочку, говоря, что хоть и жалко им так остаться на дряхлости без опоры, и она уже девка на выдаче, и жених есть, ну, да Бог с ней, пусть идет в добрые люди хлеб добывать, авось и их не забудет. При переезде дочки к госпоже Черпаковской батюшка с матушкой не забыли, однако, взять вперед деньги за полгода и конфисковали еще часть ее белья, кое-что из нового платья и шубку, ссылаясь на то, что коли барыня добрая, то и нашьет ей всего этого.

Барыня, действительно, была добра. Приняла она Феничку по первому слову доктора. Увидя ее, тревожно оглянула ее с ног до головы и, тут же посмотрев на себя и на свои красы в зеркало, успокоилась и сказала с улыбкой:

— Очень рада, моя милая; только как вы худы и бледны!

В этом замечании слышалась невольная радость. Яков Антонович, как уверял ее не раз, любил полных и аппетитных. После нескольких слов приветствия и расспросов о родителях Лукерья Романовна Черпаковская, имевшая красное в пятнах лицо, как у голландского матроса, и седоватые усы на верхней губе, встала с дивана, отряхнулась, сказала: «А вот мы теперь и за урок!» — и поплыла в волнах юбок в отведенную гувернантке комнату.

Мальчишки были представлены гувернантке с книгами, очиненными карандашами, перьями за ухом и перепачканными пальцами и куртками. Феничка, затянутая в белое кисейное платье, сшитое тайком от матери на часть задатка помещицы, села, облокотила о стол бледные, еще худощавые руки и с тревожным биением сердца, чуть шевеля губами, начала урок. Старший, золотушный Миша, предстал первый.

— Вы заповеди учили?

— Учили; и еще дальше, еще *Верую*.

— Ну, какая пятая заповедь?

Ученик запнулся.

— Нет, нет, я этой не учил, а учил только вот до сих пор! — И он ткнул грязным пальцем в перепачканную и чуть живую страницу.

— Да, они только до сих пор учили! — заметила мать, следившая первый урок с тревожным любопытством.

Выступил Коля с голубыми глазами навыкат, как два стеклянных яйца. Этот уже просто оказался способным более ковырять в носу и глядеть по сторонам, чем слышать и понимать что бы то ни было в уроке. Он тут же устремил все свое внимание на муху, ожившую где-то за печью и начавшую перелетать то на плечо учительницы, то на гребень

в ее волосах, то на песочницу и изрезанную книжку географии. Три раза гувернантка спросила, сколько дважды три, и потом, какой главный город в России. Мальчик почесался за спиной, переступил с ноги на ногу, и вдруг нос его начал без видимой причины сопеть.

— Ах, чуть ли и у него не золотуха! — сказала с нежностью мать и заставила его высморкаться в собственный свой платок, поцеловала его и ушла, сказав учительнице. — Душенька, вы его берегите и поменьше мучьте уроками; он мне напоминает своего отца! — Последние слова сказаны были по-французски.

Урок был вскоре кончен, оставив в мыслях Фенички одну пустоту и невыразимую скуку. Она ясно видела, что битва с головами ребятишек стоит любой битвы жизни, но еще более видела она, что в ней нет ни малейшего призвания и способности к науке обучения, что сама она еще дитя, которому надо учиться, и что, наконец — увы! — и это самая горькая истина — в эти два года из ее головы вылетели все книги и тетрадки, вызубренные ею в заведении, до того, что она сомневалась, уж училась ли она когда-нибудь этим книжкам и тетрадкам, и, задавая какой-нибудь вопрос ребенку, она с тревогой думала: «А что, как он возьмет у меня из рук книгу, закроет и скажет: а ну-ка, не смотря туда, сами ответьте, когда основан Рим, сколько было в древности патриархов и кто взошел на русский престол после Иоанна Калиты?»

Яков Антонович Семереньков, лекарь, по-прежнему езжал к Черпаковской и заставал Феничку за уроками. Наступила весна; кругом чирикали птички. Воздух был точно напоен паром молодого вина. Жилки на висках Фенички бились усиленно. В ушах был звон, в сердце неизъяснимая томительная тревога. В то время как ученик перед ней рапортовал скороговоркой: «Попрыгунья-стрекоза лето целое пропела... Ты все пела, это дело, так поди же — попляши!» — Семереньков сбоку нашептывал, то по-русски, то по-французски:

— Вот и хорошо, и мило, жизненочек, что вы тут, и мы с вами видимся! А то, в самом деле, вздумали разыгрывать положение малютки, который, «Велизарию шлем нося, просил для Бога пищи лишь дневные!». Теперь и батюшка ваш сыт, и мы неразлучны; пойдемте в сад!

Миша с Колей усылались посмотреть, где мамаша, а доктор с гувернанткой, пока она возилась в кладовой, закрывали урок и шли в сад собирать цветы. Вообще же Черпаковская мало подозревала Якова Антоновича и была совершенно спокойна. Так прошло три или четыре месяца. Иногда она с гувернанткой пускалась даже в сокровенные объяснения.

— Ах, машерчик, — говорила она, оправляя перед зеркалом к приезду Семеренькова на своем плотном стане какую-нибудь новую шнуровку или платье, — я чувствую... я предполагаю, по некоторым признакам, по талии, что я буду скоро счастливейшая женщина.

Феничка на это только молча и нежно припадала к ее плечу. Барыня не замечала, что сама перешивает платья от жиру, а у гувернантки, наоборот, появляются без причины ежедневно то головокружение, то тошнота, то быстрые переходы от веселья к слезам и особенная бледность лица.

Сидела как-то перед вечером Черпаковская на крыльце в сад с соседкой по имению, госпожой Чуланчиковой, слывшей первой особой в кругу благотворителей и благотворительниц уезда и даже губернии. Дети с гувернанткой и лекарем пошли рвать к пруду ежевику. Черпаковская, на языке по крайней мере, никогда не хотела уступить соседке в делах добра, и потому теперь обе барыни просто надседались, хвастая своими поступками.

— Вы не поверите, ах, вы не поверите, — говорила госпожа Чуланчикова, богомольная помещица, взрастившая у себя какую-то сироту-племянницу, — какое счастье оказать благодеяние! Я моей Фросиньке ничего не жалею; теперь ее выдала за хорошего человека, за гусара, и все ей отка-

жу — и Марьевку, и Дарьевку, и Коростели. Я же, бедная вдова, умру как-нибудь; авось она меня на старости не покинет...

Фросинька, действительно, вышла замуж. Но муж в первые же сутки узнал, к сожалению, что она больна неизлечимой падучей, что было скрыто тетушкой-благодетельницей. Судьба этой Фроси, заметим кстати, разыгралась впоследствии очень грустно: падучая навредила во время родов — она умерла, оставив чахоточного сына. Чуть племянница закрыла глаза, тетушка тонким образом выпроводила гусара-мужа ее из деревни, сказав, что она обещала сделать счастливой племянницу, а не его, и взяла на попечение новорожденного. С ним началась та же история. Она выхолила его чуть не в хлопках, трубя всем о своих пожертвованиях, и вырастила в качестве своего наследника. Мальчик, меняя в год, через безалаберность вздорной бабы, по три, по четыре пансиона, вышел, наконец, с поползновениями пожить тепло, поесть сытно и прожить век, сложа руки и ничего не делая, как наследник 3000 десятин. И что же? Благодетельница умерла. Вскрыли завещание — она отказала все свое имение, бывшее благоприобретенным через мужа, какому-то стряпчему Фролу Терентьевичу Балаболкину, о котором прежде и помину не было, с тем чтобы тот имение распродал и деньги за него роздал бедным... Многие эту госпожу за такое поведение восславословили. Но круто пришлось сироте-наследнику: кинулся он туда-сюда — ничего не знает, ничего не умеет. Вспомнил об отце, которого ни разу не видел. Совестно, видно, стало уже идти к нему за милостыней, он и повесился у могилы всеми оплакиваемой бабушки.

Но этого еще не было, когда шли события нашего рассказа, и благодетельная выдача замуж племянницы за гусара была еще в сильном ходу у соседки Черпаковской.

— Я вот тоже, — заметила последняя на хвастливую обмолвку соседки, — я тоже пристроила у себя одну сироту, Яков Антонович рекомендовал. Такая тихая, знающая... мамзель Басорски...

С этими словами глаза Черпаковской, устремленные в сад, неожиданно обратились к окну в гостиную, и она тревожно насторожила уши. Ей показалось, что через гостиную, из комнаты гувернантки, раздался затаенный смех и кашель.

— Да, подите вы! — говорила соседка. — Одна Марьевка моя чего стоит, да Дарьевка, а о своих заботах я и не говорю...

Смех стал явственнее. Черпаковская вскочила, как с огня, выпрямилась и быстро пошла через гостиную. И что́ же представилось ее взорам? Феничка сидела, обнявшись с молодым эскулапом, и после неосторожного веселого смеха о чем-то, готовилась уста свои и его слить в новый бесконечный поцелуй... Боже мой, что произошло при этом!

— Как? Так для этого я тебя, дрянь-мерзавка, пригрела, чтоб ты шуры-муры тут заводила!? Вон!..

Феничка выскочила на крыльцо в чем была. Ее посадили в какую-то телегу и умчали в город. А лекарь потерпел еще более. Соседка Чуланчикова уверяла, крестясь и отплевываясь, что своими глазами видела, как Черпаковская выбежала вслед за ним простоволосая, с упавшим на спину чепцом, и гнала его через двор и часть улицы не то метлой, не то кочергой, ударяя по чем ни попало. Скандал был произведен общий, и все надолго, чуть ли не на год или более, оставили посещать дом Черпаковской...

Но странное дело! Лекарь опять при этом выиграл. Молодая часть местного общества, падкая на романические случаи, решительно стала на его сторону. Он до того возвысился в общих толках, что приобрел значительно в практике и уже приезжал в каждый дом не иначе, как с улыбкой. Одно вредило ему у местной власти, носившей чин городничего и падкой до мистицизма: он все отнекивался жениться на Феничке Басорской. Хотя первые два месяца он даже давал ей кров, пищу и спокойствие у одной вдовы мещанского сословия, под видом того, что через него она «невинно пострадала», однако же умел ловко обойти этот щекотливый для себя вопрос, на Феничке не женился, остался также уважаемым

и любимым всеми и даже, перечислившись в губернскую больницу, стал с успехом свататься за дочку зажиточного купца.

А Феничка? Некому было за нее вступиться. К отцу и к матери она боялась показаться в таком положении и решилась, после ряда жгучих сцен с лекарем, прибегнуть к другой обывательнице уездного города, знавшей ее прежде, и, бросив окончательно лекаря, послала ему обратно все его вещи и подарки, платья, часы, шляпки, мебель и ковры. Семереньков все это принял с благодарностью и написал к ней с посланным, что она еще забыла возвратить ему две голландские рубашки, вышитые кружевами, а что они ему нужны при отъезде в губернский город.

Городская обывательница, приютившая Феничку, была тихая труженица. Вдова покойного учителя русской словесности и штатного смотрителя уездного училища, она происходила из сословия местных крепостных людей, познакомилась с покойным мужем, будучи по найму в купеческом доме, полюбилась ему за румянец щек, густоту темной косы, полноту плеч и через два года истинной любви обвенчалась с ним и до конца его дней сохранила при нем ту же неподдельную доброту души, мягкость нрава и силу непритворной любви. Этот учитель был чудак. Перейдя из гимназии к сану педагога, он предался непомерной честности в исполнении долга и писанию стихов. Составив книжонку лирических песен, он отпросился на вакансии в губернский город, тиснул ее и послал в Петербург, при письмах к двум журналистам.

Одному, бывшему уже в большом чине, имевшему теплую квартиру и значительный доход, он написал по его печатному адресу простодушно-льстивое письмо, прося похвал и прилагая письмо к другому журналисту, бесчиновному бедняку и кумиру тогдашней молодежи, говоря, что не знает, куда ему писать. Чиновный журналист, как и следовало ожи-

дать, расхвалил уездную музу, сказал, что восходит новая звезда поэзии, привел несколько жалких отрывков из книжки и тут же прибавил, в обращении к дамам, что его знает вся Россия, знают даже, где он живет, а что есть люди опасные в литературе, к которым он хотя по поручению и относится, но с ними не знается. Журналист-бедняк пролил на книжку всю свою желчь, называл автора чистейшей бездарностью и с увлекательно-жгучей откровенностью во всеуслышание взывал к сочинителю, напоминая ему о долге жизни, о правде и о положительной любви к ближним.

Учитель бросил печатать, зарылся оскорбленный, сгорая от стыда, в свои дела и в десять лет успел сделать столько для училища, сколько перед ним не сделали другие в сорок лет. Мальчики его боготворили. Не было и с его стороны дня и минуты, когда бы он с благоговением не произносил имени строгого критика. Последнюю копейку тратил, скупая журнал, где он печатался, и вырывая оттуда его статьи; каждого заезжего морил расспросами о человеке, убившем его литературные детские надежды и сделавшем из него человека. Зато журналист-хвалитель, разоблаченный одним студентом, привезшим в тот угол все пасквили на него, писанные от вдохновенного пера Пушкина до последнего из поэтов молодого поколения, стал для него чем-то неисчерпаемо позорным, диким и гадким. Последний мальчик в школе уже знал в настоящем свете это имя, и даже сама Глаша, сожительница учителя, в толках о какой-нибудь уездной гадости ссылалась на позорное имя этого журналиста.

Библиотека учителя наполнялась светлыми созданиями духовных детей Пушкина и Гоголя. Он жадно следил за наукой и поэзией. Читая перед смертью тоже почти предсмертную критическую поэму своего любимца, где мелькнули огненные слова: «Если мы сойдем с поприща света, одно нас утешает — литература русская бросила путь болезненного романтизма, побрякушек и всяких непризнанных гениев и пошла по пути другому, где уже мерцает светоч истины и добра», бедняк уронил книгу, заплакал и, обращаясь к

жене, сказал: «Ах, Глаша! Все хорошо, да жутко мне умирать — пусть он меня корил; да за что этот-то меня хвалил? Ведь он хвалил только подобных себе!»

Феничка видела этого учителя у Черпаковской и была очарована его особенной, задушевной речью.

Теперь она явилась к его вдове, потому что та оставалась без куска хлеба, жила уже второй месяц, распродавая книги покойника, которых между тем никто не хотел брать, и начав с горя заниматься повивальным искусством. Феничка скрыла свои следы от отца и матери и явилась, привезя с собой только ящик с необходимой одеждой и даровыми школьными книгами. Она условилась с Глафирой Ивановной брать работу и шить, а та продержит ее, пока ей можно будет снова явиться в свет. Горестны были дни этих двух страдалиц. Работы почти не отыскивалось, и по целым дням иной раз они сидели без куска хлеба. Наконец, как-то в феврале, священник в комнатке Глафиры Ивановны окрестил новорожденную девочку, дочь Фенички, думавшей еще так недавно, что любовь кончается одними поцелуями и что новорожденных детей находят в огородах, под лопушком, благословил спасенную мать и от неизвестного — это был он сам — оставил на зубок ребенку десять рублей серебром.

Нищета двух сожительниц перешла всякий предел. А языки работали: Глафиру Ивановну уездные сплетницы ненавидели за покойного мужа, ученого гордеца, не шедшего к ним с поклоном, а Феничку ежедневно распинали просто из какого-то дилетантизма.

Священник попытался было съездить к уездному предводителю, с предложением открыть для несчастной Басорской подписку; куда тебе! Насилу ноги унес. Было натолковано тут и о попранной нравственности уезда, и о соблазне окружающих, и чуть не затеяли бедную постоялицу Глафиры Ивановны предать суду. Прибавлять ли еще к этому, что мать и отец Фенички притащились к ней, сделали

жалкую, вопиющую сцену и прокляли ее... С той поры вход для нее в качестве гувернантки был закрыт во все дома уезда и губернии.

Добрая Глаша просто убивалась и таяла от того, что у нее не покупали библиотеки покойного мужа.

Но крепко держалась душа у одной Фенички. Кое-как перебиваясь, она продала все, что имела, последние вещицы и безделушки, платье и сочинения Муравьева, но с Пушкиным, найденным в библиотеке мужа хозяйки, не расставалась. В нем для нее олицетворялись та нравственная жизнь, тот свет науки и мысли, которыми она запаслась, хотя не скоро, вершками и одними намеками, в заведении. Тут только она поняла, что, как ни страшно тяжело, как ни убийственно было ее положение, она готова была умереть голодной смертью, но не отдала бы своих, даже мелких знаний за тот жирный и барский покой, которым пользовались окрестные тупоумные и безголовые барышни.

Она плакала горькими слезами, проклинала ту форму, в какой пришла к ней наука, те приемы, где она не приняла знания ни света, ни людей, и пала, обманутая первым негодяем, но не роптала на себя за науку. Наука пробудила в ней в горькую минуту дремавшую природу, самосознание проникло в душу и сердце, она с замирающим восторгом ухватилась за чтение обширного собрания книг покойного мужа Глаши, погружаясь по мере чтения в какие-то особенно крепкие, гордые и насмешливо-торжествующие грезы. Ни днем, ни ночью уже не покидал ее поэт, который говорил, сходя с поединка за честь и свое сердце в преждевременную могилу:

Но долго буду тем народу я любезен,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал!

Между тем перешла кое-какая работа от приехавшей судиться с соседкой одной барыни-франтихи.

Феничка оправилась и уже ходила. Долги в мучной лабаз и в лавки кое-как были заплачены.

Попыталась Феничка предложить барыне свои услуги учительства детей ее на отъезд, в другое имение барыни, за три губернии далее, чтобы забыть и память своего околотка. Барыня сказала, что подумает, и через неделю, уехав в спокойном дормёзе, отказала записочкой на раздушенной бумажке.

В записке говорилось, что она не понимает, как мамзель Басорская решилась предлагать ей свои услуги, после того, что с ней было, о чем весь город, и в особенности супруга судьи, знает, и как ее присутствие подействует на неопытных крошек-детей, когда на жизни ее лежит тяжелое, несмываемое преступление. В заключение советовалось сходить в Киев на богомолье.

Феничка, прочтя это послание, невольно призадумалась.

III

> Сударыня! У вас еще не все погибло. Смотрите, еще у вас есть благотворительные особы, жаждущие вам помочь!
>
> *Из увещательного письма одного филантропа-чиновника*

Прошел тяжелый, горький год. Кое-как промаявшись, прожила Феничка. Она с отчаяния давно уже была готова на все махнуть рукой. В этот год несколько месяцев стоял в городке один кавалерийский полк. Общество оживилось, зашумело. Пошли собрания, вечеринки, катанья за город. Дамы разорились, справляя визитные платья и стараясь затереть нарядами полковых дам. Феничка, не покидавшая иглы, не слишком, однако ж, поддавалась любезностям кавалеристов, сразу отыскавших в темном окошечке глухого переулка ее картинное личико. Офицеры просто дежурили у переулка, где она жила, сети были расставлены ловкие. Ничто не щадилось, даже Глаша явилась как-то с запасами

всяких снадобьев для дома, с парой ситцевых кусков на платье и заячьим мехом на шубу, уверяя, что прислали родичи из ихнего выселка, и стала посматривать на Феничку глазами, пылавшими соблазном и особенной улыбкой. Феничка ее разбранила и привела в слезы. По отходе полка городские барыни, действительно, указывали на Феничку, которая из-за угла, в платочке, смотрела, как выезжали офицеры. Но определенного ничего не было, и язвительные догадки далее не шли.

Но вот терпение Фенички лопнуло. Работы опять истощились. Глафира Ивановна свела дружбу с каким-то становым и собиралась переселиться к нему в участок, в качестве няньки его сирот. Феничка ударилась было еще с предложением гувернантки в два-три места. Ей отказали, и она решилась прибегнуть к памяти своих былых подруг. С замирающим сердцем села она, написала три письма: одно к княжне *Раисе Вонзковской*, написавшей ей когда-то кровью из пальца клятвенное обещание помочь ей в случае нужды; другое к *Мери Кахнович*, учившей ее когда-то шить broderie anglaise и бывшей дочерью значительного чиновника Рязанской губернии, и третье к *Пашеньке Булавеньевой*, хотя тоже бедной дочери учителя рисования при родном ей заведении, но важной потому, что она предполагала жить гувернантством и могла знать поэтому хорошие места.

«Душечка Раечка, или нет — ваше сиятельство, Раиса Владимировна! — начиналось письмо к первой. — Вспомните нашу дружбу, наши мечты, грезы, клятвы и обещания. Теперь пришел случай взывать к вашему милосердию: я в крайней нищете. Денег мне не нужно, но умоляю приискать в вашей окружности мне место учительницы при детях или компаньонки в семейном доме. Условия какие угодно; лишь бы мне избавиться от нищеты, не скрою, угрожающей даже голодной смертью».

Второе письмо говорило: «Меричка! Помнишь, как я за тебя решила задачу из математики и написала сочинение по-

немецки. Теперь требую и от тебя помощи: попроси твоего отца, который, кажется, статский генерал и служит в столичной уголовной или гражданской палате, приискать мне место. Я сейчас приеду».

В третьем повторялось почти то же самое, с прибавлением только просьбы поклониться старому отцу Пашеньки, Петру Федотычу, который, кажется, писавшую любил и всегда ей ставил за рисунки «пять».

На первое письмо пришел ответ через восемь месяцев. Княжна писала смесью французского с английским языком, говорила, что за ней ухаживает тьма женихов, что она у дяди, на Висле, живет в богатейшем замке, что носит такие-то и такие-то наряды, а что в моде, впрочем, много шелку и бархату; просила Феничку завернуть к ней когда-нибудь погостить, а чтобы, впрочем, она не хандрила (слово поставлено русское французскими буквами: не khandrella) и сама влюбилась в какого-нибудь хорошенького улана или кирасира. Княжна совершенно не поняла письма и просьбы Фенички.

На второе письмо ответила не сама Мери Кахнович, а ее папенька, статский генерал, и ответил с отменной аккуратностью, в первую же почту: «Милостивая государыня, Евфимия Ивановна! Ваше почтеннейшее письмо застало мою Машеньку уж в замужестве, за коллежским советником Веденеевым. Да на сие замечу, что она вам и не ответила бы и я ее отнюдь к тому бы не допустил. Ваша история с доктором, титулярным советником Семереньковым, здесь также оглашена. Вам остается смириться и возложить надежды и упование на милосердие Божие. А вследствие отношения вашего к дочери моей и вашей подруге, что вы в нищете, то посылаю вам при сем 25 рублей серебром, с чем имею честь быть, в совершенном почтении и преданности, милостивая государыня, вашим покорнейшим слугой, Андреем Васильевым, сыном Кахнович».

Третье письмо пришло вслед за вторым и совершенно смутило и повергло в холодное и безвыходное отчаяние Феничку. Пашенька Булавеньева писала, и Феничка тщетно усиливалась в ее речах угадать былую сверстницу своей отроческой жизни. Феничка помнила ту драму из ее жизни, когда она кончала курс. Пришествие Феничкина отца за ней в заведение пешком обратило общее внимание. А между тем Пашенька Булавеньева кончала курс в то время, как старику Булавеньеву директриса должна была отказать от кафедры рисования потому, что его руки как-то неловко примерзли в одну из зим, не прикрытые щегольскими теплыми перчатками, когда он заблудился в предместье города, поздно возвращаясь домой с уроков, и стали сильно трястись. Феничку проводили с романтическими возгласами, а Пашенька перешла в холодную комнату, в четвертом этаже, где приходилось жить круглый год на пенсии огорченного отца. Старик недолго пожил: паралич доделал его карьеру, и письмо Фенички застало Пашеньку уже на полной свободе. Пашенька, проживая уже в сомнительно щегольских комнатах, разодетая в атлас и в блонды и разъезжая на пролетках какого-то бессемейного купца, писала так: «Ангел и шерчик Феничка! Все трын-трава на белом свете. Я сама вздыхала горлинкой и точила слезы отчаяния; все это чепуха. Теперь я пью шампанское, как гусар, танцую канкан и читаю романы Дюма-сына и компании. Утешься и ты. Спеши, приезжай к нам. Здесь, в той злачной юдоли, где я живу, не знают ни печалей, ни воздыханий. Посуди сама, что мне предстояло? Состариться старой девой или выйти за чахоточного чиновника! Оглянись кругом себя и спеши! Если ты любишь и читала Беранже, то вспомни его пьесу «Je volerais vite, vite, vite, si jetais petit oiseau!» Явись в веселый, бесцеремонный и вечно довольный круг, где ныне обретается и твоя верная Пашета Булавеньева».

Истина во всей ее наготе представилась Феничке. «Какое падение?.. Надо ее выручить!» — повторяла она. Отверженная всеми, забытая и оскорбляемая всеми, она почувствовала

прилив невыразимейшего негодования. Предрассудки, клевета, зависть и себялюбие взяли свое. Последние шаги по пути чести были ею пройдены. Ехать в другую губернию? Но с какими средствами и куда пристроить ребенка?

В одно утро, собрав свои небольшие пожитки и запасшись частицей заработанных трудом денег, Феничка отнесла свое дитя на время к священнику, простилась со своей хозяйкой и, договорившись с какой-то купеческой четой, ехавшей в тот же губернский город, где она училась, отправилась в путь. Остальная ее надежда была — прибегнуть, еще с незапятнанной совестью, к бывшей своей директрисе и упросить ее дать с каким-нибудь местом при заведении честный кусок хлеба. Она прибыла в город.

Было воскресенье.

Принарядившись в чистое и белое кисейное платье, прикрывшись платочком, в вязаных перчатках и под стареньким зонтиком, она подошла с другими надеждами и верованиями к знакомому зданию. Швейцар, стоя у щегольской лестницы, не узнал ее.

— Дома Анна Карловна?

— Дома, да никого не принимают.

— Доложи, что пришла бывшая здешняя воспитанница Басорская.

Швейцар оглянул ее с ног до головы и пошел докладывать. Феничку позвали.

Но продолжать ли мне?.. Директриса, та же ласковая, строгая и чопорная дама, сидевшая постоянно у круглого стола перед диваном, в то время как лучшие воспитанницы сидели тут же поодаль, занимаясь работами и изредка отвечая на ее вопросы, приняла Феничку озабоченно-нежно. Взором велела остальным девицам выйти и усадила ее близ себя.

— Все так, все так, моя милая! — говорила она на просьбы Басорской, державшей себя вообще пристойно и

гордо. — Я понимаю ваше положение! Вы, точно, хорошо кончили курс. Да что же мне делать! У нас кровать на кровати, места нет не только классным дамам, даже детям. Все должности заняты...

— Ах, maman, да вы примите меня хоть куда-нибудь, хоть кастеляншей, за бельем смотреть; хоть...

Феничка не договорила. Директриса сидела, опустив глаза, мяла в руках платок и была очевидно в волнении.

— Притом же, — начала она, — не скрою от вас, не хочу вас обидеть, здесь прошли... такие... слухи... понимаете, моя милая!

— Боже мой, — заговорила Феничка и закрыла лицо руками, — вы меня призрите, отогрейте, защитите; ведь я ваша, я с голоду умираю. Нас один Господь разберет, я ли виновата; а вы меня спасите, поднимите; ваш голос заставит молчать других. Я же не убийца, не воровка, не преступная... Ради моего ребенка, maman, защитите меня!

Директриса быстро встала.

— Нет, нет, никогда, это невозможно, оставьте меня.

Феничка встала, отерла глаза, хотела еще что-то сказать и молча пошла к двери...

Добрая директриса, чуть стихли ее шаги, со слезами бросилась на колени перед образом, и воспитанницы из соседней комнаты, сквозь дверь, видели, как она усердно молилась.

А между тем внизу, у выхода, произошла сцена другого рода. Сходя по лестнице, бледная, без слез, измученная и чуть живая, Феничка встретила институтского эконома, двоюродного брата директрисы, рьяного поборника чистоты полов, блеска притолок и дверей, огненной яркости замочных ручек и печных задвижек и врага хорошего аппетита и исправных желудков. Он всегда ненавидел Феничку за то, что та в старшем классе открыто волновала свой стол, бракуя то пахнувшую свечным салом похлебку, то макаронный соус, куда неожиданно примешался таракан или целая мышь, или

выдаваемую за молоко неподражаемую смесь муки, масла и воды. Он узнал ее сразу и сообразил в миг, что посещение начальницы было для этой выпущенной пташки неблагополучно. Он поднял на лоб очки, закинул голову назад, выставил ногу вперед и, обращаясь к Феничке, сказал:

— Вы бы, сударыня, ноги вытирали. Мало еще нам с вами в заведении было хлопот; а то еще с воли приходите, шатаетесь там да ковры у нас пачкаете. Дело нехорошее, сударыня, вот что...

Ничего не видя и не слыша, вышла Феничка на крыльцо. Она приостановилась, ухватилась рукой за лоб. Голова ее горела, глаза неопределенно блуждали. В это время подлетел на рысях лихач-извозчик. «Эх, барыня, прокачу, возьмите!» На другой день в «Полицейских ведомостях» было напечатано: «Из Фонтанки вынуто тело неизвестно какой девицы, бросившейся в воду с Николаевского моста».

1860 г.

СЕМЕЙНАЯ СТАРИНА

I

ПРАБАБУШКА

Прабабушка моя, Анна Петровна Данилевская, в девичестве Плотникова, была фрейлиной великой княгини, впоследствии императрицы Екатерины Великой, и умерла на восьмидесятом году жизни, более пятидесяти лет безвыездно проведя в родовом степном селе мужа на Донце. Она была небольшого роста, с нежным, белым, в тонких морщинках, как у эрмитажной старушки Дённера, лицом и с большими карими ласковыми глазами. В молодости она играла на клавесине, была из первых в придворных веселостях прошлого века и, любя цветы, зачитывалась романами Жанлис и повестями Мармонтеля. В зрелых же летах, перевезенная в деревню мужа, она была строгой хозяйкой и постоянно носила черное платье с небольшим шлейфом, а под чепчиком, из собственных седых кос, на гребенке, высокий шиньон, который крестьяне тех годов считали колтуном. В годы силы и здоровья, распутывая дела мужа, она с черешневой тростью выезжала в поле на длинных самоделковых дрожках, шумела на работников, вела приходно-расходные книги, щепила деревья, рылась в грядах сада и еще незадолго до смерти, весной и летом, чуть не каждую неделю, ходила пешком версты за две от деревенской усадьбы, в лес, к ключу превосходной родниковой воды, чопорно провожаемая двумя гайдуками из дворовой челяди, одетыми в простые,

серые свиты и с палками в руках. «Это мои камер-пажи!» — шутила подвижная не по летам старушка, с пришпиленным шлейфом пробираясь полями к роднику, черпала серебряным стаканчиком воды, отдыхала у картинного взгорья, поросшего ракитами, над озером, где бабы, громко горланя песни, белили холсты, и на возвратном пути успевала еще нарвать пучки лесных и полевых цветов: голубых пролесков, то есть подснежников, тюльпанов и дикорастущего алого горошка.

Под конец дней, теряя более и более силы, прабабушка Анна Петровна редко уже покидала опочивальню во флигеле, рядом с большим домом сына. Здесь, среди цветов и клеток с дроздами да желтощекими жаворонками, прабабушка постоянно сидела на постели, в белоснежном высоком чепце, всем и каждому ласково и приветливо улыбаясь.

Сюда к утреннему кофе и к целованию прабабушкиных ручек, вымытых в той же ключевой воде, по докладу седого парикмахера Гаврюшки, носившего на босу ногу башмаки и в них для прохлады соломенные стельки, являлась вся огромная, давно угасшая семья: сын ее Иванушка, то есть мой шестидесятилетний дедушка, Иван Яковлевич, памятный в семействе тем, что чин прапорщика гвардии он получил еще в колыбели и далее этого чина по службе не шел, потому что никогда не покидал деревни и тихо здесь состарился, среди хозяйства, псарни и втихомолку волокитства за сельскими красавицами. За ним шли внуки, то есть мой отец, дяди, тетки и вся остальная мелюзга правнучек и правнуков. Старушка кланялась, по тогдашнему придворному обычаю, полукругом, то есть разом всем, потирая руки и приговаривая: «Все ли вы в добром здоровье?» Поздоровавшись с матерью, дедушка молча отходил в сторону и, потирая хохолок седых волос, как я помню, пришпиленных особою гребеночкой на лысом лбу, со вздохом садился к окошку. О чем вздыхал дедушка? Более, вероятно, от скуки. Так же молча, с реверансами садились по стульям, вдоль стен опочивальни, и остальные; слушали комплименты старуш-

ки, отвечали на ее вопросы, пили кофе и, делая новые реверансы, так же церемонно расходились по своим апартаментам и углам.

Казалось, вот рай земной; а дела между тем были здесь очень плохи. Дедушка, тихо вздыхавший в присутствии матери, на стороне любил покомпанствовать. Продаст хлеб либо шерсть, и сейчас бал. Отпросившись у матушки-сударыни в отъезжие поля, он исчезал иногда по месяцам. Вслед за ним, с охоты навaливали ближние и дальние знакомцы. Экипажи наполняли двор. Окна большого дома освещались. Домашний оркестр гремел с хор. Свои певчие вторили ему из столовой. Пушки стреляли на дворе. Веселые пары носились в экосезе и котильоне. Иной раз и прабабушка Анна Петровна, в такие дни, оставляла опочивальню, надевала парадный белый роброн, выходила из флигелька, крытого камышом, являлась в дом Иванушки, в высокую залу, увешанную портретами предков, и играла в бостон либо под музыку Сарти, церемонно и важно шла с кем-либо из гостей посановитее в польский.

Отъезжие поля и пиры окончательно разорили состояние Иванушки. Доходило до того, что в зимние вечера, скучая недостатком гостей, он высылал верховых на ближние и дальние проселки и, кто бы там ни ехал, всякого чуть не насильно принуждали сворачивать в гости в его усадьбу. А между тем зачастую слуги, носившие при гостях фраки, без гостей понедельно сидели на кашице. Прабабушка не знала положения дел Иванушки и умерла, считая его хорошим хозяином. Дедушка утешил ее особенно тем, что лет за тридцать до ее кончины, в видах, впрочем, размножения дичи, засеял сосной более пятисот десятин сыпучих песков по берегу Донца и весь этот бор принялся и вырос на удивление, за что дедушке был пожалован орден Владимира.

На такое чудо, исполненное крепостными работниками, съезжались смотреть многие важные особы, губернатор, архиерей, профессора соседнего университета, а потом и сам граф Аракчеев, поблизости с поместьем прабабушки также

делавший чудеса, а именно: вводивший тогда между свободными изюмскими и чугуевскими слободскими казаками так называемые военные поселения. Прабабушка сама была не прочь еще в недавние времена подеспотствовать, причем Иванушка, с ведома ее, ковал в кандалы тех девок и парней, которые на селе по ее выбору не желали в обычные сроки венчаться. Но она не одобрила ни графа Аракчеева, ни тех мер, которыми он вводил близ нее эти поселения. «Приехал он, машер, представьте, — передавала она по секрету мелкой соседке, ездившей к ней по праздникам с поклоном, — приехал, живодер, выстроил под Чугуевым целую слободу, навалил розог, а в стороне велел, на всякий случай, припасти несколько готовых гробов и стал, это, сечь непокорных. Одни секут, а другие своим тут же и могилы роют! Сек он этак мужиков, сек и баб. Одна бабенка со страху-то, мон кёр, вырвалась из-под розог да в беспамятстве к гробам-то... А граф и крикнул: «Не бойся, красавица, выбирай любой; какой хочешь, дам на погребение!» Этакой мужик, капральщина! Никакой тонкости! Такие ли душегубы в наши дни власть имели? Невежда-азиат! Хоть и граф, да еще и александровский кавалер».

И когда граф Аракчеев с адъютантами и командирами новоиспеченных южных поселений, нежданный и непрошеный, налетел в тихий Пришиб, поместье прабабушки, с желанием воочию осведомиться, как это один человек мог засеять более пятисот десятин сосною, прабабушка Анна Петровна, оказывая властям должный решпект, разрешила сыну Иванушке показать и рассказать его сиятельству, царскому фавориту, все, что нужно; но не преминула перекреститься и плюнуть, увидев из окна опочивальни угловатую и грубую фигуру надутого «азиата», вылезавшего из высокой, запыленной поселенской брички, а при случае даже дала ему и почувствовать немалую долю своего негодования и пренебрежения.

Обед приготовили для графа на славу; порезали много откормленной живности, но лакеи не первому ему подносили

кушанья! А когда граф Аракчеев, сбившись в хронологии какого-то столичного придворного события, о коем повествовал перед затянутыми до апоплексии в мундиры адъютантами, заспорил со старушкой насчет времени и, положив в тарелку начатое стегно каплуна, спросил ее: «Да позволь же, мать-сударынька, узнать, какой же тебе годок?» — померкшие глаза старушки сверкнули, она затрясла оборками чепца и белыми, как мел, губами отвечала: «Во-первых, граф, я тебе не мать и не сударынька, а статс-фрейлина моей покойной царицы, Екатерины Алексеевны, и ты будь к хозяйкам поделикатнее; а во-вторых, — этакие ужасти! — в наше время изрядные нравом кавалеры о годах дам не спрашивали...» Сказав это, прабабушка встала из-за стола, ни на кого не смотря, кивнула головой вправо и влево и, подав руку оторопелому Иванушке, молча и с достоинством удалилась восвояси.

Произошел величайший переполох и замешательство. Граф Аракчеев, с недоеденным куском каплуна, вскочил, не доискавшись хозяев, крикнул экипаж и уехал в Чугуев, где вновь в окрестностях посыпались шпицрутены и раздались плач и вой баб, детей и стариков. И когда в Петербурге, прослышав об этом событии, шутники-друзья его спрашивали, что за история случилась с ним в гостях у бедовой старушки на Украйне, граф Аракчеев ворчал и говорил: «Да что, отцы мои! Как ей не быть предерзкой, коли сам тамошний губернатор, ездив на ревизию по губернии, застал, что у порога этой якобинки стоял на коленях, в наказание за какой-то промах по хозяйству, ее пятидесятилетний сын, настоящий владелец имения, притом чином лейб-гвардии прапорщик и его величества кавалер!»

— Что это у вас за перстенек на руке? — спрашивали иной раз Анну Петровну любопытные внучата.

— Заветный перстенек, детушки, заветный! И с ним связана целая авантюра в нашей фамилии...

— Какая такая авантюра?

— Преотменная! Фамилия наша, соколики мои, начинается с первым заселением Донца и всей этой окольной степи...

— Расскажите, миленькая бабушка, расскажите, как заселились эти места и что это за случай с перстеньком.

В длинные осенние и зимние вечера, полулежа на постели под стеганым из коричневого атласа одеялом и облокотившись о высоко сложенные, обшитые кружевом, подушки либо в мерлушковой шубке примостившись бочком на расшатанной треногой скамеечке, перед угасавшей печкой и разматывая на прялке нити козьей шерсти, маленькая, сморщенная старушка не раз передавала все то, что слышала от мужа и еще от покойной свекрови о заселении края, к пустырям которого, шесть веков назад обращался певец «Слова о полку Игореве», восклицая: «О, Донче! Ты лелеял князя на серебряных берегах, стлал ему зелену траву, под сению дубрав...»

— Берега нашего Донца, соколики мои, — рассказывала прабабушка, — даже в ту пору, как я сюда переехала молодоженкою из Питера, были еще во всей, можно сказать, невиданной красе. Народу еще было мало, зверья много. По лесам рыскали дикие кабаны; от лисиц, бывало, не удержишь ни кур, ни индюшек; а волки заходили даже в сени, как ударит иной раз, на несколько дён, зимняя вьюга да за ужином запахнет бараниной. Татары и нагайцы, скажу вам, шмыгали сюда и при мне. Да и родила я мила дружка Иванушку как раз в то время, когда по тот бок Донца от татарского набега вдруг зажглись по сторожевым курганам костры, а я, тяжелая, без маво Якова Евстафьича, с перепуга села на коня, поскакала к бригадирше в Чугуев да на дороге, у андреевского попа в пчельнике, матерью стала... Но это все ничего. Не то сказывают о временах мужнина деда. В те поры здесь была сущая пустыня: меловые горы, вековеч-

ные темные леса, тихие, в большущих камышах воды да некошеные степи, без жилья и без единой людской тропы. Забрел человек, кричи с холма в лесные провалья, сколько сил хватит, никто не отзовется. Только иволги, хохотвы да орлы по буграм перекликаются. Зверь и птица своей тогда смертью умирали. Так было до последних почти годов царя Алексея. Тут польские паны больно уж потеснили казаков за Днепром: пожгли ихние церкви, мельницы, винокурни и хутора; те и двинулись сюда...

Был, сказывают, тихий весенний вечер. По сю сторону Донца, на крутизне, показался верхом на заморенном коне чубатый гетманец. Ехал он-ат, горемычный, без дороги, пустыньками да озерками, и как некая тень вечерняя появился, детушки, из-за косогора, с пищалью да с котомкой за плечами, голодный, захудалый, обношенный и уже из себя не молод. Спасался он от вражьего погрома. Миновал одно лесное затишье, другое. Слез с коня, напоил его в ключе, сам перекрестился, напился, поднялся опять на пригорок, окинул глазом Божью, тихую да уютную пустыню, и сердце у него замерло. Что прохлады кругом, в дремучих лесах! Что птичьих криков внизу, по голубым затонам да озерам! Что медвяного запаху от доцветавших в ту пору диких груш и яблонь, и что гудения от пчелы и всякого жука, комара и мухи! Упал казак на колени на траву и сказал: «Быть тут поселку! И лучше мне осесть у тебя, мать-пустыня, в соседстве с кабаном да с волчицей, чем пропадать как псу от польских кнутов!» Это, други мои, и был первый здешний осадчий, а ваш пращур, казак-подолянин из-за Днепра, Данило Данилович. Что сказал осадчий, то и сделал: осел поселком тут в то же лето. И как напуганная пташка бросает опасные стороны и прилетает вить гнездо в таком тайнике, где ее и вашими глазами, детушки, не увидишь, так и Данило перевел сюда, в вековечную глушь, свою старуху и деток и в скрытности лесной, у озера, меж отрогами холмов, вырыл землянку и срубил курень. За Данилой по его зову: «На Донец, на Донец! На волюшку!» — бежали сюда его соседи.

Вырубили лесную поляну, выкопали корни. В тростники спустили челнок. У воды застучал о кладку бабий валек. Крикнул петух; загудела в ульях наловленная тут же, в лесных дуплах, резвая дикая степная пчела. Трудно было первым поселенцам на Донце! Бабы обносились, дети напугались зверья, серых ужей да золоторогих змеек; все намучились — и стар, и млад. По ночам боялись свет зажигать. Сторожа, как белки, прятались по верхам дерев. Хлеб сперва сеяли возле самого жилья, да и жилье часто разбивали по хлебу. Все голодали, на сухарях сидели по месяцам. Но зацвели опять леса. Данило с криками: «На Донец, братцы, на Донец!» — еще перезвал товарищей. Вокруг первого куреня поднялись, точно грибочки из земли, другие курени. Данилу выбрали сотником.

Прошли года; из куреней в лесу стала слободка, Великое Село, с окопом, бойницами, мельницей и с такой маленькой деревянной церковкой, что не вся в ней слободка помещалась, а многие слушали служение снаружи, во дворе и под деревьями. Невдали же от крепостцы Данило стал заводить хутор, что ныне Пришиб. Одна беда: не мог он, други мои, перезвать из-за Днепра своего названого брата и кума, казака Ивана Жука. Сперва прослышал он, что Жук был убит в схватке с поляками; потом, что он жив и что его видели в извозе за солью, а потом и слух о нем затих. Сотня Данилы той порой обстроилась и богатела хлебом, оружием и всяким добром. Но не помогали ей ни рвы, ни частоколы, ни пушки. Нагрянули, детушки мои, на наш Донец поганые татары. Саранчой раз вечером, под самый Юрьев день, откуда ни возьмись, налетели и вдруг, это, устлали всю нашу окольность, а ночью зачали, бормоча и гикая, переправляться вброд по сю сторону Донца. На кого ни наткнутся, сейчас его на пику либо на аркан. Страх напал на слободу. Данило Данилович незадолго перед тем отправил жену и малых детей в повозке на богомолье в Хорошев монастырь и за них не боялся; он боялся за сотенную казну. А казна-то была у него в бочонке, в подвале. Выстроил он сотню под ружьем,

запер ворота частокола, расставил часовых, велел с окопа пушкарям палить по броду, сдал на время команду другому, а сам, как стемнело, сбросил свиту, взвалил бочонок с дукатами и талерами на плечи да тайком и отнес его в камыши, в родниковый колодезь, невдалеке от сотенного пчельника. Только что опустил в воду бочонок, смотрит — по тот бок колодца, в камыщцах, стоит и глядит на него из кустов, точно привидение, весь белый, другой, незнакомый человек. Он так и обомлел. «Видел?» — спросил Данило. «Видел!» — ответил и тот. «Ну, коли меня убьют, а ты уцелеешь, дай знать тут в сотню, где ее казна». Сказал и пошел кустами, а сзади его точно летело в воздухе, и после сам он дивился, как он оставил казну на глазах неведомого человека. Татары разбили крепостцу, сожгли половину куреней, липовый теремок на хуторе сотника ограбили, угнали стада и самого долго пытали, где сотенная казна, и чуть не замучили до смерти. Данилу взяли в плен и увели на аркане в неволю в Крым, а потом на Кубань. И когда Данило, года через четыре, подкопавши тайник, на хозяйском жеребце бежал из плена, явился опять среди своих на Донец и кинулся к колодцу, бочонка там не было. Народу тоже поубавилось. И долго сотня не могла поправиться после татарского погрома...

— Что же, прадедушка так и не нашел бочонка? — спросила нетерпеливая правнучка.

— Постой, пострел, все узнать успеешь! Так прошли еще года два. И вот, милые мои, скажу вам: раз Данило стоял на пригорке, невдалеке от остатков погорелой крепостцы, и говорил заезжему полковому писарю: «Вот, ваша милость, уже через наш поселок и чумаки стали ходить!» А тем часом, действительно, промеж деревьев показался чумацкий обоз, шедший из-за Донца мимо их окопа. Времена стали другие; о татарах было почти не слышно, и край уже кругом заселился, по Торцу, по Самаре, по Орели и по Береке. Когда обоз приблизился к пригорку, с переднего воза встал чумак-хозяин, подошел к Даниле и писарю и

спросил: «А кто у вас тут сотник Данило, что поставил этот поселок и так долго был в басурманском плену?» Получив ответ, покачал головой и сказал: «Да как же ты, друже, побелел! Совсем старый стал! Не узнаешь, видно, и ты меня: я — Жук, твой названый брат и кум! Ехал я мимо, вершинами Донца. Слух о тебе далеко пошел, я и завернул к тебе на подмогу. Довольно уж и мне мотаться по свету. Коли примет меня твоя братия, и я с моими хлопцами тут же сяду. А кто вашу казну подглядел и тайно взял из колодца, я тоже слышал. Подобрал ее и перенес в другое место беглый пушкарь из Цареборисова. Да не удалось ему ею поживиться. Он недавно умер от оспы и на духу все показал попу. А я от народа узнал. Посылай за казною; она у начальства на руках». Данило поклонился куму в ноги. Сбежались казаки; составили совет; Данило обо всем отписал царю и воеводе. И долго обоз того чумака, детушки мои, стоял на выгони у Пришиба, а сотня веселилась и поила всю чумацкую братию. Казна отыскалась. А к осени, сударики мои, чумак, действительно, привел к Даниле ватагу других земляков, поклонился сотне, и сотня отвела под жилье, под скот и под хлеб чумаку и его братии часть своих земель, десятин сотен несколько, межами от кургана до кургана и от дуба до дуба. В сотенной слободе прибавилась целая новая улица, и ее прозвали, по имени того чумака, Жуками.

Так прошло еще время, и сотник Данило стал подумывать о том, что сталось с его сынишкой — Евсташей, которого царь Петр, во время его полонного терпения, взял в Питер и поместил там в добрую науку к некоему ученому процептору. Другие сыновья Данилы росли дома на свободе. Евстафию ж пошел уже двадцатый годок, и отец к нему в новую царскую столицу Санкт-Питер упросил съездить бывалого в Нарвском походе и далее, тоже простого казака-соседа, Кирюшку Горличку. А старик Горличка тут через реку также занял землицу и сидел хутором. Отписал родитель в Питер письмо, требуя сына домой к себе на помощь,

и послал ему три рубля на лакомство, харчей и пару коней с повозкой на дорогу. Кирюшка приехал в Питер, стал отыскивать по казармам да по товарищам соседского сына и узнал о нем недобрые вести. Был тогда в Питере, возле самого царя Петра Алексеевича, ближним ко двору князь Юрий Трубецкой, а у этого князя Юрия была на стороне фаворитка из немок и от этой фаворитки дочка Марьюшка, молоденькая, тихая и из себя красавица; звалась, впрочем, не Юрьевной, а по мужу матери — Алексеевной. Жила она с маткой всегда поблизости двора; двор в городе — и они в городе, двор на даче — и они тут же, в закрытности где-нибудь на даче. Вышел-ат Евстафий Данилович из школы от процептора молодец молодцом, румян да пригож, рослый и чернобровый, хотя стыдлив и робок. Стал сержантом гвардии на царском жалованье и нередко попадал на караулы к самым царским, не то что к окольным, дворским хоромам. Тут он и узнал, в тайном спряте, княжью Марьюшку и полюбил ее пуще свету, полюбила Евстафья и Марьюшка. Виделись они урывками на вечеринках; танцевали вместе менуэт, виделись наедине в екатерингофских да василеостровских садах и рощах. Долго ли, нет ли, сударики вы мои, любились Евстафий да Марья, только, наконец, и скажи ее матка князю Юрию: что так, мол, и так, некто сотничий сын, из Изюмской слободской провинции, государев сержант, Евстафий Данилович, сватается за их дочку Марьюшку, что он поистине отменного нрава, сам молодец, добрых родителев и что есть у его казака-отца немало маетностей, садов, лошадей, овец, одежи и всякого добра. Осерчал гордый князь Юрий, выразился дурно не только об Евстафии, но и о его родителе: обозвал обоих хохлацким мужичьем и дегтярниками и запретил даже пускать его к порогу своих хором, грозя отодрать его батогами, коли узрит поблизости Марьи. Приняты были, должно статься, тут же меры крутенькие. Княжеские лакеи припасли в передней, по барскому велению, пук розог; а ночью, у окон Марьюшки, ходили сторожа и раз, заслышав впотьмах близ сада чей-то конский

топот, подняли на княжеской даче такую пальбу из мушкетов, что с барышней сделался от страху припадок и ее насилу к утру отходили. Евстафий с горя отчалил, вышел в отставку и пропал у всех из виду. А Марьюшка чахла-чахла и кончила тоже, ангелы мои, совсем плохо... Пошла Марьюшка с камер-медхеной своей на реку Волынку на даче купаться. Лето было жаркое, и вся царская женская свита в те поры в Екатерингофе наперерыв в воде бултыхалась. Только матка Марьюшки ждать-пождать, нету дочки и камер-медхены. Послали их искать, но слуги на берегу речки, представьте, нашли только зеленое голландское шелковое платьице Марьи, шитые золотом бархатные туфельки, сорочку да платочек да смердьи обноски этой недогляды-камер-медхены. Значит, обе девки порешили жизнь кончить и пошли на дно, как камешки. Приволокли невода и лодку, царева хозяйка матросов с островов нагнала, искали утопленниц и не нашли. Порешили, что течением унесло их в море.

— Что ж, и вправду утонула Марьюшка? — спросила опять нетерпячая правнучка.

— Ах, мон кёр! Да сиди ты, егоза, все узнаешь! Ударился о землю князь Юрий, немало плакал с фавориткой; долго служили они панихиды, справляли поминки и угощали нищих. На это-то, весьма ужасное и притом поистине мерзкое горе-злосчастье и наехал, представьте, посланный отца, Кирюшка Горличка. Узнал он про все, Евсташи тоже не отыскал и долго не решался к сотнику не то что обратно ехать, а даже и писать. Ходил он, ходил по Питеру, да уж какие-то господа, едучи в Киев на богомолье, довезли его и высадили на пограничной украинской линии в Белгороде.

Так протянулось, други вы мои, время до войны со шведами и до самой Полтавской баталии... Первые слободки пустили от реки в степь, как корни на вешней грядке, другие слободки и хутора. Сотник же Данило, надо вам, миленькие, доложить, жил со своими сукцедентами и с товарищами все тут же, на излюбленных придонецких местах, все в той же занятой, по черкасской

обыкности, долине, в крепостце и в милом сердцу сотенном Пришибе, как прошла молва, что на выручку армии под Полтаву, с юга, от Азова, спешит со свитой через те окольности сам царь Петр Алексеевич, а впереди себя послал отряды свежих войск. Ахти мне! Всполошились поселенцы. Как царя встречать! Двадцать седьмого мая, как теперь помню, сказывал мужу свекор, царь выехал из Азова степью на Бахмут, Изюм и Змиев; в Изюме он изволил кушать, справлять день своего рождения и ночевать у г-на Шидловского, а второго июня был уже в Харькове. Отстоял там ясный сокол-ат наш, в праздник Вознесения, позднюю обедню, прочел всенародно, как есть среди соборного храма, Апостола, осмотрел город и крепость, бурсака какого-то по-латынски спросил, с бабами на базаре побалагурил, чье-то дитя брал на руки, ласкал. В тот же день его величество отъехал к Полтаве и двадцать седьмого июня, на Сампсония, разбил шведов. И, стало быть, коли второго июня царь Петр Алексеевич был в Харькове, то первого июня был он в гостях у сваво верного изюмского сотника Данилы. Стоял тут в Пришибе все еще старый липовый теремок, одним-один у реки. Только вишенье, лесное орешье да яблони возле него разрослись после татарского погрома. А кругом, врассыпку по зеленой поляне, возле крепостцы и на хуторе, стояли соломенные казачьи курени, сарайчик, мельницы да маленькая в лесу церковка. Накануне от соседней слободки Балаклеи показалось войско и, не доходя Пришиба, стало лагерем. А на вечерней заре закурилась с той стороны пыль, показались скачущие, в зеленых кафтанах, рейтары, потом один экипаж, другой и третий, и все размалеванные, четверками, рыдваны да берлины. Это была царская свита. А впереди, на паре ямских, в пыли, так что его трудно было и рассмотреть, показался как есть в простой некрашеной одноколке сам царь и с ним рядом изюмский полковник, женатый на дочери сотника, Варваре Даниловне, Михайло Константи-

нович Донец-Захаржевский. Царь у него рано пообедал в Изюме и сказал: «В Пришибе остановлюсь; сделаю муштру тамошней сотне да зайду на пироги к старику сотнику, поблагодарить его за верную службу, за постановку поселка и флотилии и за его полонное терпение!» А поверх меловых прибрежий Донца, от Изюма до Пришиба, где ехал царь, опять, детушки мои, полным цветом цвели некошеные поля, жаворонки заливались, дрофы да стрепеты перелетали; снизу же, от Донца-реки и от озер, доносились, словно райские, запахи всякие да звонкие крики диких гусей, журавлей и лебедей. И несколько раз он, ясный сокол-ат наш, останавливался и заставлял ординарцев да генералов свиты рвать пучки цветов. «Часть поднесем в презент хозяйке в Пришибе, а остальное пошлем на пробу в Питер, в гоф-аптеку; нет ли тут каких хороших целебных зелиев?» И царская свита, морщась от жары да пыли, рвала те самые цветы, которые и я вам, детушки, старая бабка Ашенька, рву иной раз и доныне. Сотня в строю, на конях, в оружии и с пушкой встретила царя, отдала ему честь, выпалила салют, крикнула «Виват!» и поскакала за ним сперва к крепости, а потом и к сотниковой усадьбе. Царь, потирая поясницу, весь в пыли и сильно загорелый, в шелковом синем кафтане, слез с повозки, снял шляпу, утерся, это, платочком, прямо так на всех поглядел, поклонился и сермяжной братии, ступил на старенькое крыльцо, так что половицы заскрипели и столбики дрогнули, и шагнул в светлицу, где уже в прохладе стояла с хлебом-солью старая сотничиха Анна, был накрыт стол и закуска приготовлена. «А! Воеводиха! Отвоевалась от татар! Ну, Данило Данилович, слезай-ка и ты с коня да веди к себе в гости!» Вошел он, ясный сокол, в терем, озираясь на глиняный пол да на белые мазаные стены, и сел за этот вот самый, что стоит у окна, крашеный белый стол, с размалеванными на нем, как видите и теперь, тарелками, ножами и солонкой. «А кто это у вас?» — спросил царь

хозяев, отряхая с камзола пыль и увидав тут же в комнате красивую, но худенькую молодую бабенку, в шелковом кораблике поверх русых волос, которая, как видно, была на сносе. Не собрались старики отвечать, с низким поклоном, его величеству, что это, мол, их невестушка, как в горницу стала подваливать царская свита и все ближние креатуры его величества. А со свитой вошел и князь Юрий Трубецкой. «Ай! Батюшка-князь!» — вскрикнула не своим голосом сотникова невестка, увидав князя, пошатнулась да тут же, на пороге, словно вот помертвела, и грохнулась оземь. Царь кинулся к ней, поглядел, это, сердито кругом, ухватил князя Юрия за руку и крикнул: «Говори мне, Юрий, сущую правду!» А князю не до того; упал перед дочкой на колени, плачет, дрожит, целует ее руки и говорит только: «Покойница, ваше величество, покойница!» Промолвила тут старая сотничиха Анна: «Казни нас, царь-батюшка, только все выслушай!» — и тут же передала государю, милые вы мои, как было все это дело: как за ее сына, Евсташу, не давал князь Юрий Марьюшку, как вышла девка на реку Волынку, разделась и бросилась в воду, как бы утопилась. А на другом берегу, сударики вы мои, в камышах ее ждала подговоренная некая надежная бабка-голландка с другим бельем и платьем. Марьюшка и служанка выплыли, вновь оделись; а поблизости, в березах, стоял и сам суженый, с повозкой и с добрыми конями; посадил ненаглядную Марьюшку с собою да и умчал ее к отцу, в украинские придонецкие места. Здесь они повенчались да с тех пор тут и проживали у его родителев. А что отца-князя о себе два года Марья Алексеевна не оповещала, так потому, что боялась его княжеского да и вашего, мол, царского гнева! «Клади, князь Юрий, гнев на милость!» — решил царь. Князь послушался. Робкий Евстафий, вообразите, забежал тем временем со страху в вишни. Его отыскали; князь молодых тут же благословил. И когда царь сел опять за стол, выпил рюмку запеканки и сказал:

«Горько!» — Евстафья и Марьюшку, перед персоною самого царя, заставили поцеловаться, а из сотницкого подвала выкатили бочку меду, и пир пошел такой, что после обеда царь велел отпрячь лошадей, закурил трубку, расстегнулся и сказал: «Ну, мин герр-сотник, теперь уж угощай», сел с генералитетом за пунш и остался тут компанствовать до рассвета. И каково же? Царь пирует с подданными, а с надворья в окна вся слободка глядеть сбежалась. Да и была к тому веселью другая причина. Марья Алексеевна уж больно, видно, испугалась нежданной встречи с отцом да к ночи, несколько ранее срока, и родила царю нового подданного, старшего брата, сударики, мужа маво, Якова Евстафьевича. Свадебный пир сменился к полночи крестинами. Царь велел отпереть и осветить церковь и сам, ставя свечи и подтягивая каноны хмельному попу, был за крестного отца у новорожденного. Откуда взял тут царь пару небольших колоколов, может, с собою в другие места вез, только после крестин и говорит: «Плохи у тебя, Данило Данилович, колокола; глухи что-то голосом; никто за лесом и не услышит, что тут у вас служение! Я тебе другие повешу!» — и сам, вообразите, стащил их на колокольню. Они и доныне у нас висят в Пришибе... Уезжая ж до восхода солнца далее в Харьков, зашел к родильнице и сказал ей: «Прощай, кума Машенька, да роди больше мне таких крикунов; и дай я тебя на прощанье поцелую; только извини, чесноком закусил вашу пеканку!» Надел Марьюшке аметистовый вот этот самый перстенек со своего мизинца, подарил ей пучок нарванных дорогою полевых цветов, посадил у крыльца в саду желудь и уехал... Так вот вам история перстня.

Да вот еще что, мои детушки... Совсем стара стала, забыла! Уж в какое время, вечером ли засветло, после ли обеда, али ночью, при месяце, только прослышал его величество, что между сотниковым хутором и крепостцой в лесу есть поблизости озеро Лебяжье и на нем, для рыбной ловли, устроен такой небольшой катер. Что же вы думаете? Велел себя везти туда, потащил с собой сотника и весь генералитет

и проехался раза три по озеру; ставил паруса, заставлял стрелять из мушкетов с катера, в честь новорожденного, и всех благодарил, начальство и казаков. Старый Данило тоже подгулял и только все кланялся, а при отъезде царя как упал ему в ноги, так насилу его подняли.

После Полтавской баталии государь прислал сотнику из Батурина пару шленских овец на завод, а из Питера в скорости и крепостную грамоту на владение — как бы вы думали чем? — десятью тысячами десятин из числа сотенной земли, не только с казачьими дворами, но, как потом объявилось, и с самими казаками... Да, детушки мои! Данило потом подпал под гнев царя, был взят по доносу в Питер, в розыскную канцелярию князя Юсупова, и там, в крепости, хотя и оправдался, в скорости умер. Во власть же и в подданство его сукцедентов, по царской грамоте, да по Божьей милости, попали не только свои братья-казаки, но и названый его кум Иван Жук, с товарищами, принятые сотней, и сосед его Кирюшка Горличка, со всеми домочадцами. Люди, разумеется, были все темные, как есть мужички. Да и сам сотник Данило, несмотря на ранг, как жил, так и умер еще по простоте. Евстафий же Данилович по смерти отца подобрел, зажил припеваючи, на всю губу; шелковый красный кафтан стал носить и парик с буклями; от царских же овец повел огромные стада. А владея крестьянами, он потом получил и дворянство. При пресветлой царице Анне Ивановне господин лейб-гвардии майор Хрущов производил тут первую ревизию. Тогда Евстафий Данилович был уже изюмским полковником, с Минихом в Крым ходил, и за ним по ревизии записали навеки всех жильцов его придонецких земель. И хотя у Евстафия и Марьи Алексеевны дети померли и, окромя сына Якова, не осталось в живых детей, но и Яков Евстафьевич-ат мой вышел тоже из себя, перед всем своим родом, мужчина уважительный и средостепенный, строгого нрава хозяин и подданным своим не потатчик! Его не учили так, как его родителя; но он умер, по милости Божьей и матушки-царицы, как подобает столбовому дворянину: в че-

сти, в богатстве и в холе; мне приказал быть во всем хозяйкою до смерти и ездил из Харькова в Питер по делам, не то что мелкие нонешние сошки, а восьмериком, в желтом этаком рыдване, с двумя фалеторами и с двумя же лакеями. Одна беда: не удалось ему, моему дружку, до конца жизни быть в дворском фаворе и в случае. Горд был, оттого не дошел... А из царского желудя вырос, как видите, в нашем саду большущий дуб. Когда Иванушка венчался, мы под этим дубом уже десерты кушали и венгерское пили... И пока дуб этот будет в целости расти, нашему богатству и родовому гонору, детушки мои, верьте мне, не переставать, а цвести в знатности, в силе и в славе вовеки...

Прабабушка Анна Петровна на этот раз, говоря о своем муже, покривила душой. Не столько ее огорчал граф Аракчеев, заколачивая палками, по соседству с ней, потомков первых насельтелей Донца, не хотевших обращаться огулом в улан и в драгунов, сколько втайне огорчал ее этот самый мил дружок, Яков Евстафьевич, с нею вместе полвека спокойно державший часть этих насельтелей в самом строгом крепостном состоянии. Взял он Анну Петровну небогатой фрейлиной, из-за связей, от царицына петербургского двора, будучи под тридцать лет. Болезненный меланхолик, он был корыстолюбив и скрытен, редко с кем виделся, постоянно ворчал и сердился, вел бесконечные тяжбы с соседями и, еще задолго до отъезжих полей и пиров избалованного им и не особенно любимого сына Иванушки, умудрился этими процессами и стеклянным, в убыток веденным, заводом сильно расстроить огромные, пожалованные Даниле, поместья и, между прочим, наполовину истребил у себя обширные, вековечные придонецкие леса. До женитьбы он был слаб, как после и сынок, в отношении красавиц и не раз даже открыто, через слуг своей молодечни, отбирал на время жен у мужей. А обвенчавшись, жену держал в ежовых рукавицах и, кроме книг да прогулок со слугами пешком и верхом, не давал ей от ревности никакого развлечения. Он умер в чахотке, завещав жене, от непреодолимого страха смерти, построить

большой каменный храм. Прабабушка никому на него не жаловалась. Но ее затаенные укоризны покойному милу дружку Якову Евстафьевичу сказались сами собой. После нее остались любимые ею книги, романы прошлых, забытых времен: «Лолота» и «Фанфан», или приключения двух младенцев, оставленных на необитаемом острове; мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиком; Алексис, или домик в лесу, и похождения Жильблаза де Сантилланы. Везде в этих книгах были подчеркнуты слова, вроде: «О, странное и горестное непостоянство вещей! О, удивительная измена и разность сердца человеческого!» или: «Кроткому духу нравится резвое журчание ручейков и густая тень рощей, а особенно тогда, когда я, о люди, схоронил свое сердце далеко, далеко!» Сбоку этих строк рукою прабабушки написано: «Увы, как это верно».

Умерла прабабушка Анна Петровна спокойно, сознательно и решительно. У нее давно был припасен самый наряд на смерть: новое черное гродетуровое платье, без шлейфа, белая буфмуслиновая косынка на плечи, черный тюлевый чепец и белый батистовый платочек, для подвязания в гробу нижней, при жизни ослабевшей челюсти. Почувствовав приближение кончины, она призвала отца Авдия, попа новой каменной церкви (а поп был маленький худенький бедный, но сварливый, задорный и себе на уме) и долго с ним уговаривалась о подробностях собственных похорон: о месте погребения, чтобы могила в фамильном склепе не затекла водой с соседних бугров, о том, кого звать на отпевание и кого не звать из крупных и мелких знакомцев; быть ли постороннему духовенству и соседним певчим и, наконец, о плате ему, попу, за погребение и за поминальный сорокоуст. Поп просил за последнюю статью пятьдесят рублей ассигнациями, уверяя, что дороги стали свечи, ладан, вино и мука, а прабабушка давала двадцать пять; сошлись на сорока. Покончив с попом, она позвала сына Иванушку и его ученую и всеми любимую супругу, объявила им, на чем порешила с

упорным попом, и прибавила: «Смотрите же, детушки, больше ему, кутейнику, не давайте; Авдиевой попадейке, пожалуй, прибавьте десять ульев. Она меня больную развлекала... Да положите в гроб со мной царский перстень и пучок ландышей али иных цветов. Царский Марьюшкин пучок, кажись, затеряли, как иконы мыли. Да теперь легко собрать свеженьких! Слышу из комнаты, по зорям, птицы летят из-за моря; в воздухе точно вот молодым вином пахнет; значит, степь и леса расцветают!»

Незадолго до смерти Анна Петровна сказала сыну: «Хочу посмотреть, как ты управляешься по хозяйству!» — и объявила, что желает во что бы то ни стало взглянуть на табун лошадей, кормившийся на зимовле, за Донцом, в ее хуторе, на реке Богатой. Иван Яковлевич беспрекословно решил выполнить волю матери и, как ни трудно было, в начинавшуюся распутицу гнать резвый и дикий табун во сто лошадей, его благополучно привели к Донцу и через самый Донец, по сильно таявшему и посинелому льду. Но едва, с громким ржанием, передовые рослые жеребцы, а потом и весь красивый табун выделился из весеннего тумана и ступил на реченьку, но которой расположен Пришиб, лед подломился, и все лошади, за исключением одного невзрачного пегого мерина, потонули. Иван Яковлевич, бывший при этой переправе, заплакал и воротился домой повторяя: «Это даром не пройдет: видно, матушке жить недолго!» Потопление табуна, однако, от старушки скрыли.

С той поры прабабушка стала забываться и умерла перед вечером, незадолго до вешнего Николы. В гробу она лежала маленькая, сухонькая и легонькая, совсем дитя, а не та властительная и важная помещица, из питерских статс-фрейлин, к которой весь уезд в оны дни съезжался на поклон. И хотя она умерла так тихо, что не скоро о том в постоянно суетливом дворе сына и спохватились, но горничная, стриженая Ульянка, не отходившая в последние недели от ее порога, передавала впоследствии на кухне, что старая барыня не раз

перед смертью по ночам вскакивала на постели, в тоске и в горести ломала руки, требовала зеркало, смотрелась в него, чесала гребнем седые всклоченные волосы и с блуждающими глазами тихо, с отчаянием, про себя восклицала, как бы зовя кого-либо из давно умерших, далеких друзей: «Ах, Пашков, Пашков! Мил сердечный дружок, где ты, где ты?»

Яков Евстафьевич, муж прабабушки, фамилии Пашкова не носил, и какая драма крылась в этих предсмертных восклицаниях Анны Петровны, осталось, вероятно, навсегда неразъясненным, так как дневник ее невестки, который та, по преданию, вела, доныне пока в семейных бумагах не отыскан. Полагают, что лакей Абрамка употребил его на обертывание свечей. Царский перстень также затеряли было и потому в кирпичном склепе, над гробом старушки, оставили окошечко, которое долго пугало робких прихожан и куда потом ее внуки, действительно, бросили этот перстень, найдя его в закладе у соседнего жида.

У меня хранится отличный портрет масляными красками Анны Петровны, с портретами ее сына и невестки.

Вслед за смертью прабабушки в Пришиб и в остальные слободы ее сына налетели, в зеленых вицмундирах, приказные, все описали за беспутное мотовство владельца, оценили и оповестили к продаже с молотка. И хотя не все вконец было продано с публичного торга, но род Данилы с тех пор сильно обеднел и рассеялся. В проданном лесу, на месте крепостцы, недавний владелец выстроил сахарный завод, и в его огромную, далеко видную красную трубу буквально вылетел весь лес, как засеянный дедушкой для дичи, так и выросший после стеклянного завода прадедушки.

Один могучий дуб, полтораста лет назад посаженный перед домом давно несуществующей хуторской усадьбы сотника, стоит и теперь свеж и крепок, на тридцать шагов кругом простирая, в заглохшем и одичалом саду забытого поместья, темные и густые ветви. Вблизи от него, у обветшалой каменной

церкви, недавно приютилась крестьянская волостная школа. Дети вновь получивших волю поселян резвою гурьбой, с удочками и с книжками пробираются из школы, через рвы и плетни новых усадеб, к реке и иной раз прячутся от дождя и солнца под дубом. Между их кличками уже не слышно прозвищ ни Жука, ни Горлички. У них нет прошедшего, но для них слагается новое будущее. Отцы их пашут и сеют теперь уже не на сотника Данилу и не на его внуков и правнуков, а на нового хозяина, на соседнюю чугунку. Врезалась она недавно, снося старые хутора, сады и усадьбы, в окрестные места и, что ни день, выкрикивает: «Пшеницы, ребята, пшеницы! А за нее вот вам деньги, а с ними будет вам и вашим детям и та воля, которой вы тут так долго искали».

Прабабушку Анну Петровну в окрестности все забыли. Случайно о ней напомнило, не так давно, одно обстоятельство.

В хозяйственных книгах прадедушки, найденных между старинными нотами и театральными костюмами в сундуке одной умершей, совершенно бедной старушки, отыскан рукописный календарь-дневник, куда прадедушка в течение нескольких лет вкратце вписывал разные достопримечательности своего давно забытого домашнего обихода. Против февраля 1768 года в этом календаре написано: «Подарил Ашеньке бесподобной яхонт и часы от Лепика. Иванушка и учитель его, Григоревской, любовалися». Против июля 1770 года отмечено: «Бежал садовник Максимка Жук, и повар Лука Горличка бежал же; смутно и у соседей, братец капитан-исправника, господин майор, слышно, умер от руки своих людей». Против августа 1775 года стоит отметка: «Бежала девка Нешка, и я за нее попал у Ашеньки в суспицию». А против марта 1780 года написано: «Укрощал Ашеньку, дважды запирая на три сутки в бане, за придирки и за скуку. Женское жеманство тем исправляется».

1871 г.

II

ТЕНЬ ПРАДЕДА

(Лейб-кампанец)

В рукописном календаре-дневнике моего прадеда, Якова Евстафьича Данилевского, под 1776 годом, уцелела заметка: «13 июня, в понедельник, заложил я хутор Азовской губернии, на реке Богатой». Под 1778 годом там же прибавлено: «Июля 24-го, во вторник, в полночь приехали в хутор на Богатую — я, Ашенька, Иванушка и учитель Григоревской. Тогда во оных пустошах селяне бежали, а соседу моему по тому хутору, лейб-кампанцу ее величества покойной императрицы Елисавет Петровны, г-ну Увакину, по его, впрочем, квалитету и по бездельным и противным оного же поступкам, его подданными тогда же содеян столь неподобной и ужести наводящий афронт, что хотя бы я на свете не был, — *тень моя* да скажет о том потомству...»

Яков Евстафьич очутился соседом лейб-кампанца Увакина вследствие того обстоятельства, что пожелал, в редкий час фавора к моей прабабке Анне Петровне, сделать ей отменный презент. А именно под влиянием недавних преданий о заселении этого края он задумал сперва населить, а потом сюрпризом за нею укрепить плодородную дикую степь в 7000 десятин, купленную им с торгов за четыре тысячи рублей ассигнациями, от генерала Штоффельна. Земля же эта находилась в тогдашней Азовской, ныне Екатеринославской губернии, между речек Богатой, Богатеньки и Лазовой, и более чем в ста верстах от Пришиба, родового поместья прадеда.

Затеяв населить для жены хутор, Яков Евстафьич из сыромятины соорудил кожаную калмыцкую кибитку, взял с собой из Пришиба крепостных рабочих и купленного перед

тем в Москве у Архарова приказчика Михайлу Портяного, первого разведчика и доглядчика выбранной степи, и, в ожидании купленных где-то под Тулой крестьян, переехал готовить для переселенцев избы, сараи для скота и водопой.

Постройка зданий, по тогдашним затруднениям в добыче припасов, запоздала. Сверх того, при переводе купленных крестьян вначале случились тоже какие-то непредвиденные преграды. А потому в первые два лета по покупке земли Яков Евстафьич, несмотря на слабое здоровье, по временам наезжая на Богатую и проживая в калмыцкой кибитке, разбитой у опушки круглого степного леска, сильно скучал.

Вечно озабоченный хозяйством обширных имений и тяжбами с казной и с соседями, Яков Евстафьич, хотя беспрестанно ездил то в губернский город, то в столицы и с виду был угрюм, но ничего он так не любил, как сидения дома, в зеленом шелковом халате на белых мерлушках, да слушания рассказов Ашеньки, на которую он, впрочем, дома то и дело ворчал. А тут, вместо лесных берегов Донца и густонаселенного Пришиба, дикопорожняя и глухая степь.

Яков Евстафьич любил, когда в комнате, где он спит, водятся сверчки. И если они иной раз оттуда исчезали, он отряжал Ашеньку к кому-либо из соседей. Анна Петровна останется в гостях ночевать, расстелет на пол простыню, станет водить шпилькой по зубьям костного гребня, подманит тем из-за печки и из щелей несколько сверчков и привезет их в коробочке мужу. А иногда и сам Яков Евстафьич наловит певунов у кого-нибудь из дворовых и напустит себе в опочивальню. И по целым вечерам, особенно зимой, сидит бывало, у окошка и слушает, приговаривая: «Эка хорошая музыка! Точно скрипачи! Лихо сладились! Семь человек сегодня пело». Приказчик Портяной знал обычай барина и, разбив кибитку у лесного круглячка, в первое же лето и прежде всего, то сухарями, то кашей, привадил туда целую певческую капеллу разнообразнейших полевых сверчков, которым в окрестной траве вторили тысячи товарищей.

Во второе лето Яков Евстафьич стал брать в побывку на Богатую учителя Иванушки, Григоревского. Это был рослый и худой бурсак, вечно потевший, робкий и молчаливый, раз в месяц аккуратно напивавшийся мертвецки и ходивший в длиннополой нанковой паре ярко-желтого цвета, так что издали казался большой канарейкой. Яков Евстафьич любил с ним поспорить о филосо́фии и о тайнах природы, так как Федор Степанович был только мистик, а Яков Евстафьич к тому же еще и масон, из известной ложи Елагина: земляк и однокашник по кадетскому корпусу известного Мировича. За учителем водилась еще одна странность, доставлявшая много веселости Якову Евстафьичу. Из бурсы учитель вынес привычку сам себе мыть не только белье, но и платье. Как заносит, бывало, то и другое, выждет время и шмыгнет в сад к пруду либо на донецкие озера в лес. Снимет платье и белье, осмотрит все, отстегнет из-под лацкана запасную иглу, заштопает что надо, да тут же и вымоет, как следует, и развесит сушиться по кустам, а сам разляжется в прохладных струях на песке и думает: «Вот кабы сюда еще да бутылочку токайского либо пивца!» Яков Евстафьич поглядел его нагишом за такими упражнениями и с тех пор не мог на него смотреть без смеха.

Учитель приехал на Богатую не один. Он привез с собою и любимого Якова Евстафьича ручного журавля, по имени Генеральс-адъютант. Несколько лет этот журавль жил в Пришибе и так привык к людскому обиходу и суете, что зимой не выходил из птични, а летом, с прочими домашними пернатыми, весь день гордою поступью шагал по двору, клюя всякую всячину и воюя за помои с собаками и свиньями. Зато осенью, когда по небу тянулись вереницы его диких товарищей, серый журка по целым дням стоял задумавшись и затем вдруг начинал ногами и крыльями выделывать неистовые и уморительные прыжки. Но как Генеральс-адъютант ни старался подняться в воздух, его манило снова назад, к земле, в знакомый двор, и, обогнув сад и выгон, он

кругами опускался опять либо на крышу кухни, либо на погреб и, как бы для развлечения, усердно принимался долбить носом какую-нибудь кухонную дрянь или бабье тряпье. «Что, брат, журка, не полетишь? — подтрунивал над ним Яков Евстафьич, стоя на крыльце и вспоминая собственные молодые годы, дружбу с Мировичем и службу в пехотном Псковском полку. — Видно, не до товарищей теперь, дурачина! Привык, обабился, вот и сиди!»

Но едва учитель привез журавля на Богатую, на другой же день, около вечера, заслыша в камышах гортанные оклики привольной и дикой стаи товарищей, Генеральс-адъютант исполнился тревогой, перестал есть, а на утренней заре как-то особенно певуче и жалобно затурликал, взмыл и улетел без возврата...

Скука на Богатой окончательно стала заедать Якова Евстафьича, особенно к концу второй осени, когда вчерне поспели жилья для переселенцев и, расчистив под горой три самородных ключа, он занялся пахотью и посевом под зябь. Ничто не помогало: ни еженедельные каракульки сына, ни ласковые цидулки к милу дружку от самой Ашеньки, что-де «пора вам, светик, возвратиться и уж не полонила ль вашего сердца какая-нибудь захожая степнячка?» — «Гм! Доныне глупая баба ревнует!» — подумал Яков Евстафьич, почесывая в затылке. Даже не веселили его поспевшие господские горницы, а наконец, и большой табун лошадей, с восемью жеребцами, в тот год переведенный сюда с лугов из Пришиба.

И вот, чтобы развлечь барина, приказчик Портяной однажды сказал ему:

— Что, ваша милость? Послушайте-ка вы мои рабские речи. Сесть-то поселком мы сели, строим жилья, нарыли колодезей и насеяли хлеба до вешнего теплого дня. А соседей-то и не почествовали. Не купи двора, купи соседа! С соседом жить в миру, все к добру.

— Так, так, Михайлушка. Да кто же тут у нас, скажи ты мне, стоящие соседи?

— А хоть бы и г-н Увакин, лейб-кампанец. Я уж вам не однова про него докладывал. Он в Питере служил, и сами, чай, изволили слыхать тетку нонешней царицы, покойную царицу Лизавет Петровну, с товарищами посадил на царство... Он, это, съезжал куда-то, а ноне с Покрова опять тут объявился в своем владении.

— Ой ли? Далече ли его зимовник и от кого ты про него узнал?

— Верстах в пятнадцати сидит, вниз по Лозовой, промеж трех яров, коли слышали. Чунихинский поп про него сказывал. Барин уж старый, начетчик такой и пребедовый. Все его тут боятся, особливо ж женский пол. И коли ваша милость пожелаете его узреть, надоть поосторожнее: как бы не изобидел... Гордости великой человек, хоть и из простых рядовых — извините — в столбовые вышел...

Якова Евстафьича, впрочем, трудно было испугать кем бы то ни было. Он и обыска, и спроса по делу Мировича не испугался, когда к нему в имение налетел сам наместник, тут же, впрочем, спасовавший перед его женой, известной самой государыне. А потому, недолго думая, он сперва отписал к Увакину вежливое письмо, уверяя его в дружбе и в уважении, а затем снарядил и послал к нему учителя Григоревского с поручением просить его «лейб-кампанское благородие» к себе на побывку в гости. Семинарист от соседа был привезен под таким сильным подозрением в презнатной выпивке, что прежде всего надо было уложить его спать. А потом от него узнали следующее: «Я-де, Увакин, тоже стар и хотя был, действительно, когда-то рядовым, но ко мне ноне ездят не токма знатные дворяне, а и генералы, да и сам г-н азовский губернатор неоднова-де явился ко мне на рандеву и как след отдавал решпект по всей, то есть подобающей аттенции! Ин пусть же господин поручик Яков Астафьич сам первый ко мне пожалует». — «Фанфарон!» — фыркнул на это Яков Евстафьич. Однако же, делать нечего, перегодя, велел запрячь четверню вороно-пегих и, перед возвращением в Пришиб, сам съездил с решпектом на рандеву

к соседу лейб-кампанцу: «Побалую его, пса, может, когда и пригодится. Вон тятенька мой, Евстафий Данилович, веселил на бандуре князя Никиту Юрьича Трубецкого и за то полк изюмский получил в команду!»

Было светлое, с легким морозцем, октябрьское утро. Калина Саввич Увакин встретил Якова Евстафьича на завалинке белого глиняного домика, где он, в волчьем тулупе и в рысьей шапке, грелся на солнце и из кувшина просом кормил голубей, и сперва показался гостю таким сгорбленным и невзрачным старикашкой.

— Милостивейшему патрону и соседу привет! — искательно заявил о себе, вылезая из коляски, Яков Евстафьич.

— Прошу и меня, нижайшего, жаловать; ваш слуга! — с аттенцией принял гостя и хозяин. — Спасибо, что навестили меня, Калину! Собачья старость вот пришла. Вишенье развожу, птичек кормлю да ведомости про нонешние времена читаю. Не могу не благословлять Господа, что доднесь, по воле ее величества, моей покойной императрицы Лизавет Петровны (тут Увакин встал и снял шапку), тридцать пять лет на спокое состою и довольстве, в пречестном потомственном расейском дворянстве помещиком...

Гость и хозяин церемонно обнялись и присели на завалинке.

Шестидесятилетний, медведеобразный, с белыми кустоватыми бровями, почти без усов и еще железного здоровья, старик Увакин, родом из новгородских поповских детей, как встал, говоря о Елисавете Петровне, да выпрямился, то оказался великаном сравнительно с тщедушным, лысеньким, слабым и невысоким гостем. Крупный и красный нос Калины Саввича показывал, что он полюбил украинскую терновку и часто прикладывался к ее бутылям, укромно глядевшим наружу чуть не из каждого окна. А громкие побранки, с которыми он раза два прикрикнул на верного слугу, горбатого Васильца, распоряжаясь приемом гостя, говорили, что лейб-

кампанец спозаранку уже был на втором взводе. Отсыпав друг другу с три короба изысканных приветствий и комплиментов, новые знакомцы перешли в вишневую куртину, где в ту пору подсаживались новые деревца, а оттуда в горницу, и здесь Увакин начал беседу о прошлом и, главное, о великой перемене приснопамятного 1741 года.

— Не те ноне времена, Яков Астафьич, не те! То ли были дни, милостивый патрон мой, как мы матушку красавицу нашу, Лизавет Петровну, становили на царство! А наипаче и особливо, сказала она, лейб-гвардия нашей полков по прошению престол родителя нашего мы восприять изволили... А? Слышите? И где у людей уши и память? Так, именно этими словами она о нас и прорекла всему свету в манифесте? Наипаче же и особливо!.. Всему царству сказала!.. Да ведь этих слов, отцы родные, не стереть вам и не вырубить вовеки. Вот он, вот манифест! Читайте! — потащил он гостя к стене, на которой под стеклом висел серый, в большой лист, манифест 25 ноября 1741 года.

Яков Евстафьич, видя волнение Увакина, заговорил было о хозяйстве и о своей семье, о том, что вот и он небезызвестен двору, что царь Петр Первый был в гостях у его деда и родного его брата крестил на походе, а что по матери он сродни знатному роду Никиты Юрьича Трубецкого.

Не тут-то было. Увакин ушел в спальню, воротился оттуда с трубками кнастеру, одну подал гостю, а другую сам закурил и на вопрос, как же он попал в столь счастливый случай, начал:

— Дело было, коли хотите знать, милостивый патрон мой, таково. Спали наши преображенцы в светлицах своих на Литейной. Ночь была — ух! — какова морозная. Я был на часах и, только что вышел из караульни, слышу скрип полозьев: летят шибко, но без шуму трое саней по Литейной перспективе да прямо-то к нашей съезжей избе; на ее месте после Спас Преображения царица поставила. Из первых саней выходит сама царевна Лизавет Петровна, с дохтуром Лестоком, а за кучера у нее граф Воронцов; из других саней

вышли кое-кто из вельмож, и гранодеры у них на запятках. В руках у царевны крест, через плечо кавалерия, в лисьей шубе, а сама, сердечная, так и дрожит, зуб на зуб не попадет, не то от мороза, не то от страха. Барабанщик ударил было тревогу; только дохтур кинулся к нему и пропорол кожу на барабане. Я бросился в казармы, а уж здесь и вся наша рота бежит. «Что, ребята? — крикнула тут ясным таким да смелым голосом царевна. — Знаете ли вы, кто я?» — «Знаем, матушка, знаем!» — «Готовы ли идти за мной и готовы ли дочку самого царя Петра Первого на престол возвратить!» — «Готовы жизнь положить! Давно тебя ждали!» — «Или вам, скажите, лучше быть под годовалым ребенком да под немцами?» — «Смерть молокососу! Немцам смерть! — загалдела вся рота. — Будет им над Расеей командовать!» — «Никого, солдатушки, не убивайте, прошу я вас; а лучше за мной в тихости маршируйте; мы и так с ними и с их партизанами справимся!» — сказала царевна, а из-под шапочки русые косы выбились; рослая да статная такая. «Лебедка ты наша!» — гаркнула опять рота и давай у нее крест целовать. Ружья зарядили, штыки завинтили да за нею тихо по морозцу прямо в Зимний Дворец. Кое-кого по пути отрядили супротивных министров брать под караул... Мне же с товарищами, Кокорюкиным, Клюевым, Першуткиным и другими, пришлось брать под арест самого младенца-императора. И никогда я того не забуду, милостивый государь мой! Вбежали, это, мы во дворец, да прямо к нему в спаленку, немецкую няньку связали возле, в соседней горнице. А здесь у него-то, смотрим, колыбель под занавесочками, лампадка перед киотом. Я хоть в солдаты за увечье купца попал, но все же сам был из церковников и маленько, знаете, тут было позамялся, да опомнился и кинулся далее. У колыбели вскочила вся в золоте и красивая такая мамка-немка, ломит руки, лопочет по-ихнему и, ниже мертвая от страху, во все глаза глядит, что это мы, солдатье, вскочили так без указу, гремя ружьями и в шапках. Я с Клюевым прямо к колыбели, отдернули положок, пообождали чуточку

и взяли на руки младенца... Он с перепугу так и залился. А из дворца, слышим, товарищи уж шумно сносят на руках самое регентшу Анну Леопольдовну и кричит принцесса через все царские апартаменты: «Иванушка, сын мой, названый император! Где ты?» Отвезли регентшу с мужем в дом царевны, а потом в крепость; императора ж, младенца Ивана, Лизавет Петровна взяла к себе в сани... Проводили мы этак бережно царевну опять в ее двор, где прислуга под замком оставалася. А здесь уж и все новые фавориты налицо. И видел я, как старые фавориты набегали и перед новыми на коленках в сенаторских мундирах ползали, и те над ними громко смеялись, били в ладоши и грозилися: «Что, мол, немецкая сволочь, изменники? Теперь оробели?» А на улице всю ночь говор, крики «виват», сходятся и строятся полки, столичная знать в санях, вперегонку, подъезжает, народ валит и костры горят от дворца вплоть до Невской перспективы... Лизавет Петровна тут опять вышла к генералитету, в шелковой дымчатой робе, на больших фижменах, объявилась самодержицей и сказала: «С нами Бог! Забываю старым старое, только служите верою по-новому!» Наутро по воеводствам поскакали курьеры, столица присягнула, и вышел манифест. Простого народа попам к присяге звать не велено. Все возликовали. А уж о нашей братии, гранодерах, и говорить нечего.

— Ну, соседушка, — перебил Яков Евстафьич, — извините, только слышно, что ваша рота вела себя не очень-то по приличию...

— Оно, точно, милостивый патрон мой, спервоначала солдаты наши маленько побуянили. Бросились по кабакам. Не обошлось без драки, буйства и непокорства шквадронным властям. Кое-кому из знатных помяли и бока. В энту же ночь спьяну немало растеряло по улицам шапок, сумок и всякой амуниции, а кто и ружье. Да и как было не бражничать! Самые знатные бояре нам в ту пору в пояс кланялись... В разъяснение же милосердных сантиментов ее величества скажу еще слово... Она и царевной добротой про-

слыла и по простоте в гвардии крестила, не токмо у начальства, но и у солдат, и на именины к нашим солдаткам хаживала. В первую ж годовщину вшествия Лизавет Петровна объявила такие милости нам учрежденной своей лейб-кампании: поручиков роты произвела в генерал-лейтенанты, прапорщиков в полковники, барабанщиков в сержанты и всех, как есть, двести пятьдесят восемь рядовых в потомственные дворяне... А про капитанское место в той роте объявила: «Его мы соизволяем сами содержать и оною ротой командовать.» И подарила нам, солдатам, матушка-царица в Пошехонской волости отписные поместья ссыльного князя Меншикова, на каждого рядового по двадцать девять душ, повелела всех нас вписать в столбовые книги и сама опробовала и утвердила каждому герб, с гранатами и с дворянским шлемом, а поверх его с лейб-кампанскою шапкою. Вот он тоже висит на стене... Но и другие прислужники царевны были награждены как следует, не токмо что вельможи: комнатные слуги, Скворцов и Лялин, пожалованы деревнями и дворянством, а метрдотель Фукс в ведомостях зауряд переписан в бригадиры. И стали на вечную память по России новые дворяне: Увакины, Кокорюкины, Мухлынины, Першуткины, Клюевы и другие... И никто нам, жалованным, не указ.

— Как же вы, Калина Саввич, попали сюда из Пошехонья в Украйну, на Лозовую? — перебил опять Увакина Яков Евстафьич.

— Сманил меня сюда, скажу вам, генерал Штоффельн, у коего и вы землицу с торгов купили. Был у нас с ним за картами разговор: я с его совета и выпросил себе через питерских милостивцев обмен грунтов и перевел сюда своих подданных..

— Давно?

— Годов уж с двадцать. Да что! Места тутошние и хороши; только неладно здесь ноне жить в степи, хоть и сказывали затейники, что здешние берега кисельные, а реки медом текут...

— Чем же неладно тут жить?

— Не тот ноне штиль и не те времена. Статское искусство верх взяло, а военное теперича в забросе. Прожектисты в гору пошли, и все, кто был допрежде сего в авантаже, везде стали забыты. А в Питер нам, знатному шляхетству, видно, и не показываться. Дела там теперича, милостивый патрон мой, решаются не по закону, а по партикулярным страстям. Да вот... подавал я, примером, туда через одного благодетеля некоторое нужное письмо и к оному пункты. Что ж? Ничего, как есть, никакой резолюции до сего дня не добился.

— Какие же это вы подавали пункты?

— Доношение, государь мой, доношение на одного здешнего непотребного озорника и, сказать к слову, — извините — моего ж соседа.....

— Что же он сделал за провинность?

— Из злой дурости выпустил на теперешнюю царицу, на матерь-то нашу, Екатерину Алексеевну, преострый и преподлый пашквиль...

Яков Евстафьич даже побледнел и, сказав: «С нами крестная сила!», спросил:

— Какой пашквиль?

— Уверяет, представьте, не стесняясь долгом присяги, якобы новому нашему, в сем году затеянному городу Екатеринославу будто не сдобровать... Бабьи-де города не стоят! И какое-де ноне житье за бабою, коли женской пол опять царством завладел и своим фаворитам отдал нас всех под суверенство. А? Каков? И таких фармазонов-вольнодумцев терпят?

— А кто сей пашквилянт, осмелюсь спросить? — перебил Яков Евстафьич, не без тревоги, подвигаясь к двери и поглядывая, где его коляска.

— Кому же им и быть, как не гуляке и не картежнику, однодворцу Фролке Рындину? Ну! Да пусть уж теперича всякая мелкота сильна и чинна стала. Только я ему мудрость-то и обиды его пособью. У меня случай есть в новом

фаворите Зориче. И уж коли нонешние потентаты не изведут его, злого паскудника, так я сам, за его качества, на него лих пойду и силой покорю под нози сего супостата... Так-то, милостивец мой и сосед! Силою... И верь ты моему лейб-кампанскому слову... Говорю я это и тебе, и всякому не на ветер: кто моих властей не уважил, я того за рога. Последние дни, видно, приходят — и все тут!..

Не понравился лейб-кампанец Якову Евстафьичу, и он уехал от него, повторяя про себя: «Фанфарон, как есть, и знать, презавистливый хвастун!»

Похвальбу свою лейб-кампанец, однако, вскоре выполнил действительно.

Только поссорился Увакин с Рындиным, как оказалось после, не за преострый пашквиль на «новое бабье царство», а по другой причине, и кровавая развязка этой ссоры надолго взволновала тихие места по Богатой!

Настала весна 1778 года.

Яков Евстафьич в этом году прибыл в хутор на Богатую ранее, так как сюда, в конце апреля, ожидали прихода купленных под Тулой крестьян. Получив письмо от поверенного, что первый отряд переселенцев уже двинулся, прадед мой, оставя калмыцкую кибитку, поместился в новом барском домике, выстроенном тут же на взгорье, над Богатой.

Это была в полном смысле девственная роскошная степь, какими девяносто лет назад еще обладала тогдашняя Азовская губерния. Плуг еще редко взрывал ее тучную почву, а стада мериносов мало топтали ее дикие цветы. Близ нового поселка не было почти никаких дорог, кроме старинного чумацкого тракта на Бахмут, проходившего оттуда в нескольких верстах. На хуторе стало оживленнее. По ночам в окна барского домика долетало звонкое ржание восьми жеребцов, стороживших на свободе косяки своих кобылиц. Тихие реченьки: Богатая, Богатенька и Лозовая, известные теперь по Севастопольской дороге, протекали здесь среди густых ка-

мышей, храня в полноводных плесах множество рыбы и раков, а по топким берегам неисчислимые стада чаек, кроншнепов и дупелей. Долина Богатой, у одного из плесов которой на самородных ключах расположился новый хутор, отличалась особой, чисто степной красотой. Один берег реки упирался в высокий зеленый горб, изрезанный красноглинистыми провальями и обрывами. Противоположный берег представлял гладкую, как скатерть, сперва зеленую, а потом синеющую равнину, над которою вдали, в жаркий день, точно струи вод, откуда-то протягивались и играли волнистые марева, а в облаках кружили орлы, заставляя недавно закрепощенных украинцев, работников прадеда, со вздохом следить за их вольным полетом и задумываться над недалеким временем, когда их отцы и деды такими же орлами носились над этими пустырями.

Девятилетний сын Якова Евстафьича, мой дед Иван Яковлевич, ходивший еще в курточке и воротничках и взятый теперь отцом на Богатую, ясно помнил эту весну и приход первого отряда переселенцев и любил об этом впоследствии рассказывать.

К началу мая были готовы все избы и другие строения для крестьян. Невдалеке же от небольшого домика, потом обращенного в кухню, стали строить из навезенного, сплавного днепровского леса большой липовый господский дом, а возле, на утеху сударыне Анне Петровне, разбили и насадили сад.

Иванушке теперь была предоставлена полная свобода. И в то время, как учитель беседовал с Яковом Евстафьичем или читал «Утренний свет» Новикова, Иванушка с приказчиком Портяным, страстным охотником, урывался с ружьем, с дудочкой или с сетью в степь или с удочкой и с острогой к синим плесам реки.

В лесном круглячке, у которого вначале была разбита кибитка прадеда, Иванушка наметил старый высокий дуб, а на его вершине орлиное гнездо. Сперва он, тайком и без провожатого, бегал туда следить за жизнью и кормлением

еще бесперых орлят, а потом стал просить Портяного добыть ему и выносить для охоты орленка. Долго отнекивался приказчик: «И зачем вам, батюшка-барчонок, мучить вольную Божью тварь!» Наконец, уступая настояниям барчонка и не без опасности быть заклеванным освирепелой орлицей, Портяной взял ружье и нож и, выглядев подвечерний отлет старых орлов на добычу, полез к гнезду. Долго Иванушка стоял внизу, замирая от волнения, ломая руки и прислушиваясь, как в тишине леска, под руками и ногами Михайлы, трещали ветви дуба и сыпался мелкий сушняк. Но вот Портяной добрался до орлиного гнезда и затих.

— Что, Михайлушка? — вне себя спросил снизу мальчик. — Сколько их? Да говори же!

Михайло молчал.

— Ни одного! — крикнул он со смехом. — Проворонили! Все разлетелись... Вон желтоносые попархивают по верхам! Зато, погодите, молчите! — опять отозвался сверху дуба Михайло. — Слышите песни? Это наши переселенцы подходят. Отсюда видно их, как на ладони: много, много телег, идут и пеше; пыль клубом, детей несут на руках и песни поют... Красные паневы, белые полстяные шапки... Так и есть: наша орава! Пойдемте, барчук, им навстречу...

И приказчик с Иванушкой бегом пустились по полю.

Когда Иванушка подбежал к передовой толпе переселенцев и те узнали, кто он такой, старики и парни стали брать его на руки, ласкать и приговаривать: «Сокол ты наш! Надежа наша и покров!», а бабы наложили ему за пазуху дудочек и глиняных детских игрушек. А кто-то барчонку подарил пойманного дорогой мохнатого и жирного сурка. Не доходя с полверсты до усадьбы, переселенцы разбили табор, поставили возы кругом, загнали туда скот и лошадей, разложили костры и отрядили к барину стариков.

— Что, ребята, притомилися? Милости прошу на хлеб, на соль и на послушание! — сказал Яков Евстафьич, выйдя к ним в сумерки на крыльцо. — Жилье вам слажено, хлеб посеян, земли и воды вдоволь! Дед мой, коли слышали,

Данила Данилович, населил два лесных поместья; а я вот, с Богом, населяю степное! Будете чливы да радетельны, подарю вас в награду жене моей Анне Петровне. Портяной! Угости их и распоряжайся...

Мужики поклонились, понурили головы и пошли. И с утра табор стал размещаться по отведенным ему дворам. Дня через три, с поля, и опять под вечер, чуткий слух Портяного заслышал новые песни и скрип телег. Подошел и разбил костры другой отряд переселенцев. К концу же мая населился весь хутор; красные паневы и белые полстяные шапки замелькали по полю, по реке и по вновь окопанным огородам, засверкали в траве косы, зачернела новая пахоть; а по свеженатоптанной, широкой улице поселка загремели звонкие песни девок и парней, не прекращаясь от сумерек вплоть до криков ранних, навезенных из-под Тулы петухов.

Так населился новый хутор прадеда на Богатой.

В то же лето Яков Евстафьич решился показать жене этот поселок и прибыл сюда, как сказано в его дневнике, 24 июля, в полночь, вместе с нею, с Иванушкой и с учителем.

Это был вторник. А в четверг он объездил с Ашенькой поля, луга и все границы имения, показал ей свеженакошенные стога сена, копны нового жита и поспевавший клин великолепной пшеницы-белотурки и только что уселся с семьей за борщ с дикой уткой и за пироги с перепелами, как подъехал гость, Калина Саввич Увакин.

На этот раз лейб-кампанец, узнав, что сосед прибыл не один, а с женой, да еще с былой фрейлиной настоящей императрицы, явился в полной старинной преображенской форме, в зеленом кафтане, в поясной портупее с сумкой, в шарфе через плечо, с откладным воротником, в несколько поеденной молью треугольной лейб-кампанской шапке, в штиблетах и в башмаках. Редкие седые усы старика были

нафабрены и вздернуты к вискам, а в руке его была офицерская трость — эспонтон.

Хозяйка, бывшая запросто, в распашонке, но имевшая обычай строго придерживаться приличий света, ушла и явилась за стол в белом матерчатом роброне, с фалбарами, не забыв налепить на щеки несколько мушек, и, представленная мужем гостю, сделала церемонный, по всем правилам моды, поклон.

— Где изволили, матушка, сшить эту робу? — начал, после первых приветствий, с учтивством былого щеголя, снимая огромные перчатки, Увакин.

— К генеральше Херасковой в Харьков посылала! — зардевшись, ответила Анна Петровна.

— Знатный ваш городок Харьков, коли такие модные швеи завелися. А почем дали за фалбары?

— Восемь рублев.

— Отменно сшиты и к лицу. Особенно сии фестоны на лифе и сии же отменные на плечах буфики.

— За учтивствы благодарю! — сказал и налил гостю наливки Яков Евстафьич.

Разговор перешел на хозяйство.

Увакин, между прочим, доложил, что у них в околотке, что ни день, становится все хуже и хуже. Передал шепотом и озираясь, что везде стали от злых наветчиков бежать крестьяне и что у него также сбежали, неделю назад, семь лучших подданных и хотя трех из них он лично поймал на воскресном базаре в Барвенковой, заковал в кандалы, привез обратно и посадил их в погреб, но четверо остальных все-таки без вести пропали.

— Жаль ослушников. Знатные были работники. И одна только теперь надежда у меня, матушка-сударыня, — это мой верный Василе́ц! — прибавил Увакин. — Все добро мое у него на руках. И теперь вот, примером, я к вам уехал, а он, я уж знаю, спустил собак и с ружьем будет раб кругом усадьбы ходить, пока не обращусь вспять... Что делать? Я вдовый, жениться, полагаю, поз-

дно, хоть и скучно как-то одному, а все-таки жаль своего добра!

— Кого же вы боитесь, Калина Саввич? — спросила Анна Петровна, читавшая энциклопедистов, Гольбаха и Дюмарсе, и не любившая старческих жалоб на новизну. — Вы, можно сказать империю спасли, а тут неспокойны и сумнительны.

— Ничего я, матушка, не сумнителен! Только мало ли злых людей! Фармазонов все более и более разводится. Вот, хоть бы и сосед мой, Рындин... Ну, да я ли до него не доберусь...

— Ах, все-таки вы, мужчины, погляжу я, неважны таковы! — усмехнулась Анна Петровна. — Сваритесь и грозитесь, а ничуть это не славно! Лучше бы жили в миру. И какие тут у нас фармазоны?

— И то правда, Калина Саввич, — подтвердил хозяин, — бросьте вы этого Рындина да расскажите нам лучше: что нового?

— Вот, — начал Увакин, — как намедни гнался я за моими беглецами, прочитал я, доложу, у капитан-исправника лист «Ведомости петербургской», и в этой «Ведомости» прописано, якобы на Невской першпективе некий щеголь-гусар Волокитин раздавил рысаками одну простую бабу и потом якобы у нас скоро опять быть войне...

— Довольно с вас погрома и Емельки Пугачева, да хоть бы и походов Задунайского! — проворчал Яков Евстафьич. — Повысосали с нас денежек! Пора бы нам уж и отдохнуть...

— И еще в той же «Ведомости», — продолжал Увакин, — из амштердамских курантов прописывают, якобы у французского короля при дворе представляли преотменное итальянское действие, именуемое паштораль, а потом его величество забавлялся машкарадой.

— Что вы мне, Калина Саввич, все про французского короля да про его машкараду! — с досадой перебил и закашлялся Яков Евстафьич. — Ваши же вить милостивцы

Шуваловы у нас эту французскую дурость в общую моду ввели. Я, сударь, в переписке с Трубецкими... Дай-ка, Ванюшка, письмо от князя Сергия, что мы привезли с собою.

— Что же пишет князь Сергий?

— А вот, прислушайте... «А у его-де сиятельства, у бывшего гетмана Разумовского, давали презнатную комедию *La foire de Hizim*, такожде были у него оперы, и на тех операх девки-итальянки и кастрат пели с музыкой...» Вот вам и бывший гетман всея Украйны! Кастратов слушает! Тьфу! А еще римскими доблестями величаются. То ли дело здесь у вас, на Украйне, по простоте! Не так ли, Калина Саввич?

Увакин задумался и вздохнул.

— Места, повторяю, здешние хороши! — ответил он. — Слова нет! Только, милостивый патрон мой, повторяю вам, мало все-таки защиты нам здесь от озорников... того и гляди, тебя изобидят!

«Ну, тебя обидишь! — подумал Яков Евстафьич. — Найдется такой человек!»

После обеда гость и хозяин соснули, потом опять угощались наливной и сластями. А вечером Яков Евстафьич велел пригнать ко двору табун напоказ соседу.

— Смотрите вы у меня, — повелительно сказал при этом Увакин табунщикам Якова Евстафьича, — межи вам указаны, а ходите вы инова и по моим владениям. Ой, берегитесь; лют я, Калина, за свое добро! Раз пригрожу, два, а там и стрелять по вас из винтовки стану, как наскочу, либо батогами до полужива задеру»...

«Не стесняется его лейб-кампанское благородие! — подумал, вспыхнув от досады, Яков Евстафьич. — Сущий волк, волком и умрет. Ну, да посмотрим! И я тебя изловлю — овцы твои на водопой ко мне на луга, слышно, перебегают. Только я стрелять тебя не стану, а свяжу своими молодцами да прямо в суд, хоть и чванишься, что царство спас».

После ужина хозяева заговорились с гостем за полночь. Увакин собирался в новооснованный Екатеринослав, и Анна

Петровна надавала ему поручений по дому: купить чаю, сахару, вина. Но едва собеседники разошлись по горницам и заснули, как от двора Увакина прискакал на взмыленном коне чуть живой от страха Василец и объявил в окошко разбуженному Калине Саввичу, что на его усадьбу в эту самую ночь напал с незнакомыми людьми Рындин и насильно выкрал и увез к себе во двор его рабыню, молодую и весьма красивую ключницу, Улиту.

Бешенству старика не было пределов. Он выскочил на крыльцо в одном белье и прежде всего ухватил за горло и чуть не задавил вестника.

— Коня! — закричал он. — Коня! Как? Меня обидеть? Где же были другие молодцы? Где были собаки? Ты, вражий сын, выдал и жив? Меня, жалованного-то?..

И, как буря, понесся он сперва к себе на хутор, побудил и, созвав уцелевших пошехонцев, дал им самопалы и топоры, посадил их верхами на коней и с рассветом поскакал к усадьбе Рындина. Однодворца, разумеется, дома не застал, перевязал его небольшую дворню и с четырех концов зажег его двор, овечьи загоны и хлебный ток.

Ветер раздул пожар, а Увакин до позднего вечера рыча, как дикий вепрь, ходил и бегал кругом, подкладывая огонь там, где плохо горело. На другое утро он опять явился сюда с плугами и с боронами, перепахал испепеленное дворище, из собственных рук засеял его гречихой и, заборонив пашню, отъехал восвояси.

— Пусть песий сын помянет меня, лейб-кампанца, до века...

Песий сын, однако, тоже не дремал.

Он подал на Увакина в суд челобитную, отрекаясь от похищения Улиты, якобы волей отошедшей к нему, и отыскивая с обидчика тысячу рублей за убытки от поджога и за обиду.

Явилась полиция. Начался окрестный допрос. Яков Евстафьич, втайне радуясь грозе над самовластным соседом, который из-за личной ссоры выдавал в доносе Рындина за

франкмасона, тем не менее навестил его, с участием стал советовать ему помириться с Рындиным и даже отпустил к нему, для писания ответов, учителя Иванушки.

Но не таков был Калина Саввич, чтобы помириться со всякой мелкотой.

Вслед за началом розыска, видя, что безуспешно бросает чиновникам последние рубли, Увакин через Васильца проведал, что Рындин с его рабыней-беглянкой скрывается у попа, в слободе Чунихиной, и решился расплатиться с ним дочиста.

Подъехал в сумерки верхом к попову огороду, залег в капустнике, у садового плетня, выждал да собственноручно из винтовки, в присутствии похитителя, наповал и убил Улиту...

Следствие возгорелось с новой силой. Власти переполошились. Дали знать и знакомому Увакина, губернатору, спрашивая, как быть с таким казусом со стороны столь важной особы, обитавшей в их губернии.

Но ни суду, ни губернатору не удалось изречь своего приговора над Увакиным.

Улита была женой одного из тех беглецов, которых Калина Саввич незадолго изловил и, несмотря на передряги по следствию, продолжал держать в кандалах в подвале.

Затворники отбили кандалы, вырвались ночью из подвала, взяли еще кое-кого из своих, верного Васильца утопили в колодце, а лейб-кампанца, у которого в то время ночевал и опять сильно подгулял учитель деда, Григоревской, стащили с постели и сказали: «Ну, господине, теперь и с тобой расчет!»

И как Увакин ни молил их и ни кланялся им в ноги, вынимая из сундука какой-то бумаги, крича о помощи в окно и обещая всех выпустить на волю, отдать им все добро и отъехать в неведомые земли, пошехонцы вытащили его из комнат и, в полной лейб-кампанской форме, повесили его на любимой и им же некогда посаженной груше, а сами, связав полумертвого от страха семинариста, разбежались.

И хотя, по словам дневника прадедушки, «сей неподобный афронт» от подданных был содеян лейб-кампанцу «по его же квалитету и по бездельным и противным оного ж поступкам», тем не менее Яков Евстафьич, вспоминая ли собственные волокитные прегрешения, или в самом деле жалея соседа, тогда же разлюбил новый хутор на Богатой и более в нем никогда не бывал.

А за полчаса до кончины, умирая от чахотки и удивляясь, что не видит свечи и не слышит более любимых сверчков, понял, что приходит смерть, не без чувства простился с женой и с восемнадцатилетним сыном, первую выслал из комнаты, а второму сказал следующее:

— Берегись ложных друзей и тяжб, а такожде смелых прожектистов, охотников до дворских и всяких перемен. Красивых же женщин берегись и удаляйся пуще всего... Их альянс — не радость, а пагуба, тлен и запустение души!

1872 г.

III

ИМЕНИНЫ ПРАБАБУШКИ

Именины моей прабабки, Анны Петровны, праздновались в день св. Анны-пророчицы, 3 февраля. Именины других родных, не только дедушки, но даже и бабушки, можно было еще пропустить, этих же именин ни в каком случае.

Уже за несколько недель до 3 февраля приезжал, бывало, от ее невестки, моей бабушки, к ее женатому сыну и замужним дочерям нарочный с письмами. «Все ли здоровы? — спрашивала их бабушка. — Пора бы собираться к именинам маменьки». — «Твоя, милый друг, женушка, — писала она сыну, — пораньше позаботилась бы изготовить все, что нужно детям для дороги, — шубки подлиннее, сапоги теп-

лые, на барашках, да и чулки шерстяные. Девочку возьмите с собой непременно; а сына оставьте с мамкой — еще простудите как-нибудь. Приезжайте заранее, чтобы потом что не помешало. Матушка-сударыня, сами знаете, уже стара; Бог весть, много ли еще достанется нам поздравлять ее с дорогим днем ее ангела». При этом в гостинец присылались замороженные золотые караси, с надписью: «Из Великого села» или огромные карпы — «Из озера Курбатова».

Если на приглашение отвечали неточным обещанием, а только заверением, что, мол, постараемся, когда все будет благополучно, то являлся вторичный посол, с советами, как лучше поступить в таком случае. «Теперь такие холода, — писала бабушка, — запрягите крытый возок да возьмите провожатых-верховых; ночуйте в дороге у такого-то, а в такой-то деревне покормите лошадей, все-таки будет не так тяжело и надежнее». И это повторялось ежегодно, перед каждыми именинами.

Родные съезжались накануне. В день именин, утром, все шли к прабабушке с поздравлениями. Этим заправляла бабушка. Входя к сыновьям и к дочерям, она говорила: «Пора к сударыне-матушке!», осматривала наряды дочерей и внучат и выходила в зал большого дома, где ее ждали муж и соседние и дальние гости.

Все разодетые, предшествуемые бабушкой, отправлялись по дорожке, усыпанной песком, к имениннице, с пожеланием доброго утра. Внукам и правнукам строго приказывалось при этом сидеть у прабабушки смирно, не шептаться, слушать, что говорят старшие, и если прабабушке будет угодно заговорить с кем-нибудь из детей, то отвечать ей, разумеется, стоя.

Прабабушка жила в особом флигеле, под камышовой крышей, вправо от дома. Крыльцо было посередине флигеля; из передней налево была большая угольная комната, прабабушкин зал. В ней, посередине, стоял овальный стол, всегда накрытый тонкой голландской скатертью. Перед небольшими окнами стояли красного дерева, с бронзой стулья; между

окнами — такие же столики. На одном из них, перед зеркалом, красовались, в виде беседки, со стеклом, английские часы Нортона, подарок прабабушке императрицы Екатерины II. Они указывали не только числа месяца, но и ущербы луны, в виде серебряной головы, всходившей и заходившей над голубым небом, усеянным золотыми звездами, и каждый час, и четверть часа исполняли приятную музыкальную мелодию. Эти часы теперь хранятся у одного из ее правнуков и все это необыкновенно точно проделывают до сих пор.

Направо от залы находилась обширная опочивальня, она же и приемная гостиная прабабушки. Здесь, в простенке, между окнами в сад, перед овальным туалетным зеркалом прабабушки, на резном, с позолотой ломберном столе, красовались два огромных бронзовых канделябра, каждый о пяти восковых свечах, и рядом с ними, на массивном серебряном подносе с ножками стоял серебряный кофейник, тоже с ножками и с серебряным цветочком на крышке, такая же сахарница и тонкого саксонского фарфора чашки, в виде крохотных прямых стаканчиков, с ручками и рисунками, тушью и золотом, изображающими розы в бутонах и листья. Если именинный обед прабабушки был во флигеле, то в ее спальне потом подавался роскошно сервированный десерт, из варенья, пастилы и фруктов в сахаре, причем восковые свечи зажигались кроме канделябров и в кенкетах по стенам. При движении воздуха свет этих свечей очень затейливо играл на потолке, изразцовой печи и на овальной раме туалетного зеркала, искусно составленной из крохотных зеркальных кусочков, что очень занимало детей.

Вдоль стены, против двери из зала, помещалась прабабушкина кровать. На ней лежало горкой несколько подушек и подушечек, в тончайших белых наволочках, с кружевными оборками, и темно-коричневое атласное одеяло, подшитое голландской простыней, с белым, на четверть кругом, отворотом по атласу.

Прабабушка, принимая своих и посторонних гостей обыкновенно сидела на этой постели, спустя ноги на скамеечку

из красного дерева, с вышитой гарусом подушкой и облокотясь обеими руками на широкий, покрытый ковровой скатертью, лаковый стол, за которым она всегда и обедала. За общий стол в большом доме сына она в последние годы почти не являлась, по мнению некоторых потому, что уж слишком, пожалуй, было бы много чести, если бы она стала обедать с прочими, а скорее всего — ей просто было спокойнее трапезовать у себя одной.

Вправо, за кроватью прабабушки, была дверь в девичью, а еще правее, за дверью, в углу опочивальни, красивая большая изразцовая, с зелеными, желтыми и синими разводами, голландская печь, на ножках, с узенькой лежанкой, на которой дети обыкновенно чинно рядком и усаживались. Здесь над лежанкой, в особой печной впадине, в фарфоровом соуснике постоянно лежали вкусные, только что испеченные прабабушкины душистые и удобные крендельки, лепешки, сухарики и бублики, брать которые детям позволялось охотно. Они этим всегда пользовались столь усердно, что одна из правнучек Анны Петровны тут же однажды выломила себе кренделем расшатанный передний зуб. Этот зуб, впрочем, был у нее еще слабый, молочный и потому снова вскоре успешно выскочил на том же самом месте. Но столь необыкновенный казус произвел тогда на остальных детей особенно сильное впечатление, как событие совершенно неожиданное и выведшее всех из обычного, церемонно-вежливого положения. Дети с тех пор, до кончины прабабушки, идя к ней с пожеланиями доброго утра, обыкновенно ощупывали свои зубы, не шатается ли какой-либо из них.

Пол в опочивальне прабабушки был устлан большим, домашней работы, ковром, с белым фоном и зеленой каймой, по которой были разбросаны алые розы.

Войдя в опочивальню прабабушки, все церемонно и важно поздравляли ее с именинами, целуя ей руку, а она, сидя на своей постели, обнимала детей, внуков и правнуков, а остальным ласково кланялась. Затем все чинно садились по местам. Анна Петровна всегда была одета в черное платье

с длинным шлейфом, из плотного шелкового левантина, с тонким, в виде дымчатой волны, кисейным платком на шее, в белом чепце и в мерлушковой длинной шубке поверх плеч, покрытой темным атласом. Лицо у прабабушки было необыкновенно белое и важное. По обычаю времени, она белилась до самой кончины. Карие глаза прабабушки, в молодости очень красивые, и на старости были привлекательны и очень оживленны. Зубы у нее были так свежи и крепки, что она и в преклонные годы щелкала ими каленые орехи. Руками же она исстари щеголяла. Они у нее были маленькие, белые и до того нежные, что почти не отличались от батистовых манжеток, выходивших из-под рукавов ее черного платья.

Тогда и после все с особенною похвалою отзывались о белье прабабушки, которое у нее было поистине образцовое — тонкое, белое, как снег, и все заграничное; притом его мыли у нее особенно щегольски. В чистых, светлых комнатах Анны Петровны всегда привлекательно пахло восковым жасмином или чайной розой, любимыми цветами прабабушки. Когда у нее говорили старшие из гостей, младшие, даже женатые, только молча им внимали. Когда же изволила говорить сама прабабушка, то уже все положительно молчали. Дамы говорили с нею сидя; мужчины же — не только вставая, но и изысканно вежливо кланяясь.

Никто у прабабушки и в ее присутствии не курил. Дедушка, с трубкой своего кнастера, уходил для того в оранжерею или портретную; а куряки из других мужчин, особенно офицеры соседних уланских полков, для курения из своих пенковых трубок в летнее время скрывались даже в сад, в беседку, стоявшую тогда возле так называемой придворной груши, подаренной прабабушке императрицей Екатериной. Анна Петровна вывезла когда-то эту грушу, маленьким отводком, из Царского Села, и собственноручно посадила ее у пруда, в пришибском саду.

Во время именинного обеда, когда он происходил во флигеле прабабушки, она, хотя кушала особо, в своей опочи-

вальне, несколько раз, однако, в течение стола выходила оттуда и удостаивала по нескольку минут постоять за каждым из обедающих, облокотясь о спинку его стула и не обходя своим вниманием никого. За одним просто, бывало, постоит, с другим поговорит, того ласково потреплет по плечу, этому скажет что-нибудь приветливое или веселое и опять уйдет. Дети в особенности удивлялись хвосту прабабушкиного платья, который за нею обыкновенно тянулся чуть не на сажень из другой комнаты. Им объясняли, что это не хвост, а шлейф, которого она не покидала, в память давно прошедшей моды и дорогих лет своей молодости.

Ростом и фигурой прабабушка была представительна и красива, и в ее домашнем обиходе все было также хорошее, дорогое и даже роскошное, так как сама она была женщина из высшего круга, с весом, и в душе истинная аристократка, причем и не подозревала, что ее единственный, пятидесятипятилетний сын Иванушка, как она его звала, перед ее кончиной уже промотал большую часть своих имений. Она и умерла, убежденная, что ее наследник и его многочисленная семья остаются после нее столь же богатыми, как была и она.

Обильный обеденный стол на именинах прабабушки был обыкновенно в полдень. Лакеи гуськом, торжественно несли из кухни в ее флигель бесконечное число блюд, в суповых чашах, соусниках и разных крынках и горшочках, а среди обеда, за тостом в ее здравие, которое тогда пилось венгерским, раздавался залп из домашних пушек, стоявших среди двора, против крыльца флигеля и большого дома. Вечером, при свечах, подавался столь же роскошный ужин. После обеда, до ужина, гости играли в карты, в ломбер или в бостон, причем и прабабушка иногда с кем-либо из почетных гостей, не покидая своей постели, играла в пикет. Большею же частью она проводила время в беседах с гостями.

Неприятных или печальных разговоров у прабабушки не допускалось, как не бывало и чрезмерного веселья или громкого смеха.

Все было в меру. Когда она, вспоминая минувшие времена, заводила речь о каком-либо прошедшем событии, то излагала его обстоятельно, не торопясь, а гости слушали ее, стараясь не проронить ни единого ее слова. Так как детям строго воспрещалось при ней не только говорить или шептаться между собою, но даже шевелиться, то они, соскучив долгим молчаливым сидением на изразцовой лежанке, обыкновенно один за другим незаметно уходили через смежную дверь в девичью и оттуда, надев шубки и теплые шапки с наушниками, вылетали в посеребренный инеем, обширный прабабушкин сад, где на холме, на особых подставках, чернели длинные, чугунные, запорожские пушки, а у каменного грота выглядывала серая «каменная баба», присыпанная пушистым снегом, точно в белом серебряном чепце, — другая, таинственная прабабушка...

Однажды, в такие же именины, после радушного, оживленного обеда, в опочивальне Анны Петровны остались за кофе, ликерами и десертом двое из старейших и почетнейших ее гостей — местный предводитель и командир соседнего уланского полка. Прочие гости на нескольких столах играли в зале в карты; остальные ушли курить в большой дом.

Разговор у прабабушки зашел о современном поколении женщин и, между прочим, коснулся неравенства лет в браке. Полковой командир, уж далеко не молодой человек, давно, как замечала Анна Петровна, не спускал глаз с одной из ее родственниц, совершенно молоденькой девушки, и метил посвататься к ней. Неравнодушно поглядывал на девушку и совсем старый предводитель. Прабабушке это сильно не нравилось, хотя она ни тому, ни другому об этом не говорила, так как и они, со своими сокровенными, но очевидными помыслами, еще молчали.

— Нашу сестру, особенно из нонешних, да еще молодую, — сказала Анна Петровна, — коли не сдерживать, не вразумлять, то сейчас свихнется и, рано выйдя замуж, так

станет рядиться да мести хвостом, что разорит господина-мужа, либо, извините, хуже того, прямо стрекотуха-егоза наставит ему рога.

Сказав это, прабабушка на минуту смолкла, взяла со стола флакон с каким-то спиртом, понюхала из него и оглянулась по комнате.

— Дети, кстати, все разошлись, — произнесла она. — Хотя у меня что-то не совсем свежа голова, могу вам, коли не наскучу, сообщить одно поучительное событие или даже, если хотите, трогательный анекдот...

Дети в это время, действительно, вышли один за другим из комнаты прабабушки, кто в сад, кто в конец двора — на ледяную гору или с няньками к реке, где сквозь лед на ужин ловили бреднем рыбу. Один, впрочем, из правнуков Анны Петровны, войдя перед тем в опустелую девичью и не найдя там своего теплого платья, присел в ожидании прислуги у печи, за дверью, и невольно услышал и потом запомнил то, что рассказала тогда прабабушка.

— Это, други мои, было давно, — начала Анна Петровна, — лет десять спустя после основания здешнего университета. В то время к нам из города, знакомясь с краем, охотно езжали в гостя новоприбывшие профессора и доценты разных наук: архитектуры, физики, ботаники, медицины и словесности. Все это были хорошие люди, образованные, деликатные. Они отдыхали здесь на приволье, особенно летом, да и нам бывали полезны. Мы с Иванушкой тогда только что с Божьей помощью кончили постройку нашего каменного пятиглавого храма, — вы, государи мои, ныне так любуетесь им, а Иванушка, в ту пору, успешно начал опыты с посадкой на наших песках соснового леса. Теперь это, как тоже вы знаете, уже не опыты, а настоящий на несколько верст бор... Так вот, говорю, тогда к нам на отдых в гости езжали разные профессора, и между ними немолодой уже адъюнкт ботаники — вы о нем, чай, слышали — Роман Романыч, — после его перевели куда-то в другой город. Он в летние заезды делал у нас экскурсии в лес и степь за травами, а зимой, на святках, раза два ездил

с Иванушкой на волчьи облавы. Был он, скажу, лет за пятьдесят, с белыми, как снег, волосами, но еще бодрый, с румянцем во всю щеку и подвижной. Сильно близорукий, он между тем страстно любил всякую охоту с ружьем. Присматривалась я к нему и удивлялась. Уж как он там попадал в птицу или бегущего зверя, никогда я не могла понять, а туда же, бывало, примащивается к самым записным охотникам, возьмет на плечи ружье, наденет высокие сапоги и марширует. «Куда вы? — говорю я ему однажды. — Побереглись бы: еще по близорукости подвернетесь под чье-нибудь дуло и вас пристрелят в гущине». — «Кому, сударыня, утонуть, — ответил он, — того ружье не тронет; а я хоть и близорук, а иной раз вижу дальше зрячего. Не я ли вам презентовал собственной охоты куропаток?» А уж где там собственной охоты! Думаю, покупал из любезности у наших же егерей. Он в десяти шагах почти ничего не видел, а раз, едучи к нам, принял терновый куст за отца благочинного и, сняв шляпу, усердно кланялся ему.

Слушатели рассмеялись.

— В те годы в нашем же институте для бедных девиц, — продолжала Анна Петровна, — кончила учение одна сирота, питомка с детства и крестница моего покойного брата, по имени Анна, как и я. По смерти брата мы с Иванушкой призрели эту Ашеньку и очень ее полюбили. За наши ласки и она нас чтила, а меня звала маменькой. Кончив науку, разумеется, она, как вполне бесприютная, поселилась у нас. Прошло лето, кончилась осень, и наступила зима. Ашенька, видим, очень сильно скучает по своему институту, а особенно по товаркам. Отпраздновали святки; стал близиться день нашего общего с Ашенькой ангела. Ну, как вот и теперь, мы и тогда ждали добрых знакомых, а в том числе кое-кого и из губернии. Кто-то при Ашеньке сказал, что на именины к нам и на охоту, с волчьей облавой, будет и доцент ботаники. Ашенька так и заалела. «Роман Романыч?» — спрашивает меня. «Он самый, — отвечала я, — а разве ты его знаешь?» — «Как не знать! Он и в институте у нас обучал ботанике, и мы его все, как есть, обожали!» Известно

институтское обожание, — разумеется, пустяки. Я о тех словах Ашеньки и забыла. Стали съезжаться гости; приехал и этот доцент. Ашенька, как увидела его, запрыгала от радости и чуть не кинулась ему на шею. Мы потом немало упрекали ее за эту прыть; ты, мол, уже не приготовишка какая-нибудь, в куцем коричневом платье, а кончившая все курсы барышня, и надо бы тебе, милая, честь и совесть знать. А она просто как ошалела, глаз не спускает с бывшего своего ментора. Так, это, он побыл у нас двое суток в гостях — и уехал. Видим, Ашенька стала более тосковать; на себя не походит, похудела, бледна, как кусок мелу, вздыхает, плачет. А летом этот ботаник опять появился у нас. Привез огромный свой гербарий, в пачках оберточной бумаги, ходит по степи и по лугам, собирает и сушит травы, а мы, с горничными и с Анютой, помогаем ему по вечерам. Один раз сидел он со мною на балконе, дивуясь лесом, посадкой Иванушки, — а лес в то время уже стал виден через степь, с нашего балкона, — да и брякнул мне: «Сударыня, Анна Петровна, не рассердитесь, если что скажу?» — «Говори, милый, слушаю; ты хоть и философ, а добрый человек». Он помолчал. Замечаю, утром был он в голубеньком шейном платке, а тут уже сидел в розовом; фрак с иголочки и башмаки с модными пряжками. «Отдадите за меня вашу Анну Львовну, — спрашивает, — коли осмелюсь посвататься?» Я так и обомлела. «Да что ты, Роман Романыч, — отвечаю, — очумел, извини, что ли? Ну, пара ли она тебе? Такое неравенство лет... совсем молодешенька, всего семнадцатый год, а тебе за пятьдесят! И кто, не сердись ты, в мысли это втемяшил тебе?» Он покраснел как рак и несколько секунд не мог вымолвить ни слова. «Что же, сударыня, — говорит, — разве я мог бы быть столь дерзостен? Мне подали некоторую надежду... Лукерья Ивановна по тайности открыла, что Анна Львовна не только не прочь, но даже ко мне расположена». А эта Лукерья, надо вам сказать, была жена нашего тогдашнего попа, молодая, превзбалмошная и болтливая бабенка. «Нашел сватью! — отвечаю я ему. — Да неужели — ну, скажи по

правде — ты не боишься? Нашить тряпок и обвенчать-то вас недолго, да и ты, повторяю, хороший во всем человек; но обдумал ли ты? Не вышло бы чего, не стал бы после жалеть!» — «Если вы, государыня моя, лично не препятствуете, — сказал он, — о себе скажу: я уже решился; что Господь даст, то и будет; а потому снова прошу принять мое почтительнейшее предложение и нас благословить». Тут он встал и поклонился мне с глубоким решпектом. Я, однако, други мои, всегда была не из податливых... отложила решение на сутки, да и на другие ничего не ответила — толковала с сыном, советовалась с невесткой. Принялись мы допрашивать и Анюту. Да что с таким бесперым птенцом? Плачет, молит дать благословение. Иванушка мне на третий день и говорит: «Что же, маменька, партия для бедной сироты-бесприданницы, во всяком случае, подходящая, он еще в самом виде мужчина, имеет бригадирский чин, ласкаем, как видно, начальством и получает приличное жалованье; не нынче-завтра возведен будет в профессоры и беззаботно может прожить, не только с женой, но и с детьми, коли им Господь их даст». Ашенька три дня, запершись, ничего не ела и не пила; видим, ума от любви лишилась: и мил-то он, по ее мнению, и умен, и добр, и все у него, как есть, качества! «Да стар он тебе, дурочка, — твержу я ей напрямик, — ну, куда ему до тебя? Ты жива, быстра, краля писаная и с огнем, а у него белый пух уже, как у голубя-турмана, не токмо в ушах, даже в носу повыскочил!» — «Ах, маменька, — отвечает она, — да я старенъких-то, беленьких именно и люблю! Отдайте за него, я вот как его, еще со второго класса, полюбила». — «Глупыш ты, — говорю, — бутон мой розовый, стрекоза! Да за тебя адъютант вон полковой, писаный красавец и танцор-мазурист, сватается; я только тебе до времени не говорила... пожелай, с руками тебя возьмет». Куда! Ничто не подействовало. Настояла Ашенька на своем; а тут еще соседки давай ездить и трещать: не томите любящихся, не разводите счастья! Я подумала, погадала и согласилась: будь, в самом деле, что будет! Ашеньке нашили

мы приданого, назначили свадьбу, и в тот же год она стала профессоршей.

— Анекдот действительно интересный, — сказал полковой командир, — разве девицам и впрямь все выходить за молодых? С пожилыми иногда бывают счастливее...

— Что же, сударыня, было далее? — спросил предводитель. — Ваша история, по-видимому, еще не кончена.

— Ты, cher ami, угадал, — ответила Анна Петровна, опять понюхав из флакона, — конец был, но, можно сказать, не только странный, а даже неожиданный. Молодые, представьте себе, зажили совершенно счастливо. Не только они сами, но и посторонние отзывались о их житье-бытье с отменной похвалой. Доцент усердно ходил читать свои лекции, а на дому сверх того практически занимался со студентами: посылал их собирать травы, объяснял им наглядно сорта и свойства всяких былинок и приводил с ними в порядок свой огромный, за несколько лет собранный, гербарий. Ашенька, в чепчике и в простом ситцевом или муслиновом платье — их мы ей нашили вдоволь всяких, дешевых и дорогих, — носила мужу наверх, в его рабочую комнату, чай и кофе, и хлопотала по домашнему хозяйству и в кухне. Слыша похвалы Анюте, я сама однажды предприняла вояж в город и своими глазами видела как ее внимание, так и истинную ее любовь к мужу. А уж о нем нечего и говорить. Седой и румяный селадон в ней души не чаял, подарил ей колье вот с какою крупною жемчужиной, колечко алмазное и даже выписал ей через купцов из Парижа модную бархатную мантилью и шляпку Сандрильон. По целым часам сидели они рядком, вздыхая, обнимаясь и говоря друг другу заверения в любви. «Диво дивное! — думала я, глядя на них. — И впрямь, чего на свете не бывает? Стар человек, а как к себе этакую юницу привязал!» Одно мне не нравилось в Ашеньке... Она была невоздержна в насмешках над некоторыми студентами, учениками мужа. Они и действительно были странно и неряшливо одеты, отвечать не умели, а уж о манерах — что и говорить. Одного студента Анюта особенно

вышучивала и шпыняла, хотя, повторяю, отчасти и поделом. Звали его Митей, фамилия — Сверчков. Это был сын бедного городского чиновника, высокий, тощий, носатый и вечно молчаливый, с длинными красными руками, которых он постоянно не знал, куда девать. Одно было в нем привлекательно: большие, темные, ну, чудные глаза. Как теперь их вижу, так и просятся в душу... А она над ним — ха-ха, хи-хи, — проходу ему не дает. Тот, бывало, при мне, придет, усядется у них за чаем, уткнет нос в чашку, а ручищи, как оглобли, разложит по выпяченным, худым коленям и в то время, как другие весело и без церемонии болтают и острят о том о сем, молчит, как каменный истукан. Ашенька глядит и не вытерпит: либо пришпилит к его фалде салфетку, так что он, повернувшись, чуть не валит всей посуды, либо принесет из кухни и потихоньку сзади насыплет ему на спину и на голову курьих перьев и пуху да еще и к зеркалу подведет его. Тот, с оторопу, чуть не плачет, а прочие, и она больше всех, от смеха надрывают над ним животы. Я ей потом наедине делала строгие репримавды. «Ты, машер, — говорю, — не подросток, а профессорша, стыдись: можно ли так издеваться над человеком?» — «Да что же, маменька, делать? — отвечает она, не удерживаясь от хохота. — Руки-то, ноги его! Разве такой увалень — человек? А со смеху, он, пожалуй, и исправится, станет, как все!» Я уехала, а вскоре вышла, скажу вам, из всего того такая история, что не знаю, как уже и рассказать.

— Что же, студент, видно, наконец, разобиделся и дерзостей ей натворил? — спросил предводитель.

— Мужа вызвал за нее на поединок? — спросил полковник.

— Ни то, ни другое, — ответила Анна Петровна, — а вот что. Жили так-то наши молодожены спокойно. После студеной зимы и начала сырой и грязной весны наступили превосходные майские дни — теплынь, яркое солнце и благорастворение воздухов. В университетском саду зацвели белые акации, дикие жасмины и бульденежи. Луга и поля под

городом, ну, как ковром, устлались тысячами вешних цветов. Роман Романыч по утрам торопился читать свои лекции и, кое-чего перехватив за обедом, до позднего вечера пропадал со студентами в окрестностях, за собиранием трав. Однажды случилось так, что он, наморясь день-деньской в шатаньях под городом, возвратился домой поздно ночью, едва чувствуя под собою ноги, упал, не раздеваясь, на постель и заснул, как убитый. Утром, разумеется, встал позднее обычного, взглянул на часы и увидел, что сильно проспал. Погода стояла восхитительная; душисто, тепло, птички щебечут за окнами, а солнце глядит ласково и празднично. До лекции оставалось не более получаса. Роман Романыч наскоро умылся, напялил на себя вицмундир, уложил в портфель брульоны своих лекций и часть гербария и хотел уже бежать в аудиторию, но вспомнил, что внизу ждет его этот студент Митя, которого он в то утро решил послать на подгородний архиерейский луг. Там в это время окончательно отцветали какие-то особенно дорогие, по мнению ученых, травы, целебные папоротники, что ли, и их надобно было разыскать и захватить непременно в цвету. Он кликнул к себе Сверчкова наверх, показал ему образцы тех трав и снова объяснил ему, как и на каких мочажинах их собирать. «Но ты, папаша, хотя бы закусил!» — сказала ему, войдя также наверх, Анюта. Муж взглянул на нее и жаль ему стало идти. Она в ту минуту, как он после говорил друзьям, сияла милее и свежее всякого майского утра. «Да, мой друг, выпил бы я с тобою кофейку, — ответил муж, любуясь ею, — только вот что, ты знаешь, как я аккуратен... во всю жизнь в университете да и у вас в институте не пропустил ни одной лекции. Надо идти!» Он собственноручно надел на шею Сверчкову сумку с инструментами и пропускной бумагой; для прокладки между нею свежих трав, спустился с лестницы и чуть не вприпрыжку пустился в университет. Жил он довольно далеко, в доме протопопа, почитай, в конце города, однако же успел дойти как раз в то время, когда на соседней соборной колокольне часы стали звонить девять — начало лекций. На

крыльцо он взошел, впрочем, не без конфуза, так как ни у ворот, ни возле университета не было заметно никого из студентов. Все, очевидно, были уже в аудиториях. Так или иначе, а он все-таки значит, припоздал. Поднялся он по главной лестнице, заглянул мимоходом в профессорскую сборную, она также была пуста. «Эх, засмеют, — подумал он, еще более смутившись, — этакий точный, сама аккуратнейшая аккуратность, а явился позднее всех!» Остановился он на верхней площадке, отер вспотевшее лицо, оправил на голове свой белый кок и одернул фалды мундира. Но едва он ступил в общий коридор, навстречу ему оттуда, тоже с портфелью и тоже как бы озадаченный, хотя и с улыбкой, — коллега его — профессор астрономии. «Ты куда это?» — спросил астроном. «На лекцию, сегодня о губоцветных буду читать, — тарантил Роман Романыч, — но ты заметил ли? Ведь я, кажется, припоздал?» Астроном так и покатился со смеху, хохочет, и его смех громко разносится в пустом коридоре. «Что ты смеешься?» — «Да как же оба мы поступили, как истинные философы, а сказать повернее, даже просто как рассеянные колпаки!» — «Как так?» — «Да очень даже просто; ведь сегодня табельный, царский день!» Роман Романыч на это совершенно опешил и, тоже рассмеявшись, вышел с коллегой на улицу. «Куда же ты теперь?» — спросил астроном. «Домой, разумеется; ведь я, представь, после вчерашней экскурсии в луга спал, как сущий богатырь, проспал до восьми с половиной и так сюда торопился, что даже не закусил». — «Так зайдем ко мне на обсерваторию, — сказал астроном, — во-первых, это ближе, чем твоя квартира, а во-вторых, мой вахтер нам мигом подаст не только закусочку, но и шнапсику; держу наверху для ради всякого случая. Положим, фриштик у меня не столь будет вкусен, как моккский кофе из рук твоей юной супруги, зато у меня на башне еще одна приманка... Представь, три дня всего назад уставлен новый венский телескоп, да какой! Разумеется, теперь не ночь, планет и звезд мы с тобою не разглядим; но прислана еще великолепная зрительная труба,

и из нее видны не только твои подгородние луга, но и далее, вся окольность, чуть не до монастырской горы». Роман Романыч был вообще любознателен, а тут еще и голод, от пробежки утром и натощак по городу, сильно давал о себе знать. Все еще раздумывая, как это он так опростоволосился с лекцией, он согласился и последовал за коллегой...

Сказав это, Анна Петровна откупорила флакон, налила из него несколько капель на уголок носового платка и потерла им у себя виски и за ушами.

— Голова у вас, сударыня, болит? — спросил предводитель. — Давеча за обедней не простудились ли?

— Ничего, мон ами, недолго договорить, кончу, — ответила Анна Петровна. — Товарищи взошли на обсерваторию. Пока вахтер готовил фриштик, астроном открыл окно на башне, наставил в него подзорную трубу, снял с ее стекла закрышку и навел рефрактор на окрестности. «Друг мой, смотри и любуйся, — сказал он, — ведь как бы с Монблана или Ризенгебирге... Дух захватывает от столь дивного изобретения людского ума!» Роман Романыч присел на табуретку, наладил стекло по глазу и стал любоваться действительно диковинным видом — голубыми, в легком тумане полями, темными лесами и контурами холмов. «Да, — сказал он, — узнаю, вон дорога на Кавказ, а это, вон, гора, должно быть, возле монастыря — какая даль! А это, постой, поблизи, так и есть, архиерейский луг... Я туда давеча послал одного своего слушателя дополнить гербарий... Старательный и хороший малый, метит в ученые. Пожалуй, разгляжу и его за работой среди лугов... Нет, что-то не видно; должно быть, он взял напрямик через лес». Роман Романыч, пока его коллега и сторож ладили стол и ставили на него закуску, любовался видом окрестностей. Наконец он навел трубу и на предместья города. Тут он уже прямо пришел в восторг. «Ай, прелесть! — вскрикивал он. — Каково? Дом Андрея Федоровича — как на ладони; даже его пеструю кошку видно; вон крадется по крыше к воробьям... Василий Назарыч цветы в палисаднике поливает... постой, да что это?.. Так и есть, георгины и конвольвулосы, на тычинках... все разбе-

решь!.. Ай, да рефрактор! По чести, не труба, а чистое диво!» — «Да, инструментец изрядный, — сказал астроном, — а теперь, коллега, насчет шнапсику! Это будет почище!» Товарищи уселись, выпили и закусили. Хозяин вспомнил о недавно открытой комете. Начав рассказывать о ней, он отпер шкап, чтоб достать и показать полученный ее рисунок. «Что же это, однако? — спохватясь, подумал гость. — Я смотрел на чужие, а своего дома и не разглядел». Он снова присел на табурет и навел рефрактор на свое предместье. Замелькали на стекле подгородные домики, огороды и сады; стал виден, как бы в десяти шагах, узенький переулок и дом протопопа. Роман Романыч разглядел знакомую красную крышу, тесовые ворота, белье, развешанное по двору, для просушки, на веревке, и кучу протопоповых голубей на вышке, у слухового окна; а пониже и раскрытое окно своего кабинета — книжные шкапы, комод, картинки по стенам и рабочий стол, с бумагами, перед окном. Но вдруг Роман Романыч вздрогнул и отшатнулся от трубы, не веря своим глазам. Он замер и несколько секунд сидел ни жив, ни мертв. «Еще водочки, коллега! — сказал товарищ, доставая рисунок новооткрытой кометы. — Смотри какая, а хвост изогнут, и сквозь него видны звезды». Но уж куда тут было до водочки или до кометы. Роман Романыч протер платком зрительное стекло, еще взглянул в рефрактор и надвинул на него крышку... Пот каплями падал с его лица...

Прабабушка снова замолкла.

— Что же он увидел? — спросил предводитель.

— То, что и следовало ожидать, — раздражительно ответила Анна Петровна, прикладывая нос к флакону.

— Неприятность какую-нибудь? — спросил полковник. — Воры забрались в кабинет?

— Да, воры, — ответила прабабушка, — только иного сорта... На диване в кабинете сидел Митя, а рядом с ним Ашенька, и оба они, обнявшись, целовались, как истые голубки.

— Возмутительно, дерзко и неблагодарно! — сказал предводитель...

— Именно, мон шер, неблагодарно, — обратилась к нему Анна Петровна, разведя руками. — Совершив такое открытие, Роман Романыч молча отошел от трубы. Коллега знаком пригласил его к столу. Они еще выпили по рюмке. «Так рефрактор не дурен?» — спросил астроном. «Преотменный!» — ответил гость. «И все хорошо видно?» — «Все...» Товарищи пожали друг другу руки и расстались. Точно на крыльях ветра Роман Романыч понесся домой. Он шел, как облитый водою, с портфелем под мышкой, и не грустил, а как-то странно усмехался. «Так тебе и надо, старый дурак! — рассуждал он, идучи. — Совсем сосулька, сморщенный гриб, а тоже затеял играть в амуры. Поделом ротозею, плюгавой размазне! Не так надо было смотреть за молодою красивою женой!» Примчался он на квартиру — и прямо на лестницу. Услышала Анюта скрип ступеней, узнала шаги мужа и выбежала к нему из кабинета на площадку. «Как? — спрашивает. — Ты уже домой? А лекция?» — «Забыл я, милая, сегодня табельный день». — «Будешь пить кофий? Только налить — готов». — «Охотно!» — ответил муж, а сам вошел в кабинет и окинул его глазами. Все в нем казалось на местах и как бы в порядке. Одна только его шинель как-то странно была брошена на диван и свесилась с него до полу. «Так пойдем же вниз ко мне, — сказала Ашенька, — там и спокойнее, и не так жарко». — «Нет, я устал; давай сюда». Анюта вышла на площадку и крикнула в кухню стряпухе: «Завари кофий да неси наверх две чашки: выпью и я». — «Нет, три!» — сказал муж. Ашенька удивилась. «Разве еще кого ждешь к себе?» — спрашивает. «Да, жду одного приятеля». Тут Роман Романыч вынул из портфеля свои записки и травы, разложил их на стол, снял с себя вицмундир и облекся в покойный домашний шлафрок. Кухарка возилась с посудой. «Удивительные люди, эта прислуга! — с нетерпением восклицала Ашенька. — Кипяток всегда есть и кофейник был на плите, а не несет!» Кофий наконец был принесен. «Ну, где же твой знакомец?» — спросила Анюта, наливая пока две чашки. «Наливай и

третью», — сказал муж. Анюта налила. Роман Романыч встал со стула, быстро нагнулся к дивану и приподнял брошенную на него шинель. «Ну-ка, господин Сверчков, — сказал он, увидя торчавшие из-под дивана, в болотных сапогах, ноги Мити и похлопывая по ним. — Что конфузиться? Вылезайте, будем пить кофе». Еле живой от смущения, весь красный и в пыли, Сверчков выполз из-под дивана, отряхнул на себе платье и робко присел на край стула. «Полно церемониться, вот ваша чашка, откушайте; да проси же гостя, жена!» Ашенька не верила своим ушам и была готова провалиться сквозь землю. Сидя как на иголках, она ожидала бурных взрывов, грозы. Ничего этого, однако, не произошло. Муж налил себе в чашку сливок, медленно помешал ложечкой и, обмакивая печенье в кофий, стал с удовольствием прихлебывать. Видя его спокойствие, начал пить и Митя, а за ним и Ашенька. «Это с имбирем и корицей?» — обратился Роман Романыч к жене, указывая на поданные сухарики. «Да». — «Ты сама пекла?» — «Сама...» — «Превкусно...» — «Что за диво? — рассуждала Анюта. — Неужели он ровно ничего не заметил? И могла ли до такой степени дойти его ученая, не от мира сего, простота? Что же? Весьма возможно; он, по его мнению, поймал ученика в лености да ласкою, косвенно и корит его за то, что тот, убоясь его упреков за нерадение, спрятался под диван». А тем временем, как Анюта это думала, Роман Романыч расспрашивал Сверчкова о его родителях и узнал, что они померли и что он живет у тетки, вдовы аптекаря. «Она и теперь содержит мужнину аптеку?» — спросил он. «Так точно». — «И хорошо идут ее дела?» — «Изрядно». Допивши кофе, Митя встал, вежливо поблагодарил за угощение, взял шапку и сумку и стал откланиваться. «А ты, Ашенька? — обратился Роман Романыч к жене. — Что не берешь также своей шляпки и мантильи?» — «Зачем?» — удивилась та. «Как зачем? — ответил Роман Романыч. — Теперь уж не я тебе муж, а вот он... Вы любите друг друга, будьте же счастливы и неразлучны. Извольте, молодой человек, взять

под руку Анну Львовну и шествуйте восвояси...» Анюта помертвела, не могла слова проговорить. «Да, мои милые, да, други сердечные! — продолжал Роман Романыч. — Я сделал в жизни одну великую глупость, не послушал тех почтенных особ, кои мне перечили и предрекали то, что случилось, и уж более, разумеется, я того не повторю!» Ашенька залилась слезами. Митя упал на колени и стал молить о прощении. «Да что же вы, дорогие мои, каетесь? — сказал Роман Романыч. — Вы только открыли мне глаза, и я вам за то крайне благодарен. Здесь закон природы, его же не прейдеши, и провидения перст! Повторяю, не смущайтесь: облегчите мою душу, живите счастливо, и да благословит вас Господь!» Сверчков поднял на Анюту свои большие пленительные глаза. Ашенька растерянно взглянула на него. Они поняли, что делать более нечего, взялись под руки да потихоньку и ушли...

Анна Петровна смолкла; молчали и ее слушатели.

— Что же было потом? — решился спросить предводитель.

Анна Петровна закрыла глаза, как бы собираясь с мыслями. Так она пробыла с минуту.

— Давняя история, — сказала она, — и тем собственно, если хотите, дело и кончилось... Роман Романыч, сгоряча покончив все, сперва было как бы пошатнулся духом, никуда не показывался, не ходил на лекции и по целым дням молча смотрел из кабинета в окно либо открывал книжный шкап и медленно перелистывал какую-нибудь книгу, ничего в ней не понимая. Потом, однако, он успокоился и возвратился к обычным своим занятиям. Ашенька поселилась сперва у Митиной тетки, так как ко мне она уже не решалась более обращаться. Когда же Роман Романыч, перейдя в другой университет, получил там кафедру профессора, он дал Анюте развод, и она обвенчалась со Сверчковым. Дело, если посудить, обыкновенное и не особенно мудреное. Так не раз бывало на свете и всегда будет. Но, вот что, поистине, дивно... Роман Романыч впоследствии узнал: Митя не только

не бросил науки, но, кончив курс университета, выдержал экзамен на магистра, а потом и на доктора. Тут уже Роман Романыч не утерпел и написал ему письмо. «Вы, как и следовало ожидать, — выразился он ему, — преуспеваете в науках; я же, сообщу вам, совсем состарился и от занятия микроскопом теряю зрение... Для нового вина нужны и новые меха. Приезжайте, дорогой мой, да не одни, а с женою, вашей супругой, и с детками. Порадуйте, дайте взглянуть на вас всех. Будем вместе хлопотать у начальства. Я вам уступил лучшее мое сокровище в жизни — жену; охотно достойному уступлю и мою кафедру, которую, ах, я люблю не менее, чем любил свою жену!»

— И он это исполнил? — спросили с удивлением полковник и предводитель.

— Истинный и тонкий был философ! — заключила прабабушка. — Ныне мало таких людей! Все какие-то самонадеянные и, простите, легкомысленные... А он как сказал, так, представьте, все и совершил!

1887 г.

IV

ДЕДОВ ЛЕС

Мой дед Иван Васильевич Данилевский посеял... тысячу десятин леса.

Не правда ли, как это странно слышать в наш, по преимуществу «лесоистребительный» век? Вспомним сжигание лесов железными дорогами и пароходами, которых по одной Волге ходит более пятисот; вспомним рубку березок по всей России в Троицын день.

Люди предприимчивые, люди с сильной волей и деловым умением, при всяких новейших приспособлениях, с паровыми

плугами, рядовыми сеялками и при своих и акционерных капиталах, стали бы в затруднение перед задачей — посеять и вырастить тысячу лесных десятин.

Много и в последние годы толковали о «лесоразведении», «древонасаждении» и «обводнении» южных степей. Ученые геологи и ботаники, по древесным остаткам в курганах и на дне рек и озер, доказывали, что ныне пустынные, лишенные рощ и дубрав Украйна и Новороссия в незапамятные времена были покрыты лесными породами, где заброшенный в степи путник мог находить убежище от непогоды. Писались доклады, вызовы, проекты и уставы; командировались сведущие чиновники и лесники; составлялись общества и продавались паи. Но ни «лесоразведения» и «древонасаждения», ни «обводнения» степей до сих пор не оказалось и следа. А в глубине слободской Украйны, в змиевском небогатом селе Пришибе, проживал незнаемый светом хуторянин, мой дед, который семьдесят пять лет назад, без машин, без своих и чужих вспомогательных капиталов, взял да и засеял лесом тысячу десятин никуда не годных, песчаных земель на Донце.

Об этом свидетельствуют как официальные, печатные источники, так и семейная, устная старина.

Во-первых — свидетельства официальные.

В речи известного харьковского ученого профессора ботаники В. М. Черняева «О разведении украинских лесов», изданной в 1857 году, сказано следующее: «Покойный профессор ботаники, незабвенный мой наставник, Ф. А. Делавин, в 1817 году в речи, произнесенной в торжественном собрании Харьковского университета, упоминает об одном замечательном случае удачного лесоразведения на сыпучих песках.

«Я знаю, — говорит он, — одного помещика, скромность которого заставляет меня умолчать о его имени. Когда я проезжал по его землям, лет 15 тому назад (1802 год),

я нашел песчаную равнину, десятин в пятьсот. Но как я удивился, увидев недавно ту же равнину, превращенную в прекрасный сосновый лес! Ах, почему таких людей немного? Почему имя сего мужа не достигло подножия трона?

В 1844 году, — продолжает профессор В. М. Черняев, — имел я удовольствие видеть уже не пятьсот десятин, а более тысячи, и быть в доме, построенном детьми из леса, который за полвека посеян их отцом. Через ходатайство начальника губернии Иван Яковлевич Данилевский, помещик Змиевского уезда, награжден, за столь благодетельный и поучительный пример, орденом св. Владимира».

Так говорят официальные печатные данные; так свидетельствуют почтенные профессора. И сообщение их в точности верно: сеятель змиевского леса был, действительно, примерной скромности человек. Как все люди, чем-нибудь истинно послужившие родной земле, он и умер, не подозревая, что совершил какой-либо подвиг и этим был кому-нибудь полезен.

Мой дед, как свидетельствует его формулярный список, родился в 1769 году. В 1791 году, с небольшим двадцати лет, зачисленный в службу лейб-гвардии в Преображенский полк, он в течение пяти лет был произведен в фурьеры, подпрапорщики, кантенармусы и сержанты гвардии, а в 1796 году, незадолго до смерти императрицы Екатерины, уволен, по прошению, в отставку. Надо, впрочем, пояснить, что как это поступление в полк, так и прохождение в нем службы, равно и получение чинов, по тогдашним обычаям, совершились при постоянном и полном отсутствии служившего из полка.

Мой дед никогда не был ни в Петербурге, ни в Москве и не видел в глаза не только гвардии, но и своего Преображенского полка.

Формулярный список прибавляет, что в 1804 году Иван Яковлевич исполнял, по выборам дворянства, должность змиевского «комиссара для сбора денег, пожертвованных дворянами с их имений на учреждение Харьковского уни-

верситета». Не будет лишним вспомнить нынешнему молодому поколению южных землевладельцев, что наши деды на этот предмет пожертвовали и до копейки собрали в те годы более полумиллиона рублей.

В 1819 году последовало награждение Ивана Яковлевича орденом св. Владимира, как сказано о том в грамоте, «за отличные труды и усердие, к общей пользе оказанные, в разведении леса на пустых, песчаных местах».

Избранный старостой им построенной в 1810 году в родовом селе каменной церкви, мой дед нес эту обязанность до конца жизни.

Он умер шестидесяти четырех лет, в 1833 году, среди посеянного им леса, в небольшом, в три комнаты, домике, у курбатовского ключевого пруда.

Официальные и письменные данные на этом кончаются.

Устная семейная старина щедрее...

Отец Ивана Яковлевича воспитывался в шляхетском кадетском корпусе, где был соучеником известного по Шлиссельбургской катастрофе Мировича. Служа в пехоте, он женился на дочери выборгского коменданта, Плотниковой, занимавшей в то время должность камер-медхен при дворе императрицы Екатерины. Угрюмый мистик и масон, отец Ивана Яковлевича умер от чахотки, когда сыну исполнилось восемнадцать лет. Сын получил домашнее воспитание.

Любимец и единственная отрада матери, Иван Яковлевич, со дня своего рождения и по ее кончину, в течение почти шестидесяти лет, не разлучался с родительницей. В детстве она его нянчила и сама учила не только грамоте, но и верховой езде и стрельбе из ружья. Под ее руководством он стал хозяйничать, с ее же выбора и согласия, в последнем году прошлого столетия, женился.

Новый, XIX век застал Ивана Яковлевича на тридцать первом году жизни. Прекрасно образованная и даже, как тогда говорили о ее пансионском воспитании, «ученая», его

жена, моя бабка, Анна Васильевна была из семьи Рославлевых, стяжавших громкую известность своим пособием при возведении императрицы Екатерины Второй на престол. Живая, чувствительная и подвижного нрава, Анна Васильевна с трудом выносила застенчивый, тяжелый на подъем и нерешительный нрав мужа. Воля доброй умной свекрови в этой семье была закон. Робкий и мнительный с посторонними, с детства замкнутый, бука и домосед, Иван Яковлевич до женитьбы увлекался лишь двумя предметами — охотой и музыкой. Хозяйством он занимался мало. Имением заведовали, под надзором матери, приказчики. А как они занимались хозяйством, можно было видеть в конце села, у кабака, особенно в праздники, когда одного из них оттуда вел в хату кум, а другого провожала смазливая дочка, крестница матери Ивана Яковлевича.

Днем Иван Яковлевич бродил по степи и по Донцу с ружьем; по вечерам тешил матушку игрою на скрипке или на клавесинах! Тех же обычаев он вздумал держаться и став молодоженом.

Анна Васильевна терпела-терпела деревенскую скуку и решилась, наконец, ласково и стороной намекнуть мужу о губернском городе Харькове: что там, дескать, всякие веселости, театры, выезды, танцевальные вечера.

Долго, почуяв, в чем дело, кряхтел и робко улыбался молодой, неподатливый и неповоротливый муж. Не хотелось ему оставить деревенского теплого угла, нажитых привычек, охоты с любимым ружьем «калиновкой», бесед с матерью и стеганного на вате, мягкого шелкового архалука. Да и сидела в нем, с недавних пор, какая-то внутренняя смутная дума. Он все охал, брался за грудь и бока, жаловался на нездоровье. Жена незаметно, однако, пересилила.

Потолковав с «сударыней-матушкой» и продав соседним купцам кое-какие сельские запасы, Иван Яковлевич решил провести часть зимы 1801 года в Харькове. Он послал нанять квартиру у тамошнего своего знакомца, доктора Вырубова; но медлил и медлил с отъездом или, как бабушка

думала о том впоследствии, «мямлил-мямлил» и отправился туда уж на рождественских святках, в феврале.

— Вы довольны, зельхен? — спросил дед, так называвший в нежные часы жену.

— Как же, герцхен, не довольна!.. Увидим свет, освежимся...

Побывали молодожены у городских властей и у губернского предводителя; выстояли архиерейскую службу в монастыре; посетили театр и какую-то панораму, обжились, устроились и сами стали принимать знакомцев и родных.

Иван Яковлевич справил себе модный наряд; стал выезжать в голубом фраке, с бронзовыми пуговицами, и в крахмаленом жабо; но часто шептался с доктором, квартирным хозяином. Зная мнительность некрепкого здоровьем мужа, Анна Васильевна все собиралась спросить Вырубова, в чем дело, и стеснялась, как бы не огорчить этим мужа. Харьков между тем огласился печальным событием.

В начале великого поста прихожане старой Вознесенской церкви, заслышав звон пономаря, стали собираться к заутрене. Две старухи заметили на стене деревянной колокольни бумажку, прибитую у входа на паперть. Одна из старух, грамотная купчиха Слатина, соседка по квартире деда, предполагая, что это было призвание к пожертвованию, стала вслух читать написанное... Бумага оказалась острым и сильно дерзким пасквилем на одно высокое лицо.

Вознесенский протопоп, отец Василий Фотиев, проходя мимо к службе; взглянул на «бунтовскую грамотку», сорвал ее и тотчас заявил о ней полиции. В тот же день он был отрешен от должности и взят под арест. Старуху Слатину к ночи умчали с фельдъегерем в Петербург. И хотя все знали, что ни Фотиев, ни Слатина, как ни в чем здесь не повинные, будут, по всей вероятности, вскоре освобождены, тем не менее всем городом овладела паника.

А тут еще какой-то проезжий из столицы чиновник сообщил новое известие, в особенности поразившее моего деда. Завернув по пути к приятелю архимандриту, этот петербургский житель под секретом рассказал, что однофамилец и дальний родич моего деда, тоже Иван Данилевский, был в ту зиму схвачен полицией где-то в Курской или Пензенской губернии и так же, как Слатина, отвезен в Петербург.

Рассказчик, впрочем, прибавил, что арест для этого обвиняемого окончился благополучно. Когда арестанта ввели в кабинет императора Павла, государь с негодованием показал ему какой-то рисунок со стихами и спросил: «Это ты меня изобразил в таком привлекательном виде?» — «Государь! — проговорил через силу, упав на колени, арестованный. — Я не только пашквилей на обожаемых моих монархов, но даже и писем к родным детям писать не могу... третий год рука в параличе...»

Было произведено новое дознание; настоящий виновник дерзкой сатиры был найден и уличен. Ивану Данилевскому император Павел, по словам рассказчика, пожаловал за напрасные тревоги и страх дорогой перстень, дал место в ассигнационном банке, на поправку расстроенных дел записал ему обширную вотчину и, наконец, по просьбе оправданного, в память этого события с ним в Михайловском дворце, где тогда жил государь Павел Петрович, прибавил к его фамилии слово «Михайловский». С той поры и стали на Руси Михайловские-Данилевские.

Анна Васильевна всячески старалась успокоить мужа, встревоженного этим рассказом.

— Ну, видите, видите, — говорила она, — какой добрый и справедливый монарх!.. Не права ли я? Не только наградил невинно подозреваемого, но еще перед ним на разводе принес извинение.

— Нет, нет, надо уезжать! — твердил дед. — И тот Иван, и я Иван, и оба Данилевские. Мало ли что может произойти... Подальше от города, более спасения и тишины.

— Но что же произойдет?

— А вон, квартальный поручик вчера пять раз за день мимо нас прошел и все поглядывал на окна... Верь, что уж недаром...

— Да его квартира здесь на улице.

— А зачем на наши окна смотрел?

В Харьков незадолго перед тем приехал известный фокусник Манчини. Он пустил афиши, в которых извещал, что публика увидит у него отменно-дивные вещи: ращение в четверть часа из семян цветущих роз, глотание зажженной пакли и оживление обезглавленных перед зрителями голубей. Город спешил в заманчивый балаган.

— Собирайся, сейчас едем! — сказал Иван Яковлевич, торопливо, с бледным лицом входя к жене с утренней прогулки.

— К Манчини? Разве сегодня?

— Нет, сударыня, — в деревню, домой...

— Как? Что случилось? А ты же обещал завтра с Вырубовыми к фокуснику...

— Не до заморских нынче штук, — мрачно ответил дед, — слышала, мой друг, что грозит Харькову? Представь, — прибавил он с боязливой оглядкой, — прислан, говорят, секретный приказ... Если в трое суток не найдут виновника вывешенной у колокольни сатиры, то в Харьков войдет чугуевский казачий полк и подожжет с конца в конец все улицы; и когда город сгорит, его место спашут, засеют, и поставят у дороги столб с надписью: «Здесь был город Харьков».

— Что вы, что вы, Иван Яковлевич! Всякому слуху верите! — возразила, сама побледнев, Анна Васильевна. — Помяните мое слово, никаких подобных вандальств в наш просвещенный век быть не может... Сколько раз я вам говорила по поводу таких политических пересуд, что все это бабские выдумки! Будем надеяться на Бога; а наш Харьков, верьте, останется цел и невредим.

Слова нежной, любящей, верившей в «просвещение века» бабушки, на самом деле оправдались.

Утром следующего дня, когда архиерей, губернатор и прочие высшие городские власти выходили от вечерни из собора, к паперти подскакал в волчьей шубе, засыпанный снегом фельдъегерь. Он, еще стоя в бешено мчавшихся санях, скинул шапку и, ею махая, крикнул охрипшим голосом: «Счастье имею поздравить с восшествием на престол императора Александра! Царство небесное императору Павлу!»

Эта весть с быстротою молнии облетела Харьков

— А все-таки, зельхен, уедем в деревню! — сказал, выслушав новость, дед жене.

— Почему, герцхен? Разве не видите, как, по моему предсказанию, все счастливо кончилось? — ответила жена. — Город ликует; с близкой Пасхой будут новые празднества, веселье, балы.

— В своем гнезде и веселее, и лучше!

— Но мы многим еще визитов, как следует, не отплатили, — настаивала жена, — родные обидятся; у многих назначены вскоре вечера, а такой родней, герценька, как у вас, не следует пренебрегать... Донец-Захаржевские, Краснокутские, Двигубские, князь Трубецкой, Милорадович, Пестичи, граф Петр Михайлыч Апраксин, Булацель-богач...

— Еще, сударыня, нет ли кого на примете? А я скажу, — решил дед, — скупим, что надо, да скорей восвояси. Знаешь пословицы: своя хатка — родна матка... на своей печи все красное лето... Дома и стены помогают; и мышь в норку тащит корку... Вот и я, скажу вам, к своей «калиновке» приобрел нынче новый, с пороховницей, ягдташ...

«Калиновка», долго хранившаяся в нашей семье, была любимым ружьем деда. Он из нее, по преданию, под шестьдесят лет не давал промаха по волкам и убивал на лету ласточек.

— А кстати, — прибавил дед жене, — поздравляю и с новым егерем, Антипкой... Сегодня с ним встретился! Завзятый стрелок... И он поедет с нами.

Нового егеря Иван Яковлевич нанял случайно. Дед вошел в польскую лавочку, где торговал прибор на ружье.

Здесь он увидел здоровенного, сухопарого, сильно обветренного и с приможенным носом верзилу, покупавшего дробь и картечь на старенькую, перевязанную веревкой винтовку. Разговорились. Антип оказался странствующим торговцем-охотником.

— Откуда пришел?

— Из брянских лесов.

— Какова там охота?

— Другой нет на всем свете.

Дед еще поговорил, осмотрел винтовку Антипа, спросил, как и у кого он охотился в брянских лесах, и предложил ему съездить с собою за город, попробовать в цель «калиновку».

— Вот так бисова ковинька! Хоть бы и кошевому! — сказал Антип, протирая глаза, когда дед на пробе всадил на сто шагов пулю в пулю. — Я бы с таким ружьем жил, как с жинкой, и ходил бы за ним, как за родной детиной.

«Эге! Ковинька! И вспомнил кошевого! — подумал, покосясь на Антипа, дед. — Персона, очевидно, не пустячная; уж не из бывших ли, ныне шатающихся по миру, славных сечевиков?»

Антип Легкоступ, действительно, был из закрытого двадцать пять лет перед тем Запорожья. Где он был со времени памятного «руйнования Сечи» — никто не знал. Уходил ли он с прочим «товариством» в Туретчину, да соскучился и сам возвратился, или первое время прятался где-нибудь в глухих степях да по морским рыболовням в Новороссии — предание о том умалчивает. В последние же семь-шесть лет Антип шлялся, стреляя и сбывая дичь помещикам и в города, по белгородским и брянским лесам. Приехав в наш Пришиб с обозом деда, он прожил у него около десяти лет, исчезая, впрочем, по временам, на год и более.

— Куда же ты Антип? — спрашивал его в таких случаях дед.

— А к морю, пане, в Тилигул... Появилась птица отайка и птица усой.

— Да не брешешь ли ты? — говорил дед. — Что это за отайка и усой? Никто про таких птиц не слыхивал; а в Тилигул ваш брат вечно шел, когда было скучно и хотелось просто уйти на все четыре стороны...

— Ни, пане, ей-же-то-Богу, до моря, в Тилигул, — отвечал, собираясь в дорогу, Антип, — такая птица явилась, нельзя...

Дед оказывал полное доверие новому егерю, поручил ему все свои ружья и весь охотничий арсенал. Антип проживал в саду, в пустой бане. Иван Яковлевич почасту его навещал.

— Что вы все шепчетесь с лекарем? — спросила как-то бабушка мужа, когда они вновь обжились в селе и к ним стал наезжать в гости соседний полковой врач.

— То такое, — ответил таинственно и растерянно дед, — что вам, Анна Васильевна, как даме, может, и не под силу. Не женского резона материя, извините... Когда-нибудь и скажу... А впрочем, может быть, и пустяки.

Бабушка была довольна новой утехой мужа. С Антипом дед охотился как у себя, так и в соседских полях. Он узнал его ближе, полюбил за сумрачный, несколько дикий, но прямой и стойкий нрав и сообщил ему некий заветный, сладкий замысел, созревший на дне его робкой, необщительной души. Это было во вторую весну пребывания Антипа у деда, в 1802 году.

— Знаешь ли, Антип, что я затеял? — сказал однажды дед егерю. — И не только затеял, твердо решил и хочу о том переговорить с матушкой.

— Не знаю, пане; и как нам можно знать все панские мысли?

— Хочу у матушки проситься с тобою в отъезжее поле, в брянские леса...

— Ну, и с Богом, пане Иване! Там такие места, такие, и столько всякой дичи, только помогай Бог в дорогу!..

— Да, помогай Бог! — произнес, почесывая переносье, дед. — А как матушка не пустит?

— Да почему же?

— Потому, я все хворый, все мне не по себе...

— А оттого, паночку, и не по себе, что много дома сидите. Вон и у меня, на что ноги — лошадиные, а уж мозоли стали сходить на ваших, спасибо, хороших хлебах...

— Ну, так я попытаюсь, только ты, Антип, до времени молчи... Будешь молчать?

— Буду.

Воспитание деда прошло под влиянием местных религиозных и бытовых преданий. Он рос под кровом сельской сказочной старины. Женский мир, советы, ласки и руководство любящей матери в течение долгой ее жизни положили на деда свой, несколько фантастический, отпечаток.

В то время не только в поселянских, но и в дворянских семьях всецело царили особые космические понятия о мире, небе и земле.

Небо тогда неоспоримо еще считалось синей кровлей великанов-«одноглазцев», бабы которых на нее с вечера кладут свои веретена и вальки. Облака — это студень, и его пробовал в бурю какой-то пастух. Солнце — человек с огненными волосами. Один пан заблудился на охоте, попал на небо, где солнце спит, и, если б не ветер, губатый солнцев брат, этот пан сгорел бы, как сноп. Перед концом света солнце спустится к земле и уже не зайдет, тогда загорятся озера, колодцы, и реки потекут красным огнем. На луне по ночам — Адамовы сыновья, Каин держит на вилах убитого Авеля. Затмение — это св. Юрий ставит на месяц заслонку. На Сретение — встреча и борьба семейной жены, зимы, и гулящей девки, лета. Звезды — свечи в руках ангелов, сидящих на ступенях Божьего трона; и эти свечи — души людей: праведно живущих — яркие, грешников — тусклые, мерцающие. Едва родится человек, Бог зажигает свечку и

дает ее ангелу. Сколько звезд, столько и людей; падучие — это души покойников. Млечный путь — дорога в Иерусалим. Гром — архангел Михаил охотится с ружьем на уток и прочую дичь. Роса — слезы великомученицы Варвары, которая ходит по тощим, засыхающим нивам и плачет о бедных людях. Радуга — ее коромысло, и по ней втягиваются в тучи кроме речных вод маленькие рыбки и лягушки, потом падающие на землю. Мороз — дряхлый седой старик, весь в сосульках. Ветер — Касьян-ветродуй, мордатый, губатый и усатый, прикованный где-то к стене. Проснется, шевельнет одним усом — ветер, другим — буря.

Тогда — в дедово время — верили, что волы, лошади и всякий скот в ночь под Рождество говорят между собой по-человечьи; что летучая мышь стала с крыльями оттого, что съела на Пасху свяченого; что чайка — неутешная вдова, ставшая птицей от непрерывного плача над могилой мужа, и что воробьи, за указание евреям воскресшего Спасителя, до конца века будут повторять свой предательский крик: «Жив, жив!»

Егерь Антип внес немало новых таинственных преданий и откровений в умственную жизнь деда. Он даже помещение в бане избрал вследствие особых соображений. Жить на охотном дворе он не захотел.

— Со псами, пане, извините, нечисто! — сказал он. — Боюсь не блох, а того, что бывают всякие псы.

— Какие же бывают псы?

— Душа иного человека за плохие дела переходит, по смерти, в собаку, — отвечал егерь, — оттого бывают «песьи головцы» и «вовкулаки» — их сразу и не различишь. Они ночью сердце сосут.

— Я вам, пане, найду и добуду ремезево гнездо, — говорил один раз Антип, бродя в камышах по Донцу и там в траве подглядывая птичьи седала.

— Какое же это гнездо? — спросил Иван Яковлевич.

— От лихорадки лечит и от дурного глаза... Такая махонькая, тихая птушка есть; в зелени ее и не видать.

От подносимой чарки водки Легкоступ отворачивался, уверяя, что с давней поры, по зароку, не пьет. Сельский шинок он обходил как-то мрачно, окольными тропинками, говоря, что кто сидит за горелкой, тот не выкрикнет на приманку ни волка, ни лисицы. Поселяне дичились его и не щадили насмешками. Он отругивался от них забористо и на особый лад. «Лярво ты, хляпитуро! — кричал он, выйдя из себя, — чтоб ты сдурел и веялся, как ветер! Чтоб тебя позавертало! Чтоб ты с дымом пошел!..»

«Запорожец! Как есть, запорожец! — думал дед, любуясь шагавшим по улице, в сермяге, на босу ногу стрелком. — Так ругались сечевики, наезжавшие к отцу в былые годы».

Собираясь на охоту и ладя барину нужные припасы, Антип напевал одну и ту же заунывную, протяжную песню, где слышались слова: Черное море, турки и братья серомахи, славные молодцы. Иногда же он ласково, нежно причитывал, будто молился: «Вы зори-зорницы, три сестрицы! Займите тот кубок, что Иисус руки мыл... Ночь темна, темница! Замыкаешь ты церкви и хаты, монастыри и царски палаты... замкни зверю уши и глаза, чтоб я подошел и не промахнулся».

На охотничьих привалах Антип без умолку рассказывал, что видел и слышал на своем веку.

— Я, пане, один раз сподобился встретить святого Юрия, — поведал как-то Антип.

— Где ж ты его встретил?

— Да там же, куда собираетесь, в тех лесах.

— Как же это было?

— Иду я вот с этим самым мушкетом, — сказал Легкоступ, беря ружье в жилистые, точно сверченные из канатов руки, — ночь была темная, в позднюю осень. Поглядел, а вдали, в гущине деревьев, перебегают огоньки; точно кто со свечами ходил и чего-нибудь искал по траве. Я прилег в кусты, выждал; вижу, святой Юрий идет, как есть в латах, в железной шапке и с большущим самопалом через плечо; а за ним, понуря морды и махая хвостами, вереница волков... их-то глаза и светились....

— Да как это за Юрием волки?

— Он волчий пастух, — ответил Антип.

— Своими глазами видел?

— Своими.

— Да, любопытны ваши брянские леса, и я, что задумал, сделаю, — сказал, прохаживаясь по банной горенке, дед.

— Много див, еще больше дичи, — произнес Легкоступ, — только знайте, пане Иване, вся она заговорена. Много там чертей...

— Откуда же они, когда там святой Юрий?

— То не его дело. А известно — лес, вековечные дебри; опять же воздух свободный; ну, всякая нечисть и водится — лесовики, овражники, болотняники, камышники; где какой из чертей захочет, там себе и живет; есть и лесные бабы — полнолунницы, что звезды крадут; есть девки-щекотницы — попадешься к ним, защекочут до смерти. Эх, пане, вот бы сюда, на Донец, да такие дремучие леса!..

— Я и сам давно думаю, — ответил Иван Яковлевич, — засеять бы, в самом деле, вот хоть все эти песчаные кучугуры, да бугры...

— То-то птушек бы прибыло! — обрадовался Антип. — Дикие голуби — витютни, сойки, серый и черный дрозд, вальдшнепы, шпаки.

— Я полагаю, с лесом завелись бы и всякие лесные травы! — произнес дед, как-то раздумчиво, загадочно и несмело взглядывая на егеря.

— Еще бы! — продолжал Легкоступ. — В тени выползет тебе не только всякая подземная былинка, всякий Божий злак, а покажется, пожалуй, и «дед-моркун».

— Это кто? — спросил, подняв брови, Иван Яковлевич.

— Клад такой... Иной, пане, клад выбежит и катится ночью по дороге белою овцою или черным лохматым петухом; его и не узнаешь. А другой вышел и станет в кустах старым, засморканным нищим, в дерюге, с котомкой и с клюкой; горбатый он, поганый, ну — плюнуть; а кто ему

утрет, извините, сопли — глядь и рассыплется золотом. Разные дива бывают. Опять же, пане, слышно, что при конце века такие будут махонькие люди, что дюжина их в печке станет горох молотить...

— Ну, то при конце света, — перебил Иван Яковлевич. — А скажи ты мне лучше, Антип, вот что... Есть там в лесах, где ты был... жабник, жабья трава? А кое-где зовут ее также чистотелом, и от нее, как сказывают очищается тело человека... Есть такая трава? Ты ее видел?

— Жабник? Как не быть! — ответил Легкоступ. — Всякая трава, пане Иване, вырастет под деревом, абы лес был... А уж леса там, говорю вам, вот леса! Без начала и конца...

Задумался дед пуще прежнего и окончательно решил не откладывать дела.

Наступил 1802 год. Весной в этом году у Ивана Яковлевича родился сын Петр, мой отец. По совету своей матери дед ездил в марте на богомолье в Святогорский монастырь, где служил молебен о здравии родильницы и новорожденного. Возвратясь оттуда, Иван Яковлевич передал матери просьбу отпустить его на богомолье в Белгород, а кстати и поохотиться в Брянский уезд.

— С кем же я отпущу вас, Иван Яковлевич, в столь дальний вояж? — сказала за вечерним чаем на балконе, в кругу цветущих яблонь, Анна Петровна. — Кучер Яшка мне нужен, для поездок в поле и к знакомцам; кучер Сашка для вашей жены — на случай послать за доктором или за чем-нибудь.

— Я, матушка, поехал бы с егерем Антипом, — сказал несмело сын, — мы бы запрягли кибитку, он правил бы тройкой, и мы благополучно сделаем этот вояж.

— А как вы подстрелите себя, Иванушка, на охоте? — возразила, следуя давнему обычаю, Анна Петровна тридцатитрехлетнему сыну.

— Не подстрелю, матушка, — ответил, целуя руку матери, сын, — ружье в пути у меня никогда не заряжено.

— Отпустите его, ma bonne mere, — произнесла сидевшая здесь же, на балконе, еще бледная, бабушка Анна Васильевна, — он зимой почти не охотился, а теперь такая дивная погода... все в цвету, и как тепло.

Прабабка оправила на себе белый, в кружевах, высокий чепец, строго взглянула на вечереющее, тихое небо, на освещенные верхушки осыпанных цветом яблонь и груш и сказала со вздохом:

— Будете в Белгороде, там у обители, где покоятся мощи преосвященного Иосафа, знатный сад — добудьте мне саженцев яблони «добрый крестьянин». Плоды с нее отменные, и их очень выхвалял покойный бригадир Пашков...

Сердце деда радостно забилось. Всякий раз — а это было не так часто, — когда прабабка вспоминала бригадира Пашкова, в дальней заветной молодости в нее влюбленного, — все шло, как по-писаному, на лад. Поездка в Белгород и далее была решена.

Стоял ясный, безветренный апрель. Рогожная кибитка, нагруженная всякой всячиной, двинулась по чернотропу в путь. Антип восседал на козлах. Дед, в стеганом шелковом архалуке и в лисьей шубке, сидел среди ружей и складней с провизией в кибитке.

Побывали в Белгороде, отстояли в монастыре службу, приторговали и отправили на особой, нанятой подводе саженцев «доброго крестьянина» из Иосафовой обители и выехали на дорогу к Брянску.

Беседа в пути не прерывалась. Идут лошади шагом на меловую гору — Легкоступ рассказывает о лесах; идут под гору — дед опять его осыпает расспросами.

— Ты говорил, Антип, что в брянских лесах не всегда было спокойно?

— Теперь тихо, а в старые годы их обходили далеко.

— Что ж там было прежде?

— В них, пане, жил в старину соловей-разбойник, да его победил Илья Муромец.

— Как же он его победил?

— Прослышал о чудище и поехал по топким болотам, трясинам и по калиновым мостам, в самую гущину, где на двенадцати дубах сидел гнездом этот самый разбойник. Не пропускал соловейко ни конного, ни пешего — убивал всех наповал, и не оружием, а молодецким, разбойным посвистом... Завидел соловейко Илью, засвистел — пыль столбом поднялась, посыпались ворохом сбитые свистом листья и сучья с дерев... Да загудела калена стрела — разбойник с дуба повалился...

В таких рассказах степняки проехали несколько суток, миновали песчаные прибрежья только что опавшей от половодья Десны и приблизились к сплошным сосновым и черным раменным пущам, простиравшимся в то время близ Брянска, по окраинам Орловской губернии.

Усталость одолела деда. Он уже не выглядывал из кибитки и крепко спал, когда ночью колеса застучали и запрыгали по кряковистым сосновым кореньям, выступавшим на пути из песчаных бугров. Легкоступ привез барина в сторожку давнего своего приятеля, — тоже охотника-лесника, богатого полбинского смолокура Надвина. Дед отказался от закуски, лег на сено и проспал, как убитый, до утра.

Выйдя утром из сторожки, стоявшей у озера, над холмом, дед не взвидел света от радости. Громадные, двухсот- и трехсотлетние сосны, ели, дуб, ольха, береза и клён простирали свои вершины над темным, суглинистым и супесчаным долом. У озера ладились барки для сплава леса. За озером дымились черные, закоптелые смолокурни.

А когда степняки дед и Антип, подкрепившись пищей у лесника, двинулись налегке, с ружьями, в чащу старого болотного бора, когда их встретили и оглушили всякие

птичьи свисты, стоны и крики и дед, звонко стреляя из длинной «калиновки», наполнил дичью свой ягдташ, потом торбу Легкоступа и привесил еще к своему и его поясам несколько десятков сизых витютней, носатых вальдшнепов, уток и дроздов, — по пути к сторожке дед остановился. Восхищенный мощью и роскошью леса, обилием и запахом древесных пород, о которых в обнаженной, пустынной степи не имеют и понятия, дед скинул шапку, отер разгоревшийся лоб и лицо и, глядя на окружавшую его лесную чащу, сказал Легкоступу:

— Антип, знаешь ли ты, что были в Древнем Египте цари-фараоны; а у нас император, Великий Петр?

— О Петре — как не слышать, а о фараонах читают в святых книгах.

— Ну, Антип, фараоны соорудили среди сыпучих песков пира́миды, а царь Петр выстроил на невских трясинах столицу Петербург. Тысячи конных и пеших работников трудились по их воле над этим. Вот бы нам с тобой... посеять на Донце такой лес...

— Нам, пане, и не нужно такого дорогого кошта.

— Как не нужно?

— Дайте мне, пане, только подвод да выпросите у сударыни-матушки десяток плугов, и я вам лес посею.

— Шутишь? — сказал дед.

— Не шучу, тогда повидите сами! Только над плугами чтоб был не приказный Касьян Криворучка, — лярво, хляпитура ему, сучьему, в родню! — а пусть либо десятник Петр Багацкий, либо ключник Бритвенко Сергей...

Погостил и поохотился вволю дед в смолокуровской полбинской пуще, прокатился по озеру на дегтярный завод, к самому Надвину, собрал нужные справки, засушил, в презент матери, подбор диких брянских цветов и отправился восвояси.

С той поры Иван Яковлевич точно преобразился. Куда делись его вялость, мнительность и нерешительность! Он стал неузнаваем.

Легкоступу дали сперва три, потом пять воловых подвод. Он с ними несколько раз ездил в Брянский уезд за сосновыми шишками. Когда шишки привезли и выбили из них семена, Иван Яковлевич выпросил у матери плуги, отдал их под надзор Бритвенко и Багацкого, и те стали пахать песчаные кучугуры и бугры близ Донца. В проложенные борозды Легкоступ с рабочими сажал свеженарезанные колышки вербы и шелюга красной лозы; а между ними разбрасывал, под борону, сосновые семена.

Люди дивились. «Наш пан сдурел... вместо ржи и пшеницы сеет сосновые шишки!»

А дед без устали сеял и сеял. Он вошел в переписку с заводчиком Надвиным и его соседями, высылал им, в обмен на боровые шишки, возы тяжеловесной пшеницы гирки и белотурки. С новой весной он опять принялся за дело, окопал кучугуры рвами, поставил избы для сторожей и заказал туда всякому путь-дорогу. Боже упаси, если, бывало, Иван Яковлевич, едучи к своим сеянцам, встретит возле них на тропинке конного или пешего... Подбирай скорее полы и беги лучше без оглядки, что есть духу! Обругает поносными словами, а не то задрожит и ухватится за ружье: «Как смел топтать заповедную палестину?»

Прошел год. Тычинки верб и лозы окинулись листьями, пустили ветки. Еще год — между их рядами то здесь, то там зазеленели чуть видные по песку кудрявые грядки крохотной, игольчатой травы: то были молодые сосенки...

Спустя три года сосны стали по пояс человека; в пять лет выросли деду по плечо. Задержанный от разноса, песок начал крепнуть. Дед сеял и сеял...

На седьмом году первые посевные участки поднялись выше человека; на десятом — половина молодого бора уж давала широкую, прохладную тень...

А под смолистыми деревцами, в перегное трав и падающих сосновых игол, образовался дерн, поползла цепкая песочная осока — carex arenaria, — явился вереск, раскинулись и дружно зазеленели прочие лесные травы.

Дед был вне себя от радости. Мать и жена любовались его трудами. Он не покидал заветного дела, отдавал ему все свободные часы. Дело увенчалось успехом.

С первых же лет в молодом бору явились лисицы, а к зиме туда стали набегать целые уймы зайцев и куропаток. Антип выследил два волчьих выводка. Были приглашены соседи, и охота началась на славу.

Поселяне, насмешливо и подозрительно встретившие первые хлопоты деда, более уж не говорили: «Вот одурел пан, вместо хлеба сеет сосновые шишки!» Теперь было не то. Крестьянин оценил доброе дело: сельские пашни более не заносились со смежных бугров песками. «Ишь, ведун! Хлеба столько лет не продавал, — говорили поселяне, — а за то, что вышло! Лес как лес, точно и всегда тут рос».

Стали даже толковать, что и впрямь дед волшебник.

Одна баба, Морозиха, уверяла, что видела раз, как пан вечером стоял у сосны; он был по сю сторону дерева, а то вдруг стал — точно на крыльях перелетел — по другую и в оба раза стоял, как вкопанный, не двигался, точно на облаке...

Вид с дедова крыльца, из Пришиба, на молодой бор был привлекательный. По зорям, летом, были слышны в доме все лесные птичьи крики. На селе, впрочем, толковали:

— Разве то одни птицы голосят? Там теперь немало и *тех* певунов, что к ночи не след и называть...

— Что ж там еще за певуны? — спрашивали бабы мужей.

— Недаром тот чертов запорожец оседлал пана, — отвечали мужья, — добра из этого не выйдет. Порастет, порастет лес да и провалится, с самым тем бесовым запорожским сеяльником, покроется весь водою, как озеро. Не к добру тот, чертов сучак, и водки не пьет, и в кабак никогда не заглянет, чтоб поговорить с добрым человеком.

Однажды, в конце июня, дед охотился в новом лесу с Антипом.

— Ты говорил о жабьей траве, — сказал Иван Яковлевич, — помнишь? А ну-ка, поищи; не выросла ли она за эти годы?

— Давно, пане, и отчего не вспомнили? Вот она, — ответил Легкоступ, нырнув в гущину сосен и неся оттуда молодые стебли чистотела.

Дед радостно перевел дух, долго смотрел на траву и, робко потрагивая себя за пояс и грудь, перекрестился.

— Ну, слава Богу, и спасибо, Антипе, тебе! — произнес он. — Может быть, теперь еще проживу лишние годы на свете.

— Что вы говорите, пане? Разве у вас какая, не приведи Бог, хвороба?

— Такая хвороба, такая, что коли и это зелье не поможет, придется вскорости помирать.

Антип удивленно глядел в смущенное, понуренное лицо деда.

— Ну теперь ступай ты с кучером домой, — сказал дед, — доплети ту перепелиную сетку, что я дал: скоро будет нужна; а барыне скажи, чтоб не ждали с обедом. Пропасть куропаток, два выводка вон в том месте сейчас видел — поохочусь сам. А ты с кучером выезжай к опушке, как смеркнется, и жди...

Легкоступ и кучер, переглянувшись и покачав головами, поехали из леса.

Дед между тем пошел в чащу дерев, отыскал поляну, где более разросся жабник, прилег среди его зелени под сосной, положил сбоку ружье и, как впоследствии рассказывал, в неотвязной, гнетущей мысли закрыл глаза...

«Сегодня Иван Купала, — рассуждал он, — травы в самом соку и цвету... Теперь-то *она*, проклятая, несытая, и падка на свой настоящий харч».

Долго ли так лежал Иван Яковлевич, он того не помнит, так как крепко заснул. Солнце закатилось, окрашивая иголь-

чатые гребни разросшихся вправо и влево сосен. Птичьи крики смолкли. Над прохладными полянами точно незримый дьякон прошел с дымящимся душистым кадилом...

Сумерки в лесу сгустились. Дед очнулся и вскочил. В волнении, ощупывая грудь и живот, он взглянул себе под ноги, бережно обошел дерево и опять себя потрогал.

— Слава Господу милосердному! — прошептал дед, поднимая с травы ружье и отрадно вдыхая смолистый воздух. — Чудо, настоящее чудо содеялось! Вон и дорожку по траве оставила... не давит больше под ложечкой, не шевелится *треклятая*, не томит и не ползет... Домой, скорее домой! Завтра молебен и всей слободе обед...

Под лесной опушкой, в отблеске зари, он разглядел на степном просторе знакомые дроги и сидевшего на них Антипа.

— Ну что, пане, настреляли? — спросил, подозрительно его осматривая, Легкоступ.

Дед отозвал егеря в сторону.

— Такого застрелил, такого, — начал он, в силу сдерживая волнение, — слушай, Антипе, да никому, смотри, до срока не сказывай!.. Надо осмотреться, выждать. Насеял я лесу, как видишь, дети и внуки вспомянут. Вырастет сосновая пуща, покроет все остальные пески. И охотимся здесь мы с тобой, ну, и все... А мне сподобилось, скажу тебе, еще и вылечиться...

— Чем? — спросил Легкоступ, бессознательно обнажая чубатую голову.

— У меня, Антипе, — сказал дед, — жаба сидела в животе; десять лет каторжная сидела и двигалась... А как лег я и заслышала она поблизу свой настоящий жабий харч, так, треклятая, совсем сразу из меня и выскочила... Я видел и ее след по траве.

Легкоступ в тот же день не вытерпел и на радости, что вылечил пана, завернул перед ужином в кабак, которого он по зароку так всегда избегал. Там было веселое сборище: у

Багацкого родился сын Иван (доныне живущий), и отец угощал соседей. К соседям примкнули другие. Антип много пил, выставил водки и остальным пирующим. Кто-то задел его насмешкою: «Пришла-таки попадья к просвирне». Началась ссора. Услышав кличку «бродяга-гайдамак», Легкоступ вскочил и дал тумака подгулявшему обидчику. За последнего вступились товарищи. Легкоступ нашел помощь в Багацком и его кумовьях. Поднялась общая свалка. Прижатый к углу с защитниками, Антип выскочил в сени. На него навалились целой оравой у крыльца. Видя нападение не по силе, он засучил рукав, быстро нагнулся к голенищу и выхватил оттуда короткий, широкий нож...

Тут только, когда разгоревшийся, в порванной одежде, Легкоступ, размахивая ножом, проложил себе дорогу сквозь рассвирепевшую, кричавшую толпу и медленно, без оглядки, как травимый неопытными псами, старый матерой волк, пошел по улице, все опомнились, решив в один голос: «Да, это — характерник, запорожец; видно по всему...»

Во двор к деду Легкоступ более не заходил. Совестно ли ему стало, что не выдержал насчет водки, или вновь пришла пора пуститься в странствие, только он взял в бане свой мушкет, оставил на столе доплетенную в тот день перепелиную сеть и на рассвете, как видели пастухи, вышел за село. С той поры Антип в наших местах никогда уже не показывался.

О дедовом лесе вскоре заговорили не только в уезде, но и в губернии. Разные почтенные лица, в том числе и члены Харьковского университета, губернатор и вводивший военные чугуевские поселения граф Аракчеев, приезжали взглянуть на невиданное чудо, на засеянные дедом тысячу десятин бора. Иван Яковлевич терялся, робел и не знал, как принимать благосклонные отзывы приезжих.

Дед был рад за свой лес, рад за трудное, с прилежанием и любовью конченое дело. Охотясь же в бору на зайцев или поджидая в лесной землянке на приваду

волков, он вспоминал Антипа, вздыхал и думал про себя: «Хоть биться об заклад, он, действительно, был характерник и, наверное, знался с бесом, оттого ему все удавалось».

В 1818 году, нежданно получив за лес монаршую милость от императора Александра I, дед решил отправить двух своих сыновей, моего отца и дядю, на воспитание в дворянский полк, в Петербург.

Вручая юношам прогоны, он дал шестнадцатилетнему моему отцу письмо к графу Аракчееву и сказал:

— Ты, Петя, еще молод; старайтесь с братом учиться; блюдите чистоту нрава, а паче всего не забывайте дворянского гонора и оказывайте должный решпект властям. Вследствие последнего резона вот вам цидулка к графу Алексею Андреевичу. Отвезите ее по адресу и решпектуйте графу мое достодолжное почтение. Поступайте, как в школе, так и далее в жизни, согласно его указаниям и советам. Раскаиваться, государи мои, не будете, приобретя столь могучего милостивца! Он, коли успешно заищете, двинет вас и в классах, и далее в министериях... Желаю обоим возвратиться вспять министрами...

Письмо Аракчееву было отвезено. Граф принял юных недорослей украинского знакомца отменно сухо, хотя обещал им покровительство, и пригласил изредка его навещать. В один из праздников, когда застенчивые кадеты очутились перед всемогущим графом, Аракчеев стал их расспрашивать, благополучна ли по-прежнему роща их отца. Рассказ кадетов о диковинной роще граф заставлял их потом повторять чуть не каждому из своих гостей. «И представьте, государи мои, — говорил при этом граф гостям, — такое дело и исполнил один, один! Сократил на время хлебные посевы, поэкономничал и соорудил такое дело... Сам я, *сам* оное видел и доныне о подражании тому другими, хоть бы казной, не приложу ума!..»

Граф пригласил юношей не пропускать праздников. А тут еще оказалось, что украинские гости в родительском доме были обучены музыке: отец играл на флейте, дядя — на виолончели. Доморощенный петербургский Нерон, в тесном домашнем кругу, почти в секрете, не отказывал себе в удовольствии — позабавиться мелодиями Ромберга и Сарти. Их ему разыгрывала на клавесине какая-то, изредка, в праздничные вечера, приходившая к нему пожилая горбатая родственница. Граф Аракчеев снисходительно относился к музыкальным упражнениям кадетов.

Мечты деда о судьбе детей, казалось, были близки к осуществлению. Такой сильный человек, сам, можно сказать, «рыкающий лев», оказывал — кому же? — его детям персональное благоволение.

Украинская природа, однако, взяла свое. Среди холодного, затянутого в мундиры, вымуштрованного, шагавшего на площадях Петербурга сыновья деда впали в неисходное уныние. Тоска по родине заела их с первого же года. В то же время шли слухи о новых и новых подвигах «рыкающего льва». Слухи проникали в дворянский полк...

Виолончель и флейта были брошены. Музыкальные услуги в доме графа стали, как отписывали кадеты, ограничиваться лишь аккуратной, еженедельной, по воскресеньям, настройкой клавесина, который, к слову сказать, вовсе не был расстроен, так как горбатая родственница графа куда-то однажды стушевалась и клавесина никто уж без нее не касался.

Министрами дедовы сыновья вспять не возвратились.

Подав без воли отца прошение о переводе их на службу на родину, они были зачислены юнкерами в ольвиопольский уланский полк и в 1819 году уехали к месту назначения, в Уманское военное поселение.

Дед, скучая по детям и в ожидании их производства в офицеры, подписался на «Московские ведомости».

Однажды — это было летом 1821 года — долго не получалось вестей из Умани. В то время в наших местах был еще старый обычай получения почты из городов через общих для целого околотка «пеших почтарей». «Бродячий», или, по местному выражению «мандрованный», почтарь, Архип Гуня, он же попросту Мандрыка, разносил тогда из Змиева письма, газеты и почтовые повестки по Донцу и окрестным рекам верст на пятьдесят. Гуня был коренастый, плотный старик шестидесяти пяти лет. Его курчавая седая голова, жилистые босые ноги, мешок с почтой за плечами и длинный грушевый костыль в руке были известны всем.

— Да где ж Мандрыка? Не видел ли кто Мандрыки? — допытывал прислугу дед, теряя терпение, что давно не было известий от детей.

— Где-нибудь занялся работой, — отвечала ключница Ульяшка, — у лиманского протопопа полная клуня хлеба, ну, верно и стал по пути помолотиться...

— А, чтоб его мухи съели, как долго его нет! — говорил с досадой дед. — Петя писал, что их представили; должно быть, давно уж пропечатано в ведомостях.

Гуня, сверх почтарской обязанности, еще портняжил, умел без станка подковать лошадь и был хорошим печником. Разнося почту, он по дороге не отказывался за магарыч исполнять и разные другие послуги: кому нужно сшить жилетку или починить тулуп — сделает; где надо поправить печку — поправит, вычистит и смажет глиной трубы; а нужно хорошему человеку, в рабочую, горячую пору, помолотить, то и здесь не откажет.

— Куда тебе, Архип, в такие годы, все пешком да пешком? Ноги отобьешь! — скажет ему, бывало, знакомец. — Лучше стань, возьми цеп и сбей какую копну; а я тебя водочкой, варениками угощу.

Положит Гуня почтарский мешок, со столичными газетами, письмами, книжками журналов и прочей ношей, под скамью или на голбик хлебного сарая, возьмет цеп и молотит сутки, двое, а иногда и более.

— Что ж ты так опоздал? — спросят Гуню нетерпеливые из хуторян. — Две недели не приносил ведомостей. Мы все ждали, ждали...

— Оттого не приносил, что ничего путного и не было! — отвечает, вытряхивая мешок, почтарь. — Глядите сами.

— Ты же почем знаешь?

— Отец Иван Вересович в Андреевке говорил. А вот в Змиеве так было диво; да и в Харькове какой случился пожар...

И начнет рассказывать. Почтовые новости в то время так занимали скучающих сельчан, что на них накидывались живо и вспоминали о доставителе их, когда и след его простыл.

В июне 1821 года, после долгого-долгого промежутка, в улице Пришиба показались, наконец, знакомые, сгорбленные плечи Мандрыки, его седая вихрастая голова и длинный костыль. Дед завидел его с крыльца, прабабка допустила его к руке.

Гуня высыпал перед господами из мешка принесенную почту. Тут были пачки ведомостей, выписанные из Москвы, от Кольчугина, роман «Анахарсис», книжка какого-то альманаха и несколько писем.

Иван Яковлевич обратился к письмам.

«Дражайший и милый родитель! — писал деду из Умани его сын Петр. — Мы сего двадцатого мая произведены в корнеты... (Дед снял шапку и перекрестился.) Начальство нас жалует, ценит и обещает нам на побывку к вам продолжительный отпуск... В Умани весело; много наехало на ярмарку хорошеньких девиц; вечера, танцы, прогулки. А на днях, mon père, мы были сильно обрадованы. Наш ремонтер пригласил нас посмотреть и поторговать приведенных на торг из Молдавии турецких лошадей. Хозяин одного табуна, турок, показался нам будто знакомым: в чалме и во всем турецком уборе, а точно не турчин. Уж мы так к нему и сяк;

отворачивается, молчит и не сознается. Да уж вечером, когда продал весь табун, подвязал кошель к поясу, сел на коня, отозвал нас в сторону и произнес: «Кланяйтесь, панычи, своему тятеньке; никогда не забуду его хлеба-соли и ваших вольных, на Донце, краев. В Туретчине, однако, не в пример лучше — не требуют пачпортов, не обижают и не теснят. Долго искал я сюда дороги. Теперь живу за Дунаем, у своих братьев-запорожцев, в Буткальском округе, куда они ушли. Веры не переменил, а торгую на все концы. Едучи сюда, наряжаюсь... Когда-нибудь все узнаете...» — Он не договорил, завидев городничего, стегнул лошадь и ускакал. Это, дражайший тятенька, был ваш егерь, Антип Легкóступ. И если он вновь окажется здесь на ярмарках, мы его расспросим, как в былые годы запорожцы ушли в Туретчину, и вам, norte trés cher pére, о том не замедлим в точности сообщить».

1878 г.

V

БАБУШКИН РАЙ

Моя бабушка, Анна Васильевна Данилевская, рожденная Рославлева, была совершенной противоположностью своему мужу, Ивану Яковлевичу. Моложе его, она пережила его несколькими годами и умерла, как и он, без малого шестидесяти четырех лет.

Дедушка Иван Яковлевич был небольшого роста, плечистый, седой, совершенно лысый, с мясистым носом и черными, вялыми, лукавыми глазками. От природы ленивый и мешковатый, он под старость совершенно осунулся, ходил в серой охотничьей куртке, в широких нанковых панталонах, подпоясанных ремнем, и в высоких с кисточками сапогах.

Белье у него, впрочем, благодаря бабушке, было всегда тонкое и безукоризненно чистое.

Бабушка Анна Васильевна была высокая, худая и бледная, с быстрыми умными глазами, прямым вострым носом и, невзирая на преклонные годы, стройная и не по летам проворная и деятельная. В праздники она ходила в черном левантиновом, в будни в неизменном белом коленкоровом платье. На ее седых волосах всегда красовался чистый кисейный чепец; на шее легкой волной был наброшен белый, запущенный под платье, платочек. К этому, в холодные дни, иногда прибавлялась серая фланелевая фуфайка дедушки или его халат, крытый синим демикотоном, на белых мерлушковых смушках. По хозяйству Анна Васильевна ходила в мужских сапогах, а в гости по соседству ездила в тележке, причем любила надевать старую дедушкину ополченскую шинель и его теплый, с наушниками картуз. «Спартанка!» — говорили, глядя на нее в таком наряде, соседи. И бабушка, действительно, была спартанка.

У Анны Васильевны не было своей постоянной комнаты. Одну неделю она спала в зеленой гостиной, другую в портретной, иногда перекочевывала в угольную или в библиотеку. «Долги мучат, бессонницей страдает!» — шептали о ней соседки. Бабушка любила читать. Хорошо образованная в молодости, знавшая немецкий и французский языки, она и под старость не покидала любви к книгам и к выпискам из них того, что́ ей особенно нравилось. Добыв в городе или у кого-нибудь из окрестных знакомых новую любопытную книгу, она уносила ее к себе и рядом с нею клала для отметок толстую тетрадь. После ее смерти на чердаке кладовой нашли целые кипы таких тетрадей, четким и крупным почерком исписанных выдержками из любимых ее авторов: Вольтера, Руссо, Бомарше и Дидро. Постоянной, личной прислуги у бабушки тоже не было. Помогали ей в ее надобностях деревенские бабы, ходившие по очереди убирать барский дом. Анна Васильевна смолоду любила кроить и перешивать разный носильный хлам. А потому и в старости

нередко можно было видеть ее на ковре, в гостиной или в портретной, в кругу пяти-шести деревенских баб, за распарыванием и перешиванием платьев, которые, впрочем, бабушка редко потом носила.

В семье господствовал постоянный беспорядок. Бабушка без устали читала; дедушка охотился. Дети обучались с грехом пополам. При них когда-то проживал гувернер, из французских солдат, эмигрант Санбеф. Пристроясь в этой семье, Санбеф выписал из Франции и свою жену. Мадам Санбеф отлично готовила кушанья. Муж ее, впрочем, не столько занимался обучением вверенных ему питомцев, сколько охотой с ружьем по болотам, ловлей лягушек себе и жене на соус, да рассказами любовных историй, во вкусе новелл Боккаччио. Дети подросли. Мальчики облеклись в мундиры и уехали в дальние полки. Девочки вышли замуж. Уехали из деревни Санбеф с женою. Впоследствии они открыли в Харькове колбасную и отлично торговали.

Хозяйство дедушки в начале двадцатых годов стало более и более приходить в упадок. Случалось так, что, при пяти имениях и в них при десяти тысячах десятин земли, не хватало денег на покупку припасов для стола. Гости, впрочем, не переводились в доме дедушки. Несмотря на долги, Иван Яковлевич жил в свое удовольствие: имел собственных музыкантов, хор певчих, а на охоту выезжал с сотнею и более гончих и борзых собак.

Обед в доме заказывал всяк, кто хотел. Своей птицы зачастую не хватало, а приносили ее, как молоко, яйца и огородную зелень, по очереди в счет барщины с села. Разливала чай и ходила в комнатах, при ключах, худенькая, с жидкой, седой косичкой и постоянно босая, старая девушка Марья.

Иван Яковлевич, малоразвитой, робкий и с юных лет необщительный и молчаливый, от долгов и расстройства дел, был постоянно не в духе. Анна Васильевна о муже всегда, однако, отзывалась с отменным уважением, уверяя всех, что Иван Яковлевич весьма умный и тонкий человек, и что самое

его молчание многозначительно. Даже к сердечным слабостям Ивана Яковлевича она относилась крайне снисходительно. Когда у него в лесу, на винокурне в Курбатовом, завелась, в лице весьма красивой лесничихи Ульянки, фаворитка, Анна Васильевна и в этой Ульянке, сверх ожидания, находила некоторую степень ума «привлекательного» и редкого «в этом сословии». Жалея здоровье Ульянки, она ей подарила свою старую котиковую шубу и дюжину собственных шерстяных чулок. А замечая косые взгляды и даже ропот невесток при виде предпочтения, которое оказывалось этой Дульцинее, говорила: «Вы, сударыньки мои, не фыркайте и не смотрите слишком строго на то, коли и собственный муженек у какой-либо из вас иногда отшатнется в сторону. Жена, милые вы мои, — это то же, что новенькое платье; чай, слышали: заново ситцы на колочке висят... А муж нам — господин и владыка. Мы должны радоваться его удовольствиям и беречь его паче зеницы ока...» Невестки слушали такие речи молча и наставлений свекрови отнюдь не одобряли.

Навещая родных и знакомых, Анна Васильевна любила привозить мужу в гостинец пробы разных кушаний. «Покушайте, зельхен, — говорила она в таких случаях, развязывая крыночки и горшочки, — это постные пирожки с рыбкой и с грибками: очень вкусны; а это паштет из дупелей». И Иван Яковлевич, забираясь на сутки и более на охоту в лес, присылал в гостинец жене стряпню Ульянки, при записочках: «Покушайте и вы, герцхен, изделия моего кухмистера; на тарелке — белые грибы в сметане, а в миске — застуженные караси. Же ву бэз и рекомендую — превкусны».

Жил Иван Яковлевич в родовом селе Пришибе. В остальных его имениях — в Ольшанке, на Середней, в Великом Селе и на Богатой — всем управляли приказчики. Дела Ивана Яковлевича, что ни год, становились хуже и хуже. Заимодавцы оказывались злее и злее. Судьба имений висела на волоске. А устроить дела,

построже наблюсти за распорядками управляющих не хватало воли, терпения и решимости.

Стараясь, чтобы ничто дурное и тревожное не доходило до мужа, Анна Васильевна сама возилась с заимодавцами, спорила с ними, молила их об отсрочках, выслушивала их упреки и даже брань, но к мужу этих господ не допускала. Иван Яковлевич знал такие обычаи жены, и, если кто-либо из кредиторов являлся в Пришиб, он сказывался больным, требовал пиявок и все собирался их ставить, пока назойливые гости не уезжали.

— Вы бы, зельхен, отправились на Середнюю или в Ольшанку, — говорила иной раз мужу бабушка, — дела там, слышно, из рук вон плохо идут...

— Да зачем же я, герцхен, туда поеду?

— Ради Бога, поезжайте; поверьте этих мошенников управляющих. Сколько у вас земель, овец и скота, а доходов почти никаких... Сыновья на службе, надо им и на обмундировку, и на житье; ну и молодые люди — повеселиться тоже... А денег у нас давно ни алтына...

— Ах, герценька! Я бы и поехал, да вон... кажется, собирается... гроза...

Иван Яковлевич был вообще не храброго десятка, но особенно боялся грозы. Он избегал быть в пути во время бури, опасаясь, что его непременно убьет гром. Человек мнительный и слабый во всех отношениях, в дорогу он собирался особенно неохотно. Иногда эти сборы длились по нескольку недель.

Все знают, бывало, что барыня уговорила барина и что барин, наконец, решился выехать. И начинаются приготовления. С пяти-шести часов утра передняя, в подобных обстоятельствах, уже полна. Писарь, конторщик, десятские и ключник, переминаясь с ноги на ногу, вздыхая и зевая, стоят в ожидании зова и приказаний барина. А барин проснется и, тоже зевая и вздыхая, прихлебывает ложечкой на постели

чай, рассматривает свои руки или, собираясь понюхать табаку, медленно развертывает и опять свертывает на коленях клетчатый носовой платок.

Каждый раз с вечера в таких случаях ученики Санбефши, седовласый повар Явтух Мычка и старая повариха Нешка, нажарят барину и напекут в дорогу всякой всячины. Призывался и лихой на песни и на выпивку слесарь Федька. Появлялся и низенького роста, несчетные разы мятый на выездке молодых лошадей, коренастый, мрачный и вечно смотревший в землю главный кучер Ивашко. Слесарю Федьке отдавался строгий наказ — получше осмотреть и перечистить в дорогу бариновы ружья. Ивашке приказывалось пораньше накормить, напоить и приготовить любимую караковую четверню бариновых лошадей. Но съестные припасы, ружья и лошади давно, бывало, готовы, приказные по нескольку раз выйдут из передней на крыльцо размять усталые спины и покурить и на селе все хоронятся по дворам, чтоб не перейти барину дорогу, а барин все не выходит из своей опочивальни.

Анна Васильевна в таких обстоятельствах вертит-вертит спицами чулка, глядит то в одно окно, то в другое, потеряет, наконец, терпение и выходит к мужу.

— Что же вы, зельхен, не едете? — спрашивала она, видя, что муж по-прежнему сидит, свесив необутые ноги с постели, и рассматривает руки или носовой платок.

— А что, герценька, — отвечает Иван Яковлевич, — ехать, видно, сегодня не приходится.

— Почему?

— Руки терпнут и ногти на пальцах как будто синие... Это, верно, к перемене погоды. Пусть лучше до завтра.

— Какой же еще погоды! — вскидывается в досаде бабушка. — Смотрите: Божий день ясен, а в саду, в поле какой аромат...

— Ну, нет, — отвечает дедушка, — я вот и Нешку-повариху призывал, говорит, всю ночь до утра курица какая-то на кухне кричала: видно, будет дождь.

— Да какой же дождь? На небе ни облачка.

— И сон, герценька, я видел сегодня, совсем нехороший сон... Покойного попа, отца Ивана, будто я в пруду купал, а он меня осилил и верхом на мне будто к губернатору поехал... Да и вчера был тоже сон. Снился покойный тятенька Яков Астафьич...

И начнет рассказывать Иван Яковлевич свои сны, да так медленно, с такими расстановками, что бабушка не вытерпит и уйдет. Отъезд, разумеется, при этом отлагался. А тем временем и приказчики отдаленных вотчин пронюхают, что барин собирается их проверять, и принимают свои меры.

Иван Яковлевич, наконец, решается. Бабушка молебен отслужила, ходит веселая, довольная. К крыльцу подкачена желтобокая, выписанная из Вены коляска, и в нее горой наложены всякие складни, погребцы, узлы, укладка и свертки. Лакей и парикмахер Гаврюшка, со всякой всячиной подмышками, мечется как угорелый из кухни в кладовую, из кладовой в музыкантскую, а из музыкантской в швальню, не забывая, впрочем, по пути забежать и позубоскалить с кружевницами и коверницами. Солнце подбирается к десяти часам. Уж и жарко.

— Пора, — говорит, кончив кофе, Иван Яковлевич, — можно бы, герцхен, и запрягать.

— Куриную котлетку только или фрикасе из дичи скушали бы еще, зельхен, на дорогу, — говорит, не помня себя от радости, бабушка.

Он подает знак ключнице.

Через полчаса в хомутах ведут и запрягают лошадей. Легавый жирный пес Бекас уселся между торчащими ружьями на козлах, радостно визжит и воет от нетерпения.

А тем временем, как Иван Яковлевич, еле-еле жуя и перебирая косточки, кушает напутственное фрикасе и куриную котлетку, ключница Марья, высунувшись из коридора, шепотом докладывает барыне, что на деревне... появился мужик с Середней.

— Кто? Кто? — спрашивает, заслышав этот шепот, барин.

— Капитошка Кочет.

— Зачем он?

— Родных пришел навестить... потом у него кума... — прибавляет, не видя тревожных знаков барыни, седая ключница.

— Позвать Капитошку! — объявляет, утирая губы и в раздумье шевеля бровями, дедушка.

И является Капитошка. Поклонится он, станет, как ни в чем не повинный, у двери и молчит.

— Ну, все ли у вас там благополучно? — спрашивает, нюхая табак, дедушка.

— Как вам, сударь, сказать... кажись бы все...

— А болезней никаких не слышно?

— Как не слышно! Есть...

— Какие же?

— А ходит одна, сказать бы и пустая, да такая, что руки и ноги у человека отнимутся, а то и попрыщет...

— Слышите, герценька? — спрашивает, глядя на жену, дедушка.

— Слышу, — отвечает, сердито глядя поверх очков на Капитона, бабушка.

— Ну, а погода? — допытывает барин, начиная опять на коленях расстилать и свертывать носовой платок.

— У вас тут, сударь, еще бы и ничего, — отвечает на заданный урок Капитон, — а вот степью сейчас я шел, так и не приведи Бог, какая там собралась туча. Как выедете в поле, то будет дождь.

— Ну, иди же ты, Капитон, на кухню да вели себе дать водки и пирога, а я лучше пережду.

Иван Яковлевич до того боялся грозы, что даже в комнатах с первым ударом грома приказывал запирать ставни и двери, зажигал лампады у образов, ложился среди бела дня в постель, голову прикрывал одеялом и так лежал, пока удалялась гроза.

Но случалось, что Иван Яковлевич, наконец, и выедет, да вспомнит, что в то утро встал с постели левой, а не правой ногой, или увидит на улице крест-накрест упавшие две соломинки, или кто-нибудь в деревне перейдет ему дорогу, то непременно возвращается и к новому отъезду соберется уже не скоро.

Жизнь Анны Васильевны на старости была вообще нелегка. Сыновья были на службе, дочери замужем. Одни книги ее утешали. Твердая нравом, начитанная и умная старушка не унывала. Мужнино хозяйство, правда, шло до того плохо, что при тридцати-сорока лошадях на конюшне иной раз не на чем было выехать: лошади то хромали, то были запалены; а кучер Ивашко подчас докладывал, что нет ни единого целого и сносного хомута. Зато в комнатах благодаря хлопотам Анны Васильевны всегда было чисто, уютно, светло и приятно пахло. Позолота на зеркальных рамках потускнела, правда, и потерлась, и Гаврюшка нередко ходил с прорванными локтями. Зато цветы по окнам были постоянно свежи и зелены. Полы в комнатах бабы подметали вениками из душистых трав, вощили и вытирали суконками. И если Анна Васильевна не всегда имела деньги на собственные необходимые потребности, если сама она пила чай из безносого чайника, зато мужу кофе на завтрак подавался не иначе, как в серебряном, с резьбой и с цветком на крышке, кофейнике и с такой же сахарницей. В Новый год прислуга не выбрасывала из дому сора, а оставляла его где-нибудь в углу за дверью или под печкой, чтобы не вымести вон из дому... счастья...

— Что ж за счастье было у бабушки?

Анна Васильевна, летом с книгой на балконе, а зимой с чулком, склонясь к промерзлому окну, по целым часам стояла, глядя через сад на дорогу, в дальнюю их вотчину на реке Богатой.

Там-то и был «бабушкин рай»... И этот рай была бабушкина крестница — Груня.

Чудным образом досталось это утешение бабушке. Вышла как-то летом Анна Васильевна в старый пришибский сад, взглянуть, не осыпалась ли от мороза завязь на молодых, посаженных ею щепах. Она взглянула на яблони — «добрый крестьянин», на плодовитку и антоновку; взглянула на бергамоты и дули... Все было благополучно. Она нарвала цветов и уж хотела уйти, как у корня груши-тонковетки, в сочной, высокой траве, услышала какой-то писк... Анна Васильевна склонилась к земле, бережно раздвинула траву. Перед ней, перебирая голыми ручками и ножками, копошилось крохотное, в оборванных пеленочках, дитя.

Найденная под грушей девочка была названа Груней, принята, выращена и воспитана бабушкой. А когда Груне пошел пятнадцатый год и она уже была обучена грамоте, шитью, домашнему хозяйству, пению и даже игре на клавесинах, Анна Васильевна решилась с нею расстаться. «Девка на возрасте и страх как хорошеет! — думала про себя бабушка. — Сынки то и дело из полков наведываются, соседние военные тоже, как комары, здесь толкутся, и один из них, этот картежник из сербов, майор Дучич, особенно сильно стал на Груню поглядывать... Надо ее спровадить подальше».

И Анна Васильевна, скрепя сердце и обливаясь слезами, спровадила Груню. Она снабдила ее одеждой и обувью, наставлениями, благословением и книгами и отправила ее за Донец, на Богатую, под надзор и руководство старого и опытного, но хворого управляющего из немцев, Флуга. Старик Флуг в скорости умер. «Поставьте на его место Флугшу, — стала советовать бабушка мужу, — немка, почитай, и так при покойном всем там заправляла. Управится и теперь. Особливо же при ней наша Груня; будут у них для нас масло и птица, будут, как след, догляжены овцы, лошади и все наше добро». Муж согласился.

Груня привыкла к хозяйству и действительно хорошо управлялась. Она часто переписывалась с бабушкой. «Живу хорошо, милостивая государыня и крестная матушка, — писала она, — только скучаю. Степь, ни села кругом не видно, ни леса. Новый флигель, поодаль от батрацких изб, сколочен тепло, забор вкруг двора высок и крепок, а на ночь мы ворота с Миной Карловной запираем на замок. Лен цветет — все поле голубенькое, как ситчик, что вы прислали. Овцы здравствуют, табун с нови бежит, земля дрожит, а уж сад да и огород у нас, на речке Богатой, не чета, маменька, вашему: будут яблоки апорт, будут сливы-бессемянки, будут черешни и белая слива. Припасайте, крестная, меду: всего наварим. Да пришлите книжечек. Смерть по вечерам, тоска. Прочла я «Наталью боярскую дочь»... Ах, как хорошо. А не вышло ли, маменька, продолжения «Онегина»? Да еще слышно, — купец тут с бакалеей сбился с дороги, у нас кормился, — ходят, говорит, в списках стихи — «Горе от ума». Очень хвалит, и у него списано несколько стишков... Пришлите. Флугшу лихорадка бьет, да и глазами хворает. Нет ли каких капель?»

Груне исполнилось шестнадцать лет. Высокая, темно-русая, степенная и гордая, с полною, крепкою грудью, румяная и широкая в кости, Груня ходила с увальцем, говорила медленно, будто нехотя, работала не спеша. Большие серые глаза смотрели ласково... Станет она, не двигая ни рукой, ни бровью, улыбнется — всю душу осветит. А пела, забравшись в поле или в сад, — не наслушаешься.

«Ой, соберется он на Богатую, соберется! — мыслила, в тоске о своей питомке и в тревоге о муже, Анна Васильевна. — Середняя, Ольшанка ближе к дому, и дела там вот как запущены, а его туда не сдвинешь. На Богатую ж, в этакую даль, как раз он угодит — и не спохватишься... Да, да, угодит; и майор Дучич с ним собирается... Недаром Иван Яковлевич стал толковать, что на табун надо взглянуть. Ружья начал чистить — дичи, говорит, лисиц да дроф не оберешься там... Знаю, сударь, на какую дичь твой друг

сербин метит». С упавшим от жалости и страха сердцем Анна Васильевна вздыхала, хмурилась, быстро перебирала спицами чулка и не отходила от окон, из которых был виден путь за Донец, на Богатую. Опасения бабушки не сбылись. Груня вскоре ускользнула от всякой опасности.

Бабушка продолжала навещать хутор на Богатой.

Особенно любила Анна Васильевна встречать весну на хуторе. Поедет к родным на Самару или на Торец, отговеет там в великий пост и заедет проведать Груню.

А Груне пошел восемнадцатый год.

Февраль-бокогрей дохнул теплом, да не так, как следует. Колья заборов, углы хат и сараев на подсолнечной стороне с утра затаяли, а к вечеру обмерзли опять. Март еще держал и холод, и снег, хотя небо становилось ласковее, голубее. Вот Благовещенье, конец поста. Дружнее подул с полдня знакомый, теплый и полный обаятельной неги ветерок. Старый табунщик Максим глянул в окно, подтянул пояс и говорит жене: «А что, Ганна, должно быть, и весна на дворе?» — «Может, и весна!» — отвечает покорно и робко жена. И оба они выходят на порог хаты, жутко и весело вглядываясь в засиневшую степь. «Пора барышне доложить, пусть отпишет господам: не размять ли табуна на воле, не выгнать ли коней хоть на старые жнивья?»

Вышла и Груня за ворота. Кругом еще тихо. А белые перистые облака неспокойно несутся над вздувшейся от подпора степных вод Богатой. Еще зорями морозит; еще по ночам хрустит под ногами. А в лицо уже пышет иным, щедрым, будто праздничным теплом. Точно пар молодого хмельного вина разлит и струится в воздухе. И от каждого вошедшего с надворья, от его одежды, лица и речей пахнет весной.

И вот весна пришла.

Огромный, исхудалый за зиму грач, звонко каркая, летит с поля на выгон. Выглянуло солнце, глядит и не прячется.

Под его лучами затаяли родники, сугробы и наметы. Все точно дымится, обрушается, шумит и плывет. К вечеру будто отпустит. Выйдет Груня на крыльцо: кругом тихо, только собаки на дальней овчарне лают да в темноте кое-где раздается шелест подтаявшего снега, неугомонное шушуканье и пошептывание бегущей по скатам в разных уголках и направлениях воды. Стоит Груня и слушает, что говорят воды и что нашептывает весна. Все стихло, не слыхать ничего. Но впотьмах у сарая что-то вновь зашелестело: вода понемногу скопилась, пробуравила дырку под соломой, сваленной у коновязи, закипела и точно ухнула и резко понеслась вдоль двора к реке. А не то мелкими, звонкими каплями, как горох или дробь, вдруг посыплется что-то с крыши, точно ее снежный покров охватило налетевшим, бродячим теплом и он под его струей затаял...

Прошел день, другой, прошла неделя. Груню манит в сад. Из влажного, пригретого чернозема пробиваются первые травы, тут же на солнцепеке быстро и расцветая. Голубые пролески и белые ландыши гнездятся между безлистных еще дерев. Явились ласточки, мотыльки. Цветовые почки на ветвях вздулись, и их липкие, душистые лепестки развертываются зелеными и белыми кулачками. Еще день — вишен и терна не узнать: все сливается в белую стену, и запахом меда далеко несет от них. Показались рои мошек и комаров. На тропинках обозначились ямки пауков. Рогатый черный жук суетливо катит задом, через былинки и сучки, скомканный из всякого хлама шарик. Отозвалась кукушка. А вот и соловьи...

Сядет Груня на крыльце, мысль ее далеко — с Кавказским пленником или с цыганом Алеко. Двор хутора на взгорье. За выгоном влево и вправо — неоглядная степь, на дне широкого лога — извилины речки Богатой, а за рекой — опять взгорье и опять синяя, гладкая степь — все это видно с крыльца, как на ладони. Во дворе тихо. Рабочие, стар и млад, ушли на посев. Овцы и лошади пасутся далеко по буграм; за косогором их не видно. Солнце греет. Птицы

затихли. И ни один звук не долетает до Груни. Разве хлопотун-петух, роясь в куче сора, отзовется на отошедших к сторонке кур да согнанная коршуном или кошкой стая голубей с шумом взлетит с овчарни или с мельницы и, кружась, унесется к вербам на луга...

Груня смотрит на голубей, на сарай, под которым кучей свалены зимние дровни, на всякую домашнюю рухлядь, развешанную Флугшей по веревке, между погребом и амбаром, на заячьи тулупы, наволоки, кофты, одеяла, платки и мешки. Посидит Груня, вздохнет и идет в сад. А там, в сочных травах и в кустах, кипит домовитая хлопотня певчих пташек и зверьков. В земляных, лиственных и древесных тайниках везде пищат, копошатся, звенят и шуршат новорожденные крылатые и четвероногие семьи. А в воздухе жарче и жарче. Земля накаляется. По степи, волнуясь, растя, опять исчезая, движутся исполинские туманные марева... Скоро на кольях заборов и на высохших былинках явится востроносенькая, вечно чиликающая, «птичка-жажда». Загремят страшные грозы, прольются шумные дожди...

Груне исполнилось девятнадцать лет.

В конце зимы того года, ездив с Флугшей в церковь ближнего села, Груня простудилась и пролежала в горячке большую часть великого поста. Бабушка присылала к ней фельдшера и сама ее навестила на страстной неделе. Много в эту зиму в степи болело людей. Старый табунщик Максим умер, и на его место Иван Яковлевич прислал от себя другого наездника, Родьку, по прозвищу Белогубов. О смерти и о похоронах Максима, а равно о присылке Белогубова Груня знала смутно, по слухам, изредка долетавшим в светелку, где она томилась в болезни. На Пасху Груня оправилась. Еще бледная, худая и слабая, она приоделась, накинула на голову платок и, пошатываясь, от скуки вышла на крыльцо, а оттуда в сад.

Был конец апреля. Вечерело. Овцы шли к водопою. Табун резво несся по степи домой.

Груня потянула грудью свежего воздуха и закрыла глаза от блеска солнца, тонувшего за рекой, да от запаха распускавшихся деревьев и цветов. Никогда еще весна так не пленяла и не чаровала Груни. Слезы покатились у нее по лицу. Она присела на кочке, склонилась головой на руки и сперва тихо, потом громче и громче, с переливами запела некогда модную песню, которой за клавесином выучилась у крестной:

Я бедная пастушка,
Весь мир мой — этот луг;
Собачка мне — подружка,
Барашек — милый друг...

За спиной Груни послышались шаги. Что-то зашелестело в кустах. Она смолкла, оглянулась. Раздвинув ветви вишенника, перед нею, без шапки, стоял высокий, статный человек: в сером стареньком, обхваченном ремнем армяке, на поясе — подпилок, нож и ланцет, сам он русый, борода чуть пробивается, молодое, обветренное лицо и ласковые, веселые и вместе робкие глаза.

— Птушки, сударынька! Это вам-с!.. — сказал подошедший, разжимая широкую, мозолистую ладонь.

Груня взглянула: перед ней на протянутой руке сидели рядком, шевелясь и раскрывая желтые, мягкие носы, две, чуть обросшие серым пухом, птички.

— Что это? — спросила Груня.

— Птушки, сударынька, жавороночки! А може, и скворцы... не бойтесь, это вам...

— А ты сам кто такой?

— Новый табунщик, Родька, коли изволили слышать.

Груня встала.

— Ну, Родивон, сделай же ты мне божескую милость, — сказала она, — отнеси ты этих пташек туда, откуда их взял. Это соловьи. Пусть себе живут... Да бережно, смотри, положи, чтоб соловьиха не откинулась. А за внимание благодарствую...

С этими словами Груня ушла. Поглядел ей вслед Родивон, вздохнул и, почесывая затылок, долго не сходил с места.

Как стемнело, он спустился в ягодные кусты, положил птиц в гнездо, в сборную избу ужинать не зашел, а сел на коня, шевеля плеткой, тихо выехал в степь, и Груня из своей светелки слышала, как по темному бугру за рекой, на приволье, раздалась его заунывная песня:

Ох, и где ж ты, где же,
Мил сердечный друг?

С той поры Родивон не выходил из головы Груни. Она пряталась от него, избегала его, но невольно следила за всем, что он делал и что о нем говорили.

В средине мая на Богатую пришли подводы, забирать проданную купцам прошлогоднюю пшеницу и кое-что из запасов льна. За болезнью Флугши кули весил и, как грамотный, по списку отпускал, под надзором Груни, Родивон. Первые возы нагрузились и с купеческим приказчиком уехали; стали грузиться вторые; подводчики устали и пошли обедать. В прохладном, пахнувшем мукой и развешанными новыми вениками, амбаре остались только Родивон да Груня. Поглядывая на Груню, Родивон карандашом выводил последние отметки в амбарном списке. Груня зевнула.

— Это у вас, барышня, какое колечко? — спросил Родивон, встряхивая запыленными мукой кудрями.

— Сердолик, крестной подарок! — ответила Груня, протягивая руку. — Да что ты, непутный, поди, мукой всю перепачкаешь! — крикнула она, смеясь и с силой отталкивая Родивона. — Ой, да не жми ж так, больно... пусти... Мину Карловну позову...

Родивон не отступал. Он крепче обнял Груню, подхватил ее от полу, как перышко, посадил на куль рядом с собой и сказал:

— Что ж, сударыня, кричите; один, видно, мне конец...

— Да пусти ж ты, сумасшедший, что затеял! Одумайся! Ой!..

— Нечего мне, барышня думать. Сердце изныло. Одна дорога: либо петля, либо в воду... День хожу, как

шальной, ночи не сплю — помутила меня твоя красота, Грунюшка...

Трепет пробежал по телу Груни. Она вспыхнула, искоса поглядывая на Родивона.

— Ах, отчего я не богатый да не знатный! — продолжал Родивон. — Не пойдешь за простого, не отдадут такой крали за сермяжника...

Груня вырвалась от Родивона. «Руки коротки! — сказала она, толкнув его так, что тот о закром ударился спиной. — Мине Карловне, вот ей-Богу, все расскажу!» — прибавила она, без оглядки уходя из амбара. А когда вечером уехали последние подводы, Груня вышла на крыльцо, подозвала Родивона, взяла у него амбарные списки и, не уходя в горницы, спросила: «Кто ты родом и отколь к господам нашим взялся?»

— Княжеский я, — несколько замявшись, тихо ответил Родька, — в певчих был — не вытерпел; в егерях — не по нраву пришлось; лошадей любил — ну, с тем и остался...

— Как же ты к господам-то к нашим пристал?

— У лекаря, у Егора Фадеича Слезиевского, сперва кучером ездил, а он меня и к вашим господам направил.

— По паспорту, что ли, ходишь?

— Мы оброчные, — еще тише ответил Родька.

— Есть же у тебя отец, мать? — допытывала Груня, поглядывая на стоявшего перед ней без шапки молодца.

— Как перст, барышня, один, как перст, на свете...

— Ну, иди же, Родивон, к себе, да вперед не смей озорничать. Не то поссоримся.

— А книжечки, сударыня, нет ли почитать? — лукавыми карими глазами усмехнулся Родька.

— После приходи... Найду, сама тебя кликну и отдам... а сам не смей! — сказала, вся закрасневшись, Груня, обернулась и ушла к себе в горницу.

Кончился май. Началась косовица, полотье огорода и льна. Груня ходила в поле к гребцам и к полольщикам в огород и на луга. Не зимняя пора. Весело и размяться, несмотря на зной и духоту. Везде в часы роздыха неслась болтовня словоохотливых захожих поденщиц. Бабы толковали о хозяйстве мужей, девки о женихах да нарядах. И всякие тайны соседок-хуторянок при этом невольно узнавала Груня: где парни хорошие и где дурные, и кто кого любит и с кем знается, и кто кого гонит или за кого собирается замуж. Вон загорелая, статная, с черными бровями и русой косой красавица, бросив грабли, божится, что нет на свете лучшего, как ткачихин сын; но она его прогнала и не пустит к своей хате, хоть убейся он. Другая, худощавая, бледная, забитая лихорадкой, лежит под копной и, закинув руки за красивую голову, шепчет подруге, как в воскресенье в слободе ее затронул у церкви попович и что она при этом ответила и как, оставив своих, она уже и слободу миновала, а попович все за нею, все за нею, идет и просит, чтоб она вечером вышла к нему постоять за ворота. И всюду любовь, всюду нега, всюду голос, зовущий к иной, неизведанной, чудной жизни...

Гребцы идут пестрыми рядами по свежим покосам, а Груня глядит вдаль, где по синеющему пригорку Родивон водит на просторе вольный табун. Соберется Груня с дворовыми стряпухами в соседний лесок по грибы, Родивон уже там: подойдет к ней, ласковые речи ведет, застенчив, глаз на нее не поднимает, а с другими зубы скалит, песни во все горло поет. «Так, так! Он полюбил меня, оттого и стыдится!» — думает Груня, с кузовком грибов идя домой.

«А коли не суженый? — размышляла как-то Груня, погасив свечу и собираясь ко сну в своей горнице. — Отдадут меня за чиновника, отдадут за офицера... Да будет ли тот так любить? Простой, подневольный человек... Лишь бы не обманул — крестная выкупит его у князя... Смышленый, умный такой да работящий; все знает, грамотный — ему быть не при лошадях... Ему целой вотчиной править, так не испортит дело...»

Груня откинула полог кровати, распустила косу, присела и, не раздеваясь, стала глядеть в окно. Полный месяц плыл в ясном небе. Кудрявая акация, не шелохнувшись, стояла на садовой поляне против окна. Тихо. Только кузнечики трещат по лугам да изредка на птичном дворе крикнет петух и ему прерывистым, звонким баском вторят молодые, подрастающие петушки.

Что-то зашелестело под окном. Груня привстала, слушает. Чья-то рука будто скользит по стеклу, нажимает раму. Рама отворилась. «Боже! Неужели воры? — подумала, мертвея от страха, Груня. — С нами крестная сила!..» Она спряталась за положок.

— Барышня, вы не спите? Это я! — шепчет из саду тихий голос.

— Да кто ты, говори! Или я крикну...

— Не кричите, барышня, это я... Родивон...

— Что тебе?

— Книжечки нет ли? Скука... смерть-тоска! — шепчет Родивон.

— Нашел, беспутный, в какое время книжку просить! Поди, говорю тебе, поди... чтоб и духу твоего не пахло! Как можно! Такая пора...

— Да вы, сударыня, слушайте, не бойтесь... да вы только подойдите сюда, к окну... Хоть словечко промолвите...

«Встать ли? Подойти ли к нему, озорнику?» — рассуждала, не выходя из-за полога Груня. А ночь тиха, свет месяца щедро льется. Медвяный запах цветущих лип врывается в открытое окно...

В начале июля Анна Васильевна получила от Груни письмо с просьбой о благословении и о разрешении ей выйти замуж за Родивона. Сильно озадачила и огорчила эта весть старуху. Она ни словом же проговорилась о том мужу, а велела запрячь крытые дрожки, съездила на

Богатую, посоветовалась с Флугшей, расспросила Груню, потребовала к себе на глаза Родьку и, дав ему добрую головомойку, кончила тем, что благословила его на брак с Груней. Свадьбу сыграли в ту же осень в Пришибе. Родька стал именоваться Родивоном Максимычем и получил звание конторщика, а в следующем году, когда умерла Флугша, Груне и Родивону было передано и все управление хозяйством на Богатой.

Отлично зажила Груня с мужем. Через год у них родилась дочь, которая также удостоилась быть крестницей Анны Васильевны. Груня заведовала коровами, птицей, садом и огородом; Родивон Максимыч — овцами, лошадьми и хлебопашеством. Доходы с Богатой удвоились. Не нахвалится новыми хозяевами далекого хутора Иван Яковлевич. А уж об Анне Васильевне и говорить нечего — она души в них не чаяла.

— Да кто ж он, матушка, кто этот ваш новый управляющий? — спрашивали Анну Васильевну любопытные соседки.

— Четвертинского князя крепостной, из дворовых, с Литвы, а проживал при барском доме в Москве. Был у нас прежде, почитай, конюхом, а вон, за отличие да за старание, чем его муж мой пожаловал.

— Вы его, матушка, выкупили?

— Сам выкупился; без того я крестницы за него не отдавала.

И действительно, Белогубов съездил в Москву и перед венчанием привез оттуда отпускную. Все шло хорошо. Только сам Родивон Максимыч стал что-то неспокоен: почасту охает, ходит задумчив, мало разговаривает, а уж жену любит — не наглядится на нее, да и с дочкой-подросточком так ласков да нежен, с рук ее не спускает, слезы потихоньку утирает, любуясь на нее.

— Что ты, Родя, печалишься будто? — спрашивает его Груня. — Из-за чего думы твои? Или ты чем недоволен, или я тебе не угодила?

— Всем я, Грунюшка, доволен, оттого и мысли мои... Ну, думаю, как все это кончится? Ну, как ничего не станет у меня — ни тебя, ни дочки, ни всего?

— Как не станет и отчего? Бога ты гневишь, Родя, и недобро думаешь.

— Одначе... постой, ответь: а что... вдруг, ну, как вы помрете или кто вас отберет?

— Полно, пустяки говоришь. Я думала, о чем о другом он заботится... А ты о смерти... пустяки! Все мы под Богом, все под Его волею, Он нас и помилует. Лучше ты беглых вон тут не держи. Сам толкуешь про станового, про Сидора Акимыча, не человек, а зверь.

— Полно, Груня, будто беглые не люди! Жаль их, да и работают как... А обо мне ты не думай, это пройдет...

Родивон, однако же, не унимался: похудел, опустился, даже старее будто сделался за несколько годов. И началось это с той поры, как он съездил на ярмарку продавать выбранных из табуна лошадей. На ярмарке, между всяким народом у кабака, его узнал какой-то рыжий и невзрачный с виду, загулящий побродяжка. Родивон сильно смешался при виде этого человека и сперва на его привет не признался; но потом они пошли в трактир и больше суток там угощались. Загулящий человек, на радости от встречи со старым приятелем, остался мертвецки пьяный под лавкою трактира, а Родивон поскорее уехал домой, но с той поры его как в воду опустили: совсем стал иной.

Эти заботы спустя некоторое время как будто и прошли. Родивон с виду стал спокойнее. Но к зиме он получил откуда-то письмо и опять закручинился; начал искать денег взаймы, добыл, сколько мог, и выслал их куда-то, а прежнего спокойствия не видит. «Откуда письма получаешь?» — допытывала жена. «От родных, из наших мест», — отвечал Родивон, но писем жене не показывал.

Как-то в Спасовку написала Анна Васильевна к Груне письмо, что сильно соскучилась по ней и что хорошо бы

Груня сделала, если бы, пока тепло, собралась и навестила ее с дочкой.

— Что, ехать ли нам к крестной? — спросила мужа Груня.

— Нет, обожди.

— Как ждать! Спасовка вон проходит, скоро Успеньев день, пчелу пора морить, мед к господам отсылать; а мы бы при этом случае и с Параней поехали.

— Поедешь после Воздвиженья! Лен надо молотить на семена — я один не управлюсь.

Но и пчелу поморили, и мед послали, и Успеньев день прошел, а Родивон не отпускал Груни за Донец.

В конце августа стояла особенно жаркая погода. Родивон с утра верхом, а после обеда на беговых дрожках объехал поля, взглянул, как пасутся овцы и лошади, поверил счет подвод, перевозивших остальные копны на гумно, и навестил грабарей, рывших в степи новый пруд. Он возвратился на вечерней заре донельзя усталый, наскоро поужинал, перемолвил несколько слов с женой, пошутил с дочкой и ушел спать.

Долго Груня возилась с уборкой посуды и с отдачей разных приказаний, сходила за мужа в амбар и в кладовую. Спать ей не хотелось. Из головы у нее не шли слова, вскользь сказанные мужем за ужином. «Всяки порядки бывают, — заметил он, доедая поросячий бок с кашей, — вот бы вольные, значит, отпускные... Иной тебе вчешет туда такое словцо, что после и не расхлебаешь». — «Да ты это что?» — спросила, похолодев от страха, Груня. «Ничего... это я про одного нашего землячка вспомнил, — ответил со вздохом Родивон, — да и становой опять в голову пришел. Уж точно Ирод, не человек, как есть душегуб; намедни пятерых беглых изловил на Терновой и всех упек в кандалы да в острог... Есть тоже такой барин, граф Аракчеев, коли слышала, — к тому попадись, живого съест...» — «Да ведь он в Питере, при царе служит», — сказала Груня. «В Питере-то, в Питере, а под землей всякого найдет, коли захочет... Чай, слыхала, к Чугуеву уж подбирается...»

Все, наконец, затихло в горницах. Груня взглянула на спавшую в углу за шкафом Парашу, помолилась, разделась, тоже легла и заснула.

Спит Родивон, да неспокойно, по временам вздрагивает и мечется. Снится ему, что он изнывает от духоты. «Ох, хоть бы ветер пахнул в лицо, — думает он, — хоть бы глоток студеной водицы...» Странные грезы порхают над его изголовьем...

Красное, в веснушках, отекшее, пьяное лицо склоняется над ним, серые бесстыжие глаза смеются, рыжая борода щекочет ему губы и нос. «Ха-ха-ха! Поймался, Родька, поймался, землячок! — хохочет на всю комнату пьяная рожа. — Вставай, арестант! Вон он, вот! Ха-ха-ха! Тебе хорошо, мне худо... берите его...» — «Тьфу ты, сгинь!» — отмахиваясь руками, из всех сил плюнул на стену Родивон.

Он вскочил, присел на кровати, протер глаза. В комнате мертвая тишина. Полный месяц смотрит с неба. Чебрецом и калуфером пахнет из огорода, и чудные, серебристые звуки несутся в окно. Звенит, звенит что-то там в сверкающей дали, за рекой, смолкнет и опять отзовется, будто спускается со взгорья, ближе и ближе подплывает к реке. «Батюшки-светы! Колокольчик! — спохватился Родивон. — Это полиция... меня ищут... Куда деться?»

Он бережно, мимо Груни, слез с кровати, наскоро оделся, отыскал впотьмах ведро с водой, перегнул его, жадно отпил раз и другой и бросился к окну. Во дворе ни звука. Хромая дворовая собачонка Стрелка, наставя чуткие уши, лежит на месяце у крыльца. Она увидела хозяина, легонько помахала хвостом, встала и, ковыляя, побежала в сад. Родивон за нею. Выскочила собачка на освещенную месяцем дорожку, постояла, поджав лапку, у одного куста, у другого, скусила верхушку какой-то травки, вежливо пожевала ее, перепрыгнула через канавку, обнюхала какой-то бугорок, уставилась носом за реку и вдруг замерла, точно слыша что-нибудь в той стороне. А в ушах Родивона опять шум

и звон... Затихая и вновь раздаваясь, несутся серебристые звуки: тень-тень... тень...

«Милочка, Стрелочка! Да ты врешь, обозналась! Никого нету!» — готов был молить собачонку Родивон. И вдруг его как варом обдало. Он вздрогнул, судорожно двинулся по пояс в высокую душистую траву и замер. Прохладным лужком с заречного бугра явственно донеслось фырканье одной лошади, другой, и негромкое постукивание бережно катившихся колес. «Крадутся! Колокольчик подвязали! — пронеслось в голове Родивона. — Не к кому больше, как ко мне...»

Кликнув собачонку, чтоб та не разлаялась, Родивон бросился в комнаты, разбудил жену и наскоро рассказал ей, в чем дело. Та ахнула, заметалась. «Звать ли кого из людей?» — «Не зови никого... Пропадать, видно! Сам управлюсь...»

Через час, за белою скатертью, установленной всякой снедью и флягами, перед пыхтевшим самоваром, при свече, сидел низенький, седенький, лысый и сутуловатый, в расстегнутом мундире, при шпажонке, становой. Родивон, с заложенными за спину руками, растерянно и покорно стоял перед ним. Груня, чуть живая от страху, выглядывала на них в дверь из соседней комнаты.

— Дверь в сени запер? — спросил, уписывая поросенка, становой.

— Запер.

— Никто не знает, что я приехал?

— Никто.

— Где кучеренок?

— На птичню, за двор отвел.

— А лошади?

— В конюшню к корму поставил.

— Ворота?

— На засове.

— Так как же?

— Чего-с?

— Отдаешь тройку белоногих на придачу?

— К чему на придачу-с?

— Десяток овец отпустишь, коровенку там какую или две, суконца на бешмет...

— Много будет, ваша милость! — проговорил Родивон. — Нельзя ли поменее?.. Я подначальный! Взыщется. Господа притом строгие...

— Строгие? — засмеялся становой. — Знаю я их лучше тебя! А это, читай... что... «Доношу вашему благородию, что на речке Богатой, по фальшивому виду... проживает...», ну-ка, читай, братец, сам: «...проживает беглый, графа Алексея Андреевича Аракчеева крепостной слуга, Василий Ильин, сын Самопалов... А бегал он трижды и сидел в остроге в Муроме да сидел же в Херсоне и в Бахмуте... и мне про то доподлинно известно... мещанин Исай Перекатов...»

— Исайка, ваша благородие, врет; он по злобе...

— Не врет, я тебе докажу... Ты — Васька, а не Родивон, Самопалов, а не Белогубов... Лучше признавайся, да помиримся, а то будешь меня помнить. Хе-хе... Через час, через два, знай ты это, подойдут понятые. Письмоводитель с сотским в Чунихиной остался; чуть зорька выглянет, все будут здесь... Так согласен? Помни — свяжу, а там — в кандалы и в Сибирь... что в Сибирь? Хуже! К самому графу Аракчееву по этапу перешлю... Он те вчешет — с живого кожу сдерет! Хе-хе...

— Смилуйтесь, Сидор Акимыч! Смилуйтесь! — не своим голосом взмолился Родивон. — Все берите; не погубите только жены да маленькой дочки.

— Да ты, может, и взаправду не графа Аракчеева крепостной, а князя Четвертинского вольноотпущенный? — шутил, хмелея от старой Флугшиной запеканки, становой.

Родивон упал ему в ноги.

— Где состряпал паспорт? — крикнул, затопав на него, становой.

— В Бердянске у жида купил.

— У Герцика? Знаю... А отпускную где добыл?

— Там же.
— Что дал?
— Два золотых.

Становой покатился со смеху.

— Вот, сударыня, — обратился он к подошедшей Груне, наливая стакан, — за вашу хлеб да соль готов я вам помочь. А опрометчиво поступили, опрометчиво... неужели многочтимая, столь высокого ума и характера дама, Анна Васильевна, ваша крестная матушка, — я их довольно знаю и ручку им не раз целовал! — неужели, говорю, не нашла бы она вам лучшего сокола? Эх, эх... А запеканка — мое почтение!.. Вечная память Мине Карловне, я ею и равно покойным мужем ее много поштован!.. Что, любезный? — обратился становой к Родивону. — Не слыхать ли понятых? Не пришли еще?

— Не видно что-то, — ответил Родивон, взглядывая в окно.

— Так готовь, душенька ты моя, белоногих... Резвы, ух, резвы! Видел, как ты на чертовых жеребцах по ярмаркам свою кралю-сударушку покачивал... Готовь, а я тем временем маленечко сосну... Да ты не бойся: все теперь у нас будет гладко, шито! Никто, опричь меня, про донос этот не знает, даже и письмоводителю я не показывал... Рыло у него нечисто... Понятых тем же часом отпущу назад и напишу, куда следует, что нет, мол, такого в здешних местах; а про подарки ты выдашь мне расписку, что деньги за все сполна получил...

«Слава тебе, Господи! Слава!» — не помня себя от радости, взмолилась Груня, когда становой погасил свечу и, примостясь на лавке, захрапел в первой горнице, а Родивон ушел ему готовить тройку белоногих.

— Едем, — шепнул, входя к жене впопыхах, Родивон.

— Куда?

— Нечего толковать. Буди и бери Параню да захвати хлеба, одежи. После все расскажу.

— Да он же поладил с тобой, согласился! — лепетала, дрожащими руками одевая дочку, Груня.

— Знаю я их, ненасытных волков. Дай ему только палец в глотку, всю руку слопает. Пропали мы, пропали... Скорее снаряжайся, скорей... Люди не скоро сойдутся — успеем уйти: загоню коней до смерти, а сто верст проскачу. В Бахмуте есть приятель, далее от него уйдем... в Анапу или за Кубань.

Родивон хотел было сразу порешить с становым, да раздумал. Пошарив потом с фонарем на чердаке и вкруг дома и раздумывая, не повеситься ли, он возвратился к жене, поднял у печки топором половицу, вынул оттуда кожаный пояс с деньгами, снял со стены ружье, перекрестился на образ и вышел на крыльцо.

На дворе чуть начинало белеть. Запряженная тройка белоногих, как вкопанная, стояла на привязи у крыльца.

Родивон усадил в телегу Груню с дочкой, бросил к ним кое-какие пожитки, бережно растворил ворота, сам сел на облучок, снял шапку, еще раз перекрестился, прислушался. Везде было тихо. Только в соседней слободке за бугром, как бы по волку, тявкали собаки.

Телега без шума выехала за ворота, спустилась на темный еще луг, стала переваливать за косогор. Родивон неспокойно задвигался, подобрав вожжи и сперва рысью, потом вскачь пустил храпевших и рвавшихся жеребцов.

— Ох, да что же это? Что? — заговорила в страхе, оглядываясь, Груня. — Никак у нас, Родивон Максимыч, пожар?

Родивон с трудом переводил дыхание и молчал. Он крепче надвинул шапку на уши, крепче налег на белоногих, и тройка, выбравшись на дорогу к Волчьей, скрылась за горой, в то же время, как начавшийся за спинами беглецов пожар далеко осветил долину Богатой, в том месте, где стоял хутор и где Богатая сливалась с речкой Богатенькой.

Дом, где спал мертвецки пьяный становой, вспыхнул и горел, как свеча. Не успели сбежаться из задворных изб разбуженные ревом скотины и гулом огня батраки, не успели

подойти завидевшие пламя понятые, от нового дома Ивана Яковлевича остался один пепел.

Письмоводитель дал знать в город. Явился исправник. По окончании следствия был составлен протокол, а в протоколе было сказано: «По Божьему изволению, такого-то года, месяца и числа на хуторе лейб-гвардии прапорщика Д**, от неизвестной причины, в глухое ночное время, приключился пожар. А на том пожаре кроме лошадей, коров и прочего имущества владельца сгорели: становой пристав, Сидор Акимов Солодкий, со всеми его бумагами, пара обывательских коней, с повозкою, и управляющий тем хутором вольноотпущенный, Родивон Максимов Белогубов, с женою Аграфеною Ивановою и с малолетней дочкой Прасковьей! В чем и подписуемся...»

Вести о пожаре на хуторе и о гибели управляющего с семьей сильно поразили Ивана Яковлевича и Анну Васильевну. Дедушка решил разделаться с землей и со всем хозяйством на Богатой. Бабушка мужу не перечила. Это имение вскоре было продано курскому второй гильдии купцу, Ивану Михайловичу Слатину. Иван Яковлевич был доволен тем, что вырученными деньгами уплатил немало особенно тяжелых долгов. Анна Васильевна была зато неутешна.

— Нет моего рая, нет Грунюшки, — толковала старуха, — погибла моя Груня, с мужем и с дочкой, да еще какой страшной смертью погибла! И все я виновата, я... Зачем боялась, зачем ее туда отослала?..

Прошел год и два, прошло несколько лет. Умер и дедушка Иван Яковлевич.

Анне Васильевне, по его кончине, не жилось более в старом пришибском доме. Она тосковала, не знала, куда деться, и почасту гостила в лесном домике, при винокуренном заводе, в Курбатове.

Некто г-н Баженов, борисоглебский улан и местный поэт, за много лет перед тем, а именно в 1802 году, оставил в

альбоме бабушки следующее «Изображение приятного места Курбатова»:

Курбатов! Ты сокрыт природой под горами...
В тебе собрание прекраснейших картин;
Величествен твой вид, обилен ты водами,
И у природы, знать, ты прелюбезный сын...
В тебе я созерцал приятные предметы:
Долину, горы, лес, зверинец, водометы,
И как из тростника Михайло коз гонял...
Тогда-то в сердце я твой вид благословлял!

Что же манило бабушку в лесную глушь, в тихое, пустынное Курбатово? Здесь умер дедушка. Сверх того, домик в Курбатове сильно напоминал Анне Васильевне выстроенный по его образцу, сгоревший дом на Богатой, где она в прежние годы любила с Груней встречать весну. Под конец своих дней бабушка еще более стала походить видом и нравом на спартанку. Уедет из Пришиба на завод, велит отпрячь лошадей и пойдет бродить с книжкой или с кузовком, будто за грибами, в окрестностях старой винокурни, по лесу и по лугам.

«Нет моего рая, нет Груни! — тоскует бабушка. — Думала ее сосватать за Калиныча, за винокура. Жила бы, радовала б меня и поднесь. А теперь? Где-то витают душеньки ее и ее дочки? Ах! Не прощу себе, никогда не прощу... я виновата в их смерти... я!»

Бабушка ходит между высоких сосен, по песчаному пристену и между кудрявых берез и ольх, по лугам. Стародавние годы ходят по следам бабушки. «Ничего, никакого приданого я не принесла мужу, — думает она, — пользовалась его имуществом. Полсостояния предлагал он мне отписать по дарственной. Все, все отдала бы, лишь бы жива была Груня...»

А лес стонет, поет, отзывается на тысячи голосов. По влажному, остывшему илу, таская из него свежие сладкие корешки, бегают кулички и черные дикие курочки. Серая поверхность грязи усевается крестиками их ножек, как старинная рукопись словами. Каждый куст, каждая ветка одеты

своим благоуханием. Чубатый удод посвистывает на бугорке; слышится резкое чоканье дрозда; кукушка вдали отзывается; дятлы и иволги, как куски разноцветного сукна, перебрасываются с дерева на дерево.

А на заре — нескончаемый лесной концерт... Вверху, вокруг, везде слышится музыка. Целое море звуков проливается на лес и на зеленые луга.

Возвратится бабушка на крутой бугор, на котором стоит старый заводский домик, сядет на крылечко, развернет на коленях книжку или, глядя вдаль, шевелит спицами чулка, — мысли ее за Донцом. Слушая весенние лесные песни, и бабушкин фаворит-петух, состарившийся при винокурне, не унимается: смотрит с холма на луга и на озера и то и дело кричит... Да крикнет иной раз так, что сам отшатнется в сторону и, наставив один глаз в землю, а другой на бабушку, как бы рассуждает: «Кто это так странно крикнул?»

Незадолго перед смертью бабушка возила больного внука на Кислые воды, на Кавказ. На одной станции, не доезжая Екатеринодара, она меняла лошадей. Станционный писарь взглянул в ее подорожную, потом на нее саму. Он пригласил Анну Васильевну в особую горницу, запер за собой дверь и, спросив ее, не у нее ли на хуторе когда-то проживала с мужем и с дочкой Аграфена Белогубова, рассказал ей, каким образом Белогубовы спаслись от огня и как они долгое время скрывались поблизости, в казацких станицах, в том числе и на этой станции, где Родивон нанимался старостой.

— Что же Груня? — спросила, ни жива ни мертва от страху, бабушка. — Где она теперь? Жива ли?

— Не знаю...

— А муж ее?

— Лошадьми на Кубани в последнее время, сказывают, торговал...

— Отчего ж они, безумные, отчего ж ни о чем не дали мне вести? Зачем терзали меня?

— Боялись, сударыня-матушка.

— Меня боялись?

— Не вас, сударыня, не вас... Они так вас хвалили и помнят — я все уговаривал их к вам писать... Боялись же своего... графа-то Аракчеева...

— Да он ведь давно помер...

— А дело-то ихнее — бегство... потом пожар — нешто все это померло?

Бабушка залилась слезами...

В Пятигорске, в Кисловодске и Екатеринодаре — везде Анна Васильевна потом отыскивала Белогубовых, сулила за их указание значительную сумму денег, переписывалась с властями, даже через мирных черкесов сносилась с горцами — ничто не помогло. След Белогубовых пропал навсегда.

— Вот, душенька, — говорила мне бабушка, рассказав эту историю, — я стара, у меня ничего нет; имение твоего деда разделено и распалось... Вырастешь, помни это... души-то крепостные... крепостные люди... Приглядывайся да читай умные книги, все поймешь...

1873 г.

Украинские
сказки

Помещаемые здесь сказки принадлежат к детским воспоминаниям, к той же семейной старине автора.

В сказке каждого народа дорог прежде всего вымысел, пленительный, веками созданный *миф*. Передается народная сказка почти всегда «своими словами», причем неизменными остаются в ней одни вставочные места, а именно песни ее героев. Подобные места — и в этом только сходство сказки с народной песней — неизменно передаются в стихах и непременно, при повествовании, поются. В народных сказках есть ненужные длинноты и дословные повторения одних и тех же, почему-либо характерных выражений. Предлагаемые сказки не перевод. В них сохранены только народные мифы и особенно меткие и живописные присловья тех, кто их передавал. Большинство приводимых здесь украинских сказок автор слышал от своей няни Аграфены и от ее мужа Анисима, человека во многих отношениях замечательного. Анисим был огромного роста, силач, но детской доброты, и все его привычки были женские. Он постоянно портняжил, но больше по бабьей части — шил рубахи, мережил полотенца; прял, вязал чулки, занимался шептаньем от сглаза, от боли зубов и живота, кормил кур и доил коров. Умер он семидесяти лет. Аграфена его пережила.

Сказки этих стариков производили глубокое впечатление. Бывало, рассказ давно кончен, свеча потухла. Все спят, а у детского изголовья всю ночь до утра отзывается жалобный голос рыбки, бывшей когда-то красавицей хуторянкой; стучит-гремит по лесу страшная кобылья голова, шепчутся и шелестят степные травы, которым внимает казак-пленник в

Крыму; плачет переселенная в свирель душа зарезанной девочки; юлит носатый коротышка, солнце беседует с матерью, вечерней зарей; поет Ивашко, которого хочет съесть ведьма; а из-за угла выглядывают рога лукавой козы и уши пронырливой лисички-сестрички...

Любил сказки и мой дедушка. Он, подобно герою повести Даля, говорил под вечер своему слуге: «Ну, теперь ты меня положи, да укрой, да подоткни; еще перекрести и расскажи сказку, а уж засну я сам...» Но слуга дедушке говорил сказки иного рода, богатырские, — о Еруслане, Бове-королевиче. Я их не любил; сказки няни и ее мужа — бытовые, напоминающие жизнь хуторов и слободок, мне более нравились.

I

Кума-лисица, пастух, рыболов и возница

Жили были дед да баба,
Да убогие такие,
Что у бабы на хозяйстве
Только курочка ходила;
А у деда, у седого,
Петушок золотоперый.
Вот, как все они поели,
Стали думать, чем кормиться.
И надумала тут баба:
«Знаешь, есть у нас по птице:
Кто скорей свою поймает,
Ту к обеду и зарежем!»
Идут оба на курятник,
Стали по двору гоняться;
Только смотрит дед, а баба
Загнала наседку в угол.
Села на земь, будто ловит,

Да над нею, как слепая,
Руки даром и разводит...
«Э! Хозяйка, надуваешь!» —
Дед помыслил и промолвил:
«Нет, постой-ка ты, старуха;
Лучше мы по чистой правде,
Никого не обижая,
Обоих зарежем разом!»
Призадумалась старуха;
Деду нож несет из хаты;
Дед попробовал, востер ли,
На крыльцо с ножом садится;
Да как глянут друг на дружку —
И расплакались, как дети.
«Ну, старуха, Бог с тобою!
Пусть живет твоя наседка!» —
«Петушка ж и я не трону!» —
Говорит ему хозяйка;
Посудили, порядили
И пустили кур в курятник.
В тот же день петух за это
Натаскал пшеничных зерен,
А наседка постаралась,
Раздобыла где-то маку.

Заходилась стряпать баба,
Пирожок с начинкой месит.
А под лесом той порою
Серый волк с кумой-лисою
Выходил на заработки.
«Ты, кума, иди по селам,
Я ж пойду кругом, полями;
И делить потом мы станем,
Что путем-дорогой стянем!»
Разошлися кум с кумою,
На село пошла лисица.

Тут, пирог набивши маком,
Баба печь уж затопила;
Слышит, кто-то стук в окошко,
«Ох, впусти меня ты, баба!»
Голос плачется под хатой:
«У меня в печи погасло!»
Баба угли раздувает,
Говорит: «Войди, соседка!»
Гостья входит, носом водит,
А уж ушки на макушке;
Хвост колечком подвернула,
Подползла тайком к печурке,
Пирожок схватила с маком,
В двери шмыг, да и пропала...
Баба чуть успела ахнуть!

С пирожком бежит лисица,
На пути проголодалась;
С маком выела середку,
Пирожок трухой набила,
Да под ночь и обменила
На бычка пирог ребятам,
Загонявшим стадо к хатам...

Стережет бычка лисица,
Думу думает такую:
«Кум сытехонек, наверно;
Поживлюсь и я добычей».
Поднялася спозаранку,
Всласть наелась, отдохнула;
Кожу листьями набила,
Оперла бычка на кустик,
В середину напустила
Воробьев и галченят
И под лесом, как живого,
Сторожить уселась снова...

Едет в санках пономарь.
«Что, кума, бычок продажный?»
«И не спрашивай, бери:
На корма совсем проелась!»
Вот, ударив по рукам,
Сторговалась с ним лисица,
Отдает бычка за санки,
Отдает за непростые,
За резные, расписные.
Увезла лисица санки...
Пономарь опять в дорогу;
Потянул бычка за повод,
А бычок — бултых с сугроба,
Бок распоротый раскрылся:
И взвилися над сугробом
Воробьи и галченята.

Понеслась лисица полем;
Ей навстречу волк голодный
«Помоги кума: ни крошки
Не успел я заработать!»
«Ох, и я три дня не ела!» —
Говорит лисица куму.
Посудили, порядили
Да возок и поделили:
Кум себе оглобли выбрал,
А кума уселась в кузов,
Пригнездилась, развалилась
И, раскинув хвост и лапки,
Приговаривает тихо:
«Тощий сытого везет,
Тощий сытого везет!» —
«Что, кума, ты говоришь?» —
«Да о том, что мы не ели...»

Смотрят путники, навстречу
Едут с рыбой чумаки.
«Ну, теперь скорей беги ты! —
Говорит лисица волку. —
Дожидай меня под стогом,
Что под тою под горою;
Я ж дела пока устрою!»

Кум с санями потащился,
А кума, как неживая,
Разметавши хвост и ноги,
Улеглася у дороги.
Чумаки с ней поравнялись,
Стали думать вкруг лисицы:
«Мех как раз на рукавицы!»
Посудили да находку
Прямо в рыбу и свалили.

На возу лежит лисица,
А сама буравит дырку
И давай кидать в оконце
Замороженную рыбку...
Вот очистила до крошки,
Прыг сама, давай в охапку
Подбирать с дороги рыбку,
И уселася под стогом,
Но не в поле, под горою,
А в слободке, над рекою,
Рыбу ест, ждет кума в гости,
А за стог кидает кости.

Вот, когда уж постемнело,
Видит — кум бежит долиной.
Еле-еле тащит санки...
«Ох, кума, куда зашла ты?
Все поляны я обегал;

Нет ли чем прочистить горло?»
«Да и я, как неживая! —
Говорит лисица волку,
Лапкой рыльце утирая. —
Мерзлой рыбкой поживилась,
Но чуть-чуть не подавилась;
Просто кости, а не рыба,
Вот бы свежей наловил ты...»

Нос повеся, у сугроба
Кум с кумой уселись оба,
Долго ль, нет ли, горевали,
Собираться к речке стали.

Кум, как был запряжен в санки,
Хвост лохматый, словно невод,
Окунул со льдины в прорубь;
А кума, присев к сторонке,
Приговаривает тихо:
«Мерзни, мерзни, волчий хвост,
Мерзни, мерзни, волчий хвост!» —
«Что, кума, ты говоришь?» —
«Ох, все счастье нам звала я:
Ты ловись, ловися рыбка,
Рыбка малая, большая!»

Вот примерз ко льдине хвост;
Показались дровосеки,
Увидали рыболова
И давай его в дубины....
Без хвоста и весь избитый,
Волк ушел от них полями
И столкнулся тут с кумою.
А кума не оплошала,
На селе уж побывала,
Вся опачкалася тестом

И бежит навстречу куму,
Громко жалуясь, что бабы
В кровь всю голову избили...
Пораздумал волк голодный
И куме ж подставил санки...
Та спокойно села снова,
Пригнездилась, развалилась
И, раскинув хвост и лапки,
Приговаривает тихо:
«Бит небитого везет.
Бит небитого везет!» —
«Что, кума, ты говоришь?» —
«Да о том, что мы с тобою
И не сыты, и побиты!»

Вдруг откуда ни возьмися
На дорогу выбегает
Из курятника наседка,
А за ней, раскинув крылья,
Петушок золотоперый.

Волк забыл совсем про санки,
Мигом кинулся за ними
И завяз с кумой в воротах...
Как уж тут они ни бились,
Как из сил всех ни возились,
Петушок вскочил в окошко
И во все-то горло крикнул:
«Выбегайте, дед и баба,
На дворе у нас добыча,
А добыча не простая».
Дед схватил с прилавка вилы,
А старуха с печи донце,
В двери выскочили разом
И в воротах уходили
Кума серого с кумою...

С той поры у деда волчья,
А у бабы лисья шуба.
Дед с старухой по задворью
Дружка дружку возят в санках;
А петух с наседкой ходят
Каждый день на заработки
И хозяевам таскают
На оладьи ежевику,
На водянку комонику.

II

Живая свирель

Вдали жилья и всех дорог, в степи,
Где пахнет так клубникой, васильками
И то желтеет все от сон-травы,
То ало все от мака до горошка,
Жил пасечник с женою и детьми.

Раздолье — степь, ленись себе на воле.
Он так и делал, думал да курил,
Лежал в тени прохладной шалаша,
А на заре стрелял гусей да уток.
Не спорил он с хозяйкою сердитой,
Не выходил из пасеки от пчел
И на пролет все дни лежал в траве
В полудремоте, глядя в синий воздух...
А в воздухе недвижно и неслышно,
Как сонные, как пьяные от жара,
Пред ним висели мошки, комары,
Шмели сновали, золотые мухи
И гулом струн звенели в ульях пчелы...

Раз позвала детей своих хозяйка,
Двух дочерей да сына-невеличку,
И так сказала им: «Ступайте дочки,
Вон за курганом, у ручья, лесок,
Грибы поспели, ягода клубника,
Да кстати нож возьмите, лык нарежьте,
И будет вам по ленте на сестру».
Меньшая дочь взяла на руки брата
И весело пошла к кургану в лес;
Дочь старшая — была то баловница,
Любимица и неженка в семье —
Надулася, в сердцах взяла лукошко,
Лениво, чуть бредя, пошла к опушке,
Легла в камыш, свернулась и заснула...
И снится ей, что у сестры в косе
Две ленты, у нее ж на шее лыко.

Вот дочь меньшая набрала грибов,
Наелась ягод, брата угостила;
И видит: яблонька невдалеке,
На яблоне ж два яблока такие,
Что чудо, сочные, да золотые.
Сорвав находку, девочка тайком
От брата — прыг в кусты и убежала.
Под лесом, слышит, ей кричит сестра:
«Постой, куда спешишь, домой успеешь —
Сядь я тебе головку расчешу...»
Сестра послушалась, к сестре присела
И, утомленная, заснула скоро.
Увидела завистница находку.
«Какие яблоки — вот чудо! Спит дурышка».
И в сердце нож сестра сестре воткнула...

Не пикнула бедняжка, а убийца
В тростник ее стащила и домой
Вернулась, хвастая своей находкой...

«А где ж сестра?» — спросил отец. — «Не знаю.
И как мне знать! Мы порознь с ней ходили».
Искала мать, искали все, напрасно...
«Зверь утащил, на то, знать, Божья воля...» —
Погоревали так, потолковали.
Года прошли, и бедную забыли.

Вот и подрос, стал бегать брат убитой,
А над ее костьми, как лес, камыш
Шумит, звенит и, чуть подует ветер,
В сто голосов так жалобно поет.

Заслышал звуки те однажды мальчик,
Пошел к ручью, нагнул и срезал ствол,
Очистил, навертел с боков отверстий,
К губам поднес — и та свирель запела,
Как оживленная, такую песню:

«Потише, тише, братец, играй,
Не рази сердца моего в край!
Меня сестрица сгубила,
Нож в мое сердце вонзила,
За лубочек
Ягод,
За золотое яблочко!»

Услышал те слова отец, поднес
Свирель к губам, и та опять запела:

«Потише, тише, отец, играй,
Не рази сердца моего в край!
Меня сестрица сгубила,
Нож в мое сердце вонзила,
За лубочек
Ягод,
За золотое яблочко!»

О чуде том узнали на селе,
Сбежались люди, требуют убийцу,
И у нее в руках свирель запела:

«Потише, тише, сестра, играй,
Не рази сердца моего в край!
Меня, сестра, ты сгубила,
Нож в мое сердце вонзила,
За лубочек
Ягод,
За золотое яблочко!»

Народ убийцу осудил на смерть.
Он привязал ее к хвосту коня
И так пустил его по вольной степи.
И где сестра безжалостная грудью
Ударилась, там вырос терн колючий;
Где русою ударилась косою,
Там забелела сплошь ковыль-трава;
А где рукой ударилась греховной,
Там протянулись черные могилы.
Мать бросилась за дочкою любимой,
Да как взглянула, так и замерла:
В степь от кургана руки протянула
И обратилась в темнолистный явор.

III

Озеро-слободка

Как-то по озеру с удочкой ездил рыбак в перелеске;
Рыба почти не ловилась, и стал он домой собираться.
Вдруг и поймалась одна, да такая красивая рыбка,
Что ни пером описать, ни в словах рассказать не сумеешь.
Чуть он в ведерко успел перебросить вертлявую рыбку,

Тихо пред ним поднялась над пучиною рыбка постарше,
Бледная вся, будто кто испугал ее, вышла наружу
И человеческим голосом вскрикнула так над водою:
«Где ты, дитя мое, где, моя неразумная рыбка?
Стадо пора загонять; погляди, закатилося солнце...
Где ты, откликнись, дитя! Али хищная цапля речная
В когти из волн подхватила тебя, моя рыбка родная!»

Долго сновала по озеру, в страхе и в трепете, рыбка;
Долго рыбак, опустивши весло, с челнока дивовался...
Взял напоследок ведро он, привстал и откликнулся рыбке:
«Вот твое дитятко, вот: ты возьми свою дочку, пожалуй,
Но уговор лучше денег: поведай по истинной правде,
Что ты за диво сама и какие края ваши воды?»

Быстро плеснувшись в воде и уставя пугливые глазки,
Так начала говорить замирающим голосом рыбка:
«Ох, человек, много лет той поре, как на этой поляне,
Вместо воды, камышей и кустов, красовалась слободка,
В шумной слободке жила на дворе на широком молодка.
Много добра и богатства у ней по амбарам лежало,
Много далеких купцов и мирян к ней во двор заезжало.
Раз, о полудни, она на крыльце на тесовом сидела;
Дочь на руках убаюкав, с крыльца за ворота глядела.
Видит, идет от села человек, утомился бедняга —
Низко поклоны кладет у ворот и у окон слободки:
Просит он ковшик студеной воды у ребят и у старших...
Только не слышат ребята, играют себе по затишьям;
Старшие ж, кто на гумне, кто с иглой али с пряжей уселся.
Вот подошел он ко мне, говорит: «Твоя хижина с краю,
Глушь за тобой и поля; я ж от жары изнываю;
Встань, захвати где-нибудь мне хоть каплю
водицы студеной!»
Ум ли померк у меня, и теперь разгадать не умею,
Только в ответ старику я промолвила так, усмехаясь:
«Как, старина, разбудить, как покинуть мне малую дочку?

Хочешь напиться, так вон, погляди, и ручей под горою,
Полем успеешь дойти и авось не умрешь на дороге, —
Здесь же у нас, в слободе, ты и капли воды не отыщешь!»
Странник поник головой и, как тень, из околицы вышел...

Вдруг слышу я, в тишине, по околице звуки несутся:
Точно посыпался град, али где-то западали зерна...
Вижу — и замер мой дух: на столе сам собой, за порогом,
Брызнул кувшин, за ним у дверей из печурки плеснуло;
Возле, из погреба, струйка воды, словно дым поднялся;
Миски, лоханки и ведра всплывают, несутся к воротам;
Им же навстречу, смотрю, выбегают другие потоки!
В ближних дворах та же притча:
всплывают шесты и заборы...
И не опомнилась я, как кругом берега поднялися;
Зелено стало в глазах; колыхаясь, осела слободка;
Там же, вверху, как туман, заходили студеные волны...

Ты не дивися, рыбак, если в озеро днем ты посмотришь:
Темные кочки на дне — это хижины нашей слободки;
Мелкие травки — сады, а ложбинки — пруды да колодцы.
Ранней зарею, пока не шелохнулись по лесу листья,
С берега ухо наставь ты к воде, тут сейчас и услышишь —
Как далеко-далеко, под тобой, в потопленной слободке,
Ветер по кровлям шумит, словно плещутся мелкие струйки,
Куры кудахчут, петух на гумне заливается звонко...
И раздаются в воде колокольные тихие звуки,
Будто засохший тростник от дуновения ветра
Тихо звенит над водой, над пустынным
прибрежьем качаясь!»
Рыбка замолкла, едва отливаясь на зыби стемневшей...
В волны ей бросил рыбак целых суток добычу обратно;
И, привязавши челнок меж осокой, обратно в потемках
Вышел на берег, безлюдный и дикий, с пустыми руками.

IV

Брат и сестра

Жили-были сироточки.
Пошли они искать себе
Промеж людей пристанища.
Не день идут, не два идут,
И стала их жара томить;
Измучились путем они —
Путем чудо увидели...
Навстречу им мужик идет,
Весь белый сам и с белою
Повозкою и лошадью.
«Не видел ли ты, дядюшка,
Ручья путем-дорогою?» —
«Не видел я ручья путем,
А видел: меж двух дубов
Пробил ногой конь ямочку —
И в ней с дождя воды глоток!»
Хотел испить усталый брат,
Сестра ему в ответ на то:
«Не пей, не пей, Ивашечко,
Не пей, конем прикинешься!»

Пошли опять с сестрою брат,
Опять жарой измучились,
Опять чудо увидели:
Навстречу им мужик идет,
Весь огненный, как жар горит,
И огненных волов ведет.
«Не видел ли ты, дядюшка,
Ручья путем-дорогою?» —
«Не видел я ручья путем,
А видел я: под горкою
Ступал козел копытцами,

Пробил в земле две ямочки —
И в них с дождя воды глоток!»
Хотел испить усталый брат,
Сестра ему в ответ на то:
«Не пей, не пей, Ивашечко,
Не пей, козлом прикинешься!»

Сестра соснуть в копне легла;
Усталый брат ослушался...
Испил воды с земли сырой
И стал мохнат, с бородкою,
И с рожками, и с хвостиком;
Пошел блеять по-козьему,
Траву щипать по рытвинам...
Сестра его, как вскинулась,
Увидела и ахнула;
Уселася под кочкою,
Плетет косу, рыдаючи:
«Пасись, пасись, козленочек,
Тебя теперь не брошу я».
Взошла заря вечерняя;
Домой с торгов купец спешит,
Стал девочку расспрашивать,
Узнал про все и ей сказал:
«Пойдем со мной, сироточка;
Тебе я дам пристанище,
А козлика рогатого
Я выкормлю и выращу
На всем добре, на роскоши».

Пошла к нему сироточка;
За всем глядит, ночей не спит,
И стала вновь кручиниться...
Что день — глядит на улицу:
Зарей стада с полей идут,
Веселые, сытехоньки;

Один козел, понурившись,
Домой идет непоеный.
Некормленый, всю ночь стоит —
Солому рвет с плетней и крыш,
Давай сестра купца просить;
И рад бы он помочь беде:
Жена, ведьма сердитая,
Всех гонит прочь от козлика,
Назло морит голодного.
Пошла сестра зарей к реке,
Да в глубь ее и бросилась.

Припал к реке козленочек,
Дрожит, кричит у берега:
«Сестра, сестра родимая!
Ты встань ко мне, ты выплыви;
Меня, козла рогатого,
Колоть хотят, губить хотят,
Бросать в котлы кипучие!»
Со дна реки сестра ему:
«Ох, брат ты мой, родименький,
Не встать уж мне, не вынырнуть:
Пески в воде усыпали
Всю косу мне, всю русую;
В камыш руки увязнули,
А грудь мою змея-тоска
Сосет-грызет без устали!»

V

Крымский пленник

Давно то было — жил казак, Вакула,
А по прозванию — Налево Хатка.
Был добрый он, был ласковый, непьющий;

Умел колеса делать, миски, грабли,
Зимой портняжил, летом по лугам
Ходил с ружьем; да как-то зазевался
И угодил с охоты в плен к татарам.

Его хозяин был богач и князь,
Стадам его в Крыму не знали счета;
Он пленника назначил пастухом.
Зайдет Вакула в степь, в траву забьется
Да день-деньской на воле и лежит;
И голова лежит, и обе руки
Раскинулись привольно и лежат;
Лежат и ноги, шапка, чуб и трубка...
И весь лежит, как будто не живой!
А там, внизу, в траве, жужжит комар,
Вверху звенят и мчатся журавли
И не решишь, куда глядеть, что слушать;
Подумаешь, с собою погадаешь,
И кончишь тем, что целый день проспишь.

Одна беда — татары горемыку
Кормили всласть, но строго заказали
Не пробовать того, что сами ели...
«Что тут за притча?» — мыслить стал Вакула.
Он раз пришел со степи, думал-думал
(Татары в лес тогда пошли за чем-то),
Да и хлебнул с хозяйского горшка...
Есть не поел — невкусно и несытно,
Взял палку и опять погнал овец.
Но вдруг, чуть вышел в поле, — что за диво!
Стал понимать он говор каждой травки...
Бесчисленные, пестрые цветы
Качаются на тонких стебельках,
Поводят желтыми и голубыми,
Лиловыми и алыми глазками,
Как пчелы шепчутся и шелестят...

И кланяются травы казаку,
И говорят ему по-человечьи.
Канупер говорит: я от запоя;
Полынь кричит: а я от лихорадки;
Любисток уверяет, что ему
Известны тайны девичьих сердец;
Переступень кричит: я от надрыва;
Бодяг — от ран, исоп — от зуда в горле;
Сорочье мыло — от морщин, веснушек.
И всех их голос чертова орешка
Над полем покрывает: «Кто меня
Сорвет, тому все клады станут видны». —
«А я, — звенит с поляны сон-трава, —
Я больше всех вас, тетушки и дяди,
Доставлю счастья; кто меня сорвет,
Тот сладко, на приволье всем уснет,
Над всякою работою, над сказкой,
Над топором, у стада, над указкой...
И кто сорвать меня решится, с ним,
За тридевять земель мы улетим...»

«Вот так находка», — думает Вакула;
И он сорвал пахучей сон-травы.
Понюхал, опьянел и, вместо трав,
Вокруг себя вдруг увидел человечков;
Все зелены и ростом со стрекозу,
И счета нет в траве тем человечкам.
Так день лежал и два лежал Вакула,
Все слушая, что травы говорят,
И глядя на зеленых человечков...
И так лежал он, все курил да думал
А рой годов над ним незримо мчался,
И зарастать казак травою стал...
И так сто лет он ровно пролежал.

Сто лет! Он лег под тонким стебельком,
А встал под старым, коренастым дубом;
Лег черноусым, статным казаком,
А встал горбатым, скрючившимся дедом,
В истлевшей свите, с бородой по пояс...
И только недокуренная трубка
Торчала у него между усов.

VI

Снегурочка

Жил да был старик со старухой,
Не было у них детей.
И сидели под окошком,
Горевали дед и баба;
А на улице, над речкой,
Вереница ребятишек
Гору снежную лепила.
Вот и спрашивает баба:
«Не пойти ли, человече,
Нам на улицу с тобою?» —
«А и в самом деле, баба!» —
Отвечает дед на это;
И шары лепить из снегу
Начинают дед и баба.
«Что вы делаете, старцы?» —
Молвит, кланяясь, прохожий —
Старый дряхлый, с бородою.
«Лепим дитятко!» — с усмешкой
Отвечают дед и баба.
«Помогай же Бог вам, старцы!» —
Молвит, кланяясь, прохожий
И за речкой исчезает...

Лепит дед из снега ножки,
Лепит носик, лепит ротик;
Только вдруг из губок белых
Теплый пар повеял струйкой,
Глазки синие раскрылись —
И красавица Снегурка,
Отряхая мягкий иней,
Перед старцем встрепенулась,
Встрепенулась, как живая.
«Крошка! — молвила старуха. —
Будь отныне нашей дочкой!»
И, в тулуп закутав теплый,
Унесла Снегурку в хату.

Вот идут за днями ночи,
За ночами дни проходят;
Не по дням, а по минутам
Хорошеет и милеет
Русокудрая Снегурка.
Не успел старик с старухой
Осмотреться, оглядеться,
Стала девочкой-резвушкой
Русокудрая Снегурка.
Не успели дед и баба
Справить ей на косы ленты,
А на шубку позументы,
Стала пышною невестой
Русокудрая Снегурка.
Женихи, как листья в осень,
К ним посыпались в ворота!

Всем была она красотка,
Только вовсе без румянцу,
Без одной кровинки в теле;
Да еще бывала рада
Тучам, будто милым сестрам,

Вольным бурям да метелям,
Будто сватьям да золовкам,
А туману — словно брату...

Бокогрей-февраль спустился,
Март ключи в долинах отпер,
И затаяли потоки...
Призадумалась, замолкла
И головкою поникла
Русокудрая Снегурка...

Раз, зарею ранней было,
Вешних вод струи гремели;
Вышел дед, присел у двери
И старухе тихо молвил:
«Посмотри, какою павой
Выступает наша дочка!»

А красавица Снегурка
От реки, промеж заборов,
Коромысло взяв на плечи,
Шла, былинкой изгибаясь
И былинкой колыхаясь,
Вся в дукатах, вся в гранатах,
Шла по улице широкой.
Только вдруг остановилась,
Пошатнулась, оступилась —
И тихонько стала таять.
Стала таять, словно свечка;
Заклубилась легким паром,
Тихо в облачко свернулась
И рассеялась в лазури.

VII

Дедовы козы

Были козы у старого деда.
Посылал старый дед в поле дочку,
На приволье пасти свое стадо;
Сам под вечер в тесовых воротах
Становился в червонных сапожках,
Выжидал милых коз из-за сада,
Вопрошал у любимого стада:

«Козы дорогие,
Козы непростые!
Ели ль вы и пили,
Как весь день ходили?»

Тут выходит коза-лиходейка,
Говорит громким голосом деду:

«Нет, не ели мы, дед, и не пили,
Как весь день в чистом поле ходили,
Как бежали мы через лесочек,
Ухватили кленовый листочек;
Как бежали потом над рекою,
Поживилися каплей одною;
Только ели мы, только и пили,
Как весь день в чистом поле ходили!»

Осерчал старый дед, расходился,
Стал бранить и корить свою дочку:
«Не пасла, не кормила ты стада,
Наказать тебя, вижу я, надо!»
И сажал он ее в темный погреб,
Коз пасти высылал в поле сына.
Выходила коза-лиходейка,

Деду плакалась громко на сына,
А потом обнесла и старуху...
Дед корил их, бранил, дивовался,
Да за ум напоследок и взялся.
Сапоги надевал постарее,
Сам пасти своих коз вышел в поле;
Накормил их травой шелковою,
Напоил их водой ключевою;
А под вечер, другою дорогой
Обогнав их, в тесовых воротах
Выжидал милых коз из-за сада,
Вопрошал у любимого стада:

«Козы дорогие!
Козы непростые!
Ели ль вы и пили,
Как весь день ходили?»

Выходила коза-лиходейка,
Громко плакалась старому деду:

«Нет, не ели мы, дед, и не пили,
Как весь день в чистом поле ходили!
Как бежали мы через лесочек,
Ухватили кленовый листочек;
Как бежали потом над рекою,
Поживилися каплей одною;
Только ели мы, только и пили,
Как весь день в чистом поле ходили!»

Тут не вытерпел дед, на расправу
За рога потащил лиходейку:
«Лиходейка-коза, лиходейка,
Расплатиться теперь ты сумей-ка!»
И срамил он ее перед стадом,
Сек ее за лихие лукавства,

Снял с боков напоследок ей кожу
И пустил ее так в чисто поле...

Но и тут та коза не смирилась;
Прибежала в лисичкину хатку,
Стала прыгать по окнам, по лавкам,
На чужое хозяйство населась.
К ночи в хатку вернулась лисичка,
Слышит — возится что-то такое...
Постучалась лисичка-сестричка:
«Кто такой, кто в лисичкиной хатке?»
Завозилась коза за дверями,
Страшным голосом ей отвечает:

— «Я коза сечена,
С боков перемечена;
Топ-топ ногами,
Заколю рогами,
Ножками загребу,
Хвостиком замету!»

Без оглядки лиса убежала;
А навстречу ей серенький зайчик.
«Помоги ты мне, серенький зайчик,
Ввек тебя я за то не забуду:
У меня что-то страшное в хатке!»
Прибежали они; тихо зайчик
Лапкой — стук в затворенные двери:
«Кто такой, кто в лисичкиной хатке?»
Завозилась коза за дверями,
Напугала и серого зайку:
«Ох, боюсь я, лисичка-сестричка;
Лучше мы побежим за другими!»

Забегали они во все норы,
Приводили с собой на подмогу

И грача-трубача, и лягушку-
Скакуна, и ежа-пехотинца,
Всех великих зверей и зверюшек...
Но никто сам собой не решался
Посмотреть, кто забрался к лисице;
И решился лентяй и трусишка,
Рак-ползун и хромой лежебока...
Он тихонько, бочком, перебрался
За порог; увидал, что за диво
Расходилось в лисичкиной хатке,
И пошел расправляться клещами...
Без оглядки коза припустилась;
На нее нападали все звери —
И гуртом за лихие лукавства
Разрывали ее по кусочкам.

VIII

Младенцы-утопленники

Жил себе человек небогатый,
С молодою женою и с сыном.

Раз ходил он по ниве за плугом,
Видит: возле, за ним, по поляне,
Ходит старец с седой бородою.

Вот и стал человек небогатый
Говорить за работою старцу:
«Ты скажи мне, скажи, человече,
Для чего за волами ты ходишь
И какая тебе в том охота?»
Отвечал ему старец прохожий:
«Для того я хожу за волами,
Что хочу у тебя допытаться:

Ты скажи мне, по правде, по чистой,
Легче ль юноше тяжкое горе
Или дряхлому, старому старцу?»
Отвечал человек небогатый:
«Легче юноше тяжкое горе».
Но, едва он слова те промолвил,
Над поляною старца не стало;
Обломались колеса у плуга
И волы на траву повалились...

Воротился домой горемыка.
Ни двора, ни хозяйки, ни сына —
Все огнем у него погорело!
Поглядел на свое пепелище,
Покачал головой горемыка
И пошел наниматься по людям.

Не сгорел его сын, не погибнул,
Приключилось с ним дивное диво...
Он сидел в тростнике над водою
И поймал окунька да плотичку.
Только чуть потянул он плотичку,
Красноперая рыбка плеснулась
И на дно за собой утащила
Вместе с удочкой в волны малютку...

Стал играть день и ночь у плотички,
В водных плесах, утопший малютка;
С детворой шаловливой плотички
Стал из раковин домики строить,
Из травы городить огороды.
И такие ж, как сам он, пичужки,
По рекам утонувшие крошки,
Отовсюду к нему собралися;
Стал над ними он в играх владыкой
И забыл в водном омуте землю,

И отца, и родимую хатку...
Так промчалися многие годы!
А отец его с лютого горя
Одряхлел, поседел, бросил дом свой
И с сумою пошел вдоль по миру...
Много лет он ходил неутешный
И присел отдохнуть над рекою.
Той порой с своим войском подводным
В вольных плесах резвился малютка.
Из воды поглядел на прибрежье,
И от жалости чуть не заплакал...
Видит возле, у самого плеса,
Пригорюнился старец прохожий
И, как малое дитятко, плачет.

Опустился на дно соглядатай —
Стал скликать свое верное войско
И поведал, что видел на свете...
Расшумелося резвое войско:
«Это, верно, завистницы-рыбы
Разобидели бедного старца!
Бросим их мы за то всем народом,
А его, чем сумеем, утешим!»

Поглядели малютки, как старец
Над рекой задремал, потихоньку
Наносили к ногам его всяких
Спелых ягод, душистого меду,
А в суму драгоценных жемчужин.
Той порой над полями, холмами
Паутинное лето стояло —
По холмам, по долам паутинки
Над землей до небес протянулись.
Колыхаясь, по ветру летели...
И по тем золотым паутинкам,
Как по нитям развешанных лестниц,

Поднялось, успокоившись, войско
Утонувших на свете младенцев, —
В небо синее все улетели.

IX

Смоляной бычок

Жил да был старик со старухой.
Вот старуха и давай просить:
«Ты слепи мне, дед, слепи бычка
Из смолы, из вару черного!»
Как слепил старухе дед бычка,
Гнала в степь она пасти его;
Под ракитою садилася
Да и стала приговаривать:

«Ты пасись бычок, по выгону,
Пряжу я тем часом выпряду;
Ты пасись, пасись по травушке,
По муравушке-дубравушке!»

Поплелась старуха к выгону.
Из-за темных гор медведь бежит,
Раскричался, разаукался:

«Кто тут ходит, кто такой,
Отвечай передо мной!»
Смоляной бычок в ответ ему:
«Так и так, бычок я маленький,
Из простого вару слаженный!»
Говорит медведь, подумавши:
«Коль бычок ты не простой,
Коль и вправду смоляной,

Дай смолы ты мне комок,
Позамазать рваный бок!»

Смоляной бычок на эту речь
Не перечит, соглашается.
Принялся медведь смолу сдирать
И завязил зубы вострые...

Смотрит баба, перед вечером,
К воротам бычок бегом бежит,
Волочет медведя бурого.
Увидал старик, разахался;
Заперев в погреб косолапого,
А зарей старуха, до свету,
Гнала в поле вновь бычка пасти.

Выбегает волк из темных лоз,
Стал кричать, с бычка смолу сдирать
И завязил зубы вострые...

Приволок бычок и серого,
Через день стащил к околице
Он лисицу Патрикеевну,
Побродягу и курятницу,
А за ней и зайку белого,
Скомороха и капустника.

Вот, когда их понабралося,
Дед садился перед погребом,
Начинал точить на камне нож.
Той порой медведь расспрашивал:
«Для чего, чего ты, старый дед,
У порога точишь вострый нож?» —
«Для того, что шубу зимнюю
Шить мы с старою задумали!» —
«Ты меня не трогай, дедушка! —

Говорит медведь из погреба. —
Прикачу тебе за это я
Бочку меду, меду чистого!»
Дед пускал на волю Мишеньку,
Вновь точил на камне вострый нож.
Серый волк из ямы спрашивал:
«Для чего, чего ты, старый дед,
У порога точишь вострый нож?» —
«Для того, что шапку на зиму
Шить с старухой мы задумали!» —
«Ты меня не трогай, дедушка! —
Говорил ему из ямы волк. —
Отплачу тебе за это я,
Пригоню табун коней степных!»
Дед пускал и волка серого,
Вновь садился нож точить-вострить
На лису он Патрикеевну
И на зайку косолапого.
Деду нужны были о зиму
Рукавицы на морозный день,
На метель, на снег наушники.
Слезно деду оба плакались,
Притащить лисица старому
Всякой птицы вызывалася,
А старухе белый заинька —
Лент, мониста самоцветного.

Выпускал на волю всех старик,
Сам садился на завалинку,
Говорил с своей старухою.

Не успела зорька ясная
Закатиться за околицу,
Стало слышно, дол шумит, гудит,
По горе медведь к околице
Катит бочку меду чистого;

Гонит волк табун коней степных.
Не успел туман покрыть луга,
Замолчать, заснуть околица,
Стали слышны крики всякие:
Ко двору лисица хлыстиком
Гонит кур, гусей и лебедей;
А уж зайка, зайка беленький,
Просто диво сделал дивное..

Прибежал в село он дальнее
(Посиделки там сбиралися),
Под порогом лег и ну кричать:
«Ох, спасите, девки, заиньку;
Обогрейте меня, красные!»
Взяли девки в хату заиньку,
Обогрели его, куцего.
А когда его на радостях
Нарядили девки красные
В ожерелья, в ленты алые
И в монисто самоцветное,
Начал бегать белый заинька,
Да к окошку ближе, ближе все,
Поглядел, прыгнул и был таков...
Уж и гнался ж он проселками,
Уж и гнался ж он окольными!

Прибежал к избе, запыхавшись,
И давай стучать, в окно кричать:
«Отворяй ты двери, бабушка!
Принимай ты гостя дальнего;
Гостя дальнего, знакомого,
Не с пустой мошной, с подарками;
Полно охать да печалиться,
Час пришел и покуражиться!»

X

Бесы

Раз в суде было дело такое:
Стал богач за избенку тягаться
С сиротою, убогой вдовою.
За него и почет, и попойки,
И дукаты усердно хлопочат;
За нее только слезы да горе.
Долго дело по судам тянулось;
Разорилась совсем горемыка.

Богачу не в избенке находка,
Да себя показать захотелось.
Вот, зовут их на суд напоследок!
Перед ними читают решенье:
Богачу все отдать присуждают...
Залилась сирота тут слезами:
«То была я бедна и убога,
А теперь еще стала беднее!»
Поклонилась она низко судьям
И пошла со двора без оглядки.
А богач ей кричит из окошка:
«Так и надо вам всем, попрошайкам,
Чтоб не очень носы задирали!»
Тут откуда перед ним ни возьмись
Человечек, как уголь, весь черный,
Курьи ножки и хвост закорючкой;
Говорит богачу с укоризной:
«Эх, ты, сват, как тебе не зазорно!
Оттягал ты у нищей избенку,
Да еще и глумишься над нею!»
Раскричался богач, расходился:
«Как ты смеешь соваться с укором?
Да мое, слышь ты, правое дело

Так решили законно и честно,
Что и черту б во сне не приснилось!»
Отозвался ему человечек:
«Как там дело твое ни решили,
Только черта напрасно ты вспомнил!»
С этим словом он ножкою шаркнул
И пропал, как сквозь пол провалился.
По дворам разошлися все судьи,
Скоро смерклось, и все улеглися.

А в глухую-то самую полночь
Растворились все окна и двери,
Стали все выбегать за ворота...
В темноте, меж дворов, тихим шагом,
От конца до конца через город
Показался невиданный поезд:
Поднимая десятки чернильниц
И неся очиненные перья,
Вдоль по улице двигались черти...
И такие все рыла да хари:
На одном был мундир полицейский,
На другом канцелярский фрачишка;
По бокам пауки, черепахи,
На метлах с протоколами крысы;
А седые, столетние бесы
С сургучом и с большою печатью.
Въехал поезд на главную площадь.
Распахнулись в суде настежь двери,
Стали бесы всходить по ступенькам;
Они сели рядком, засветили
Вкруг стола погребальные свечки
И всю ночь напролет суд судили;
А наутро, перед тою порою,
Как кричать петухам приходилось,
Всей ордой на гербовой бумаге
Черти свой приговор прописали,

Приложили бесовские лапы
И опять через город, попарно,
Потянулися тем же порядком...

Стали судьи к крыльцу собираться;
На судейском столе, посредине,
На гербовой бумаге такое
Изреченье перед ними лежало:
«Душегубы и воры вы, судьи!
Покривили душой вы немало;
Воротите вдове все, что взяли,
За убытки ж ее и обиду
Всяк именьем своим поплатитесь...
А не то будет вам на орехи!»
Меж собой переглянулись судьи:
«Нет! Не дурни на свет мы родились,
Чтоб послушать лукавого беса!»
Со стола под сукно тихомолком
Они сунули тут же решенье
И судить по местам вновь уселись.
Только глядь, а стряпня-то нечистых
На сукно вновь пред ними ложится...

И уж как они тут не вертелись,
А послушались воли бесовской.

XI

Ивашко

Жил-был себе когда-то дед да баба;
У них был сын, по имени Ивашко.
Подрос он, справили ему челнок,
И стал он ездить с удочкой по рыбу.
Отъедет озером, молчит и ждет,

Покамест рыбка поплавок не клюнет.
А в темной глубине под ним, вверх дном,
Другой челнок, качаяся, плывет,
На челноке сидит другой Ивашко,
И вкруг него такая тишь да глушь...
Придет в обед к нему старуха мать
И так поет, зовет его на берег:

«Ивашко мой, Ивашечко,
Приплынь, приплынь ты к берегу;
Я с слободки пришла,
Тебе есть принесла!»

Услышит голос матери Ивашко
И так на зов ей тихо отвечает:

«Плыви, плыви ты, челнок,
Выплывай на бережок;
Ко мне мать пришла,
Мне есть принесла!»

Заслышала те песни злая ведьма
И речью матери из-за кустов
Ну подзывать на берег рыболова.
Ивашко ни гу-гу, узнал уловку
И про себя вполголоса поет:

«Дальше, дальше ты, челнок,
Не плыви на бережок...»

Взбесилась ведьма, в кузницу бежит:
«Кузнец, кузнец, скорее скуй мне голос
Такой, какой у матери Ивашки!..»
Раздул кузнец огонь, достал клещи,
Нагрел их, ухватил за горло ведьму
И стал ковать, причитывая так:

«Куйся, куйся, голос злой!
Стань добрей,
Пой нежней...»

Вернулась ведьма в лес, запела нежно,
В прибрежный ил Ивашку заманила,
В мешке снесла его к себе домой
И так Аленке, дочке, приказала:
«Неси дрова, топи скорее печь,
Да жарче протопи мне, баловница!
Умой, напой и накорми Ивашку
И на обед его зажарь в печи,
А я пойду, проветрюся маленько».

Нагрела печь Аленка, накормила
Ивашку и наставила лопату:
«Ну, сердце, полезай да погляди,
Я хорошо ли вытопила печку».
Прикинулся Ивашко, что не понял,
И голову слегка просунул в печь.
«Не так!» — С лопаты он продвинул руку.
«Не так!» — Он ногу в печку протянул.
«Не так, не так!» — «Так как же? Я не знаю!» —
«Ты покажи сама мне наперед».

Бочком Аленка села на лопату;
Ивашко толк ее, припер заслонкой,
Да за порог и на осину взлез.
Приходит ведьма, дочь Аленку съела
И начала вниз по горе кататься:

«Покачусь, повалюсь,
Закусив мясцом Ивашки!»

А с дерева Ивашко ей в ответ:

«Покатись, повались,
Закусив мясцом Аленки!»

«Что б это было?» — мыслит людоедка
И говорит, покатываясь вновь:

«Покачусь, повалюсь,
Закусив мясцом Ивашки!»

Ивашко ей с осины отвечает:

«Покатись, повались,
Закусив мясцом Аленки!»

Завыла ведьма, кинулась к осине
И ну ее в бессильной злобе грызть.
Грызет она, Ивашко ж видит — гуси
Летят, и их с вершины стал просить:

«Гуси-гуси, лебедята,
Дайте мне свои крылята!
Унесите вы скорей
Сына к матери моей!
Там мы будем в воле жить,
Сытно есть, мед, пиво пить!»

Но гуси над Ивашкой пролетают
И так ему из облаков в ответ:
«Пускай тебя возьмут иные гуси!»
Тем часом ведьма зуб переломила
И к кузнецу опять в село бежит:
«Кузнец, кузнец, скорее скуй мне зуб,
Да поплотней, из чистого железа!»
Бежит назад опять к осине ведьма,
А гуси над Ивашкой пролетают
И с облаков опять ему в ответ:

«Пускай тебя возьмут иные гуси!»
Качнулся ствол, Ивашко стал уж падать...

Но тут последний гусь из всей ватаги,
Общипанный, голодный, без хвоста,
Его услышал, подхватил с осины
И поднялся с ним вплоть до самых туч.
От злости ведьма обернулась в вихорь,
За беглецом вдогонку понеслась;
Но дунул ветер и развеял вихорь.

А той порой Ивашко опустился
На крышу хатки; слышит — под окном
Вечеряют отец и мать-старуха
И делят меж собою пироги:
«Вот пирожок тебе, а этот мне!» —
«А мне?» — Ивашко спрашивает сверху.
«Что б это было?» — крестится старуха
И вновь со старым делит пироги:
«Вот пирожок тебе, а этот мне!» —
«А мне?» — опять перебивает кто-то.

Тут от окна вскочили дед и баба,
Ивашку с гусем на землю спустили,
И не было их радости конца.

XII

Коротышка

В некотором царстве небывалом,
В нашем уезде немалом,
Жил мужик, небогатый человек,
Плотничал и кручинился весь свой век.
Вот и родила ему хозяйка сынишку,

Да такого-то Коротышку-невеличку,
Что уселся бы он верхом на муху,
Когда б на мухе верхом кто ездил;
И пролез бы в иголочное ухо,
Когда б притом не носище,
Величиною чуть не с топорище.
Пожал плечами горемыка,
Говорит хозяйке: «Вот, поди-ка;
Родила ты мне на смех ребенка,
Не то воробья, не то котенка!»
Невеличка выглянул с печи
И к отцу на такие речи:
«Это еще не беда, что я невеличка;
Когда б не нос, ко всему бывает привычка.
Ты подай-ка мне все, что пожелаю,
Так я тебе и за десятерых наверстаю!»
Стал мужик за ухом чесаться,
Стал, глядя на сына, слегка утешаться.

А сынишка и впрямь догадался,
За ум, не теряючи времени, взялся:
«Собирайся ты, батько, с делами;
Поедем мы в лес за дровами!» —
«Да как же нам ехать, когда нет у нас вовсе
Ни коня, ни хомута, ни воза!» —
«Ничего, — говорит весело Коротышка, —
На такое дело станет умишка!»
Откопал башмак, изловчился
Запрягся в него и пустился.

Вот едет навстречу в рыдване
Пан судья, а с ним вельможная пани.
«Пади!» — кричит Коротышка с мосточка.
Конюх смотрит: не то человек, не то кочка.
Спрашивает судья: «Эй ты, плотник,
Что это у тебя за работник?»

Отвечает мужик без утайки:
«Дождался я сына от хозяйки;
Ростом он совсем с рукавицу,
А поди, раскуси эту птицу!
Хоть и мал, а в деле не сплошает
И за десятерых наверстает!»
Расходилась в рыдване судьиха...
«Это не тебе чета! — говорит муж тихо. —
Покупай мне сейчас Коротышку;
Если спросят, давай и лишку,
А без него я жить не стану,
Засохну и завяну!»
Делать нечего, судья вздыхает,
Кошелек вынимает, в торги вступает
И берет Коротышку в бумажку,
За анисовой водки фляжку,
За пригоршню целковых
Да за три кафтана новых.
Поехал Коротышка в рыдване;
Судьиха держит его в кармане.
Дорогой он толкался и возился,
У господ проветриться просился.
Господа бумажку раскрывали,
Его побегать, опростаться пускали;
И он бегал, скакал, крутил носом,
Прибивал пыль по колесам...
А отец домой воротился,
Строить новую хату заходился;
Накупил полотна, хлеба вволю
И стал благодарить долю:
«Ай да сынишка! Кабы он догадался
Да почаще бы судьихам попадался!»

Вот, не прошло недели,
Двери новые в хате заскрипели.
Прибежал домой Коротышка,

Еле ноги волочит, напала одышка;
Тоненький, дрябленький, еще жиже:
Узнал жизнь-то поближе!
Только ничего, переждал, откормился,
Опять думать о деле заходился:
«Это что еще, батько, за доля,
Что у тебя хата, а нет своего поля?
Нельзя ли нам приловчиться,
Чтоб и вовсе на волю откупиться?»
Отец сказал: «Ладно!»
И дело пошло у них складно.

Говорит Коротышка: «Нашу поляну
Пахать я одним волом стану». —
«Да как же одним? Вот заврался!»
Коротышка, однако, подобрался;
Поюлил, пофинтил и прыг волу в ухо,
Начинает там ерзать и орать, что есть духу.
Вол струхнул, замотал головою
И пошел плугом рыть, как иглою...
Не успел отец надивиться,
А уж дело к концу и валится.

Смотрит, тем часом едет карета,
В ней помещик и дочка куколкой разодета;
Такая барышня красотка,
Хоть какому жениху находка.
Увидел помещик, дивуется диву:
«Как один вол пашет целую ниву?»
Закричал мужику: «Эй ты, пахарь!
Колдун ты какой или знахарь?
И как это вол у тебя поспевает,
Что с плугом так по полю шныряет?»
Мужик говорит: «Это мой сынишка;
Ростом он Коротышка
И почти с рукавицу,

А поди, раскуси эту птицу!»
Вышел помещик из кареты,
Крикнул Коротышке: «Где ты?»
Парень на землю фертиком вышел,
Подбоченился, козырем ходит, будто не слышал;
Взял у отца трубку, курит,
На помещичью дочку глаза щурит...
Стала тут барышня влюбляться,
Стала с отцом в карете шептаться:
«Ах, папенька, какое ж это диво,
Что такой невеличка и один пашет ниву!
Ты купи мне, купи Коротышку,
Если спросят, давай и лишку,
А без него я жить не стану,
Засохну и завяну!»

Делать нечего: помещик вздыхает,
Кошелек вынимает, в торги вступает
И берет Коротышку с собою,
За шкатулку, с дорогою казною,
За непростую, расписную;
В той шкатулке лежали барышнины гребни,
Духи, колечки, наперстки и серьги
И всякие зелья и примочки,
Чем барышни румянят себе щечки,
И отчего женихи их любят,
И чем они род мужской губят...
Завернули господа Коротышку в бумажку
И примчали домой в одну упряжку.
Барышня его в кармашке держала,
Всю дорогу на воздух не пускала;
Как он ни толкался, ни возился,
Как у господ проветриться не просился...
А мужик воротился с казною,
Припеваючи, зажил на покое

И забыл совсем про сынишку,
Про лихого «пройди-света» Коротышку.

Только раз колокола загремели
По улице новые сани пролетели;
Барчонок подъезжает к хате:
В собольей шапке, в шелковом халате,
В зубах торчит трубка, бровями моргает,
Руки в боки, сам фертом выступает;
Совсем-то красавчик, когда б не носище,
Величиной чуть не с топорище.
На крыльцо с надворья важно он всходит,
За белую ручку жену свою вводит,
Да такую толстушечку, пыхтушечку,
Из лица совсем игрушечку:
Поступь лебединая, щеки — красны маки,
И что вся не краля, это только враки!

Молодые прямо, как вошли с дороги,
Слова не сказали, родителям в ноги;
С ними шли рядочком малых два сынишка,
Точь-в-точь, как отец их, — оба коротышки.
Вслед за ними слуги несли из кареты
Всякое добро и тряпье без сметы,
Строили господам новую палату,
Не то, чтоб курень или хату —
На славу жилище,
Чуть не с гору, какой городище!

Вот вам и сказка,
Мне бубликов вязка,
Говорил дед Лукашка,
Латаная рубашка.

XIII

Лесная хатка

Как жили да были старик и старуха,
У старой и старого было по дочке.
Вот баба и стала приказывать деду:
«Вези, старый хрен, со двора свою дочку,
Вези куда знаешь, вези, да и только!»
Старик не перечит, берет свою дочку,
Везет ее лесом; в лесу стоит хатка.

«Сиди моя дочка, сиди, дожидайся,
Пока я в овражек схожу за дровами!»
Уходит старик, прицепил потихоньку
У самой у хатки на ветку дощечку...
Дощечка от ветра стучит по березе,
Долбит, словно дятел, о белу кору.
Ждет дедова дочка, сама размышляет:
«То батюшка рубит в овраге поленья!»
Румяная зорька по залесью гаснет,
А дед не приходит с дровами из леса!

Вот стало темнее, кругом затихает,
И вдруг в отдаленье послышался грохот:
Стучит и гремит, сук за суком ломает,
Без ног Голова Лошадиная мчится...

К избе Голова подкатилась и молвит:
«Девчонка! Девчонка! Открой мне ворота!»
Послушалась дедова дочка, открыла.
«Девчонка! Девчонка! С порога на лавку
Меня посади ты, меня накорми ты
И спать на постелю меня уложи ты!»
Послушалась дочка: ее посадила,
Ее накормила, в постель уложила

И сказки ей на ночь еще говорила.
«Девчонка! Девчонка! Теперь полезай ты
Мне в левое ухо, а в правое вылезь:
Тебя награжу за почет, за послугу!»
Тут дедова дочка, не молвя ни слова,
Нагнулась, полезла ей в левое ухо,
А правым наружу, как дверкою, вышла...
И стала она красоты несказанной,
Царевною села в рыдван золоченый,
Серебряный конь ее вывез из леса;
К отцу завезла на слободку подарки,
И все выбегали — глядели, как едет
Царевна в свои государские земли...
Подолгу ли, нет ли, за холодом зимним,
Опять затеплело по белому свету;
Опять стала баба приказывать деду:
«Вези ты теперь, старый хрен, мою дочку,
Куда завозил и свою, да скорее!»
Старик не перечит, берет ее дочку,
А дочка была преехидное зелье;
Она и руками, она и ногами,
Да только осилил ее старичина.
Поехал он лесом, в лесу стоит хатка...
И стал говорить он: «Сиди, дожидайся,
Пока я в овражек схожу за дровами!»
Ушел и опять прицепил потихоньку
У самой у хатки на ветку дощечку...
Дощечка от ветра стучит по березе,
Долбит, словно дятел, о белу кору...
Ждет бабина дочка, в сердцах размышляет:
«Когда б его волки скорее заели!
Сидишь, как колода, а толку ни крошки!»

Опять затемнело по старому лесу;
Опять в отдаленье послышался грохот:
Стучит и гремит, сук за суком ломает,

Без ног Голова Лошадиная мчится...
К избе Голова подкатилась и молвит:
«Девчонка, девчонка, открой мне ворота!» —
«Не знатная пани, сама ты отворишь!» —
«Девчонка, девчонка, с порога на лавку
Меня посади ты, меня накорми ты,
И спать на постелю меня уложи ты!» —
«Не знатная пани, сама ты и сядешь,
Сама и наешься, сама же и ляжешь!» —
«Девчонка, девчонка, теперь полезай ты
Мне в левое ухо, а в правое вылезь:
Тебя награжу за почет, за послугу!»
Тут бабина дочка смекнула, в чем дело:
Нагнулась, полезла ей в левое ухо,
А правым наружу, как дверкою, вышла, —
И стала, да только не пышной царевной,
А старой-престарой, беззубой каргою!..
Домой доплелася, стучится в ворота —
Взглянул на нее старый дед, да и плюнул.

XIV

Смерть

В чистом поле косарь косил сено,
Вдруг за что-то коса зацепилась
И в руках у него зазвенела.
«Эх, коса наскочила на камень!» —
Говорит он и все себе косит.
«Да! Держи ты карман, простофиля! —
Говорит у него под ногами. —
Где ты видел такие каменья?»

Смотрит в землю косарь: что за чудо?
Перед ним поднимается кочка,

Будто крот ее роет, все больше,
И становится лютою Смертью,
Что в церквах на страх людям малюют,
Что на ней и тряпья, и лохмотьев,
И лица человечьего нету;
Замахнулся косарь на хрычовку,
Извести ее думает разом.
«Нет, постой, куманек; что за радость
Извести меня, старую, даром?
Ты меня отпусти, а за это
Я тебя научу, да такому,
Что, как выйдешь да по миру глянешь,
Загребать станешь деньги лопатой!»
Уговор тут они заключили;
Посудили слегка, порядили
И пошли всяк своею дорогой.
«Ты ступай, — ему Смерть провещала, —
По дороге лечи всех недужных;
С этих пор я тебе стану зрима.
Только глянь, где в светлице я стала:
Если стала в ногах у больного,
Значит, кинет недужного немочь;
Если же в головы я поместилась,
От недуга ему не подняться!»
В путь собрался косарь тем же часом,
Стал лечить всех больных и недужных;
И засыпали знахаря вволю
Самоцветные камни и жемчуг,
Дорогие парчи и дукаты...

Только вот, как уж он пообжился
И в мешки как по горло зарылся,
Призывают его о полночи
К одному богачу на подворье.
Глянул он и задумался крепко:
Над больным, у пуховой постели,

Прямо в головы Смерть поместилась,
Держит косу в руках наготове.
А богач его голосно молит:
«Помоги ты мне, брат, сделай милость;
Лечишь ты всех больных и недужных;
Я в долгу у тебя не останусь —
Дам тебе по заслугам награду:
Половиной добра и богатства
За твои за труды поклонюся».
Начал тут про себя думать знахарь:
«Что за бес, да и что за причина?
Отчего не надуть мне и Смерти?
Ведь случается лечить же в свете
И таких, что давно отпевают!»
Принимается он за больного,
Говорит: «Ты не бойся, я справлюсь».
Только к утру больной, перед светом,
Свою душеньку Богу и отдал...

Не успело пройти и недели,
Непохож на себя стал и знахарь:
Ходит, голову низко повесил,
Все ему и противно, и тошно,
И на свет не глядел бы, казалось.
Повалился как сноп он в постелю,
Зажигает кругом себя свечи,
Курит ладаном, молится крепко,
А в окошко швыряет дукаты,
Созывает убогих и нищих;
Вкруг себя сам боится и глянуть:
Смерть стоит у него в изголовье!

Кличет верных он слуг на подмогу,
Переставить велит свое ложе,
Повернуть головами к порогу...
Переставят его потихоньку,

Вкруг себя по́ светелке он глянет —
Смерть опять у него в изголовье,
Держит косу в руках наготове!
Напоследок она провещала:
«Отложи ты свое попеченье;
Не бывать тебе больше поблажки!
Как лечил бы ты честью да правдой,
То еще бы на свете ты пожил!»
Тут недужного кара лихая
Подхватила и кинула оземь...
Так и отдал он душеньку Богу!

XV

Сон в Ивановскую ночь

Три брата, и они же три Кондрата,
Задумали поехать в степь когда-то,
Чтобы втроем, полночною прохладой,
Засеять луг арбузною бакшой.
Поехали за делом казаки
И захватили в путь с собой припасов:
Один Кондрат взял трубку и кремень,
Другой Кондрат табачных корешков,
А третий задумал взять огниво,
Да как-то замотался и забыл...
Вспахали братья к ночи десятину
И вздумали вздохнуть и покурить...

Туда-сюда, табак и трубка есть,
А вырубить огня, хоть тресни, нечем.
Вот младшему Кондрату два Кондрата
Из старших, помолчав, и говорят:
«Вон под горой, у речки, огородник,
Поди, не раздобудешься ль огнива?»

Идет Кондрат и видит в темноте,
У куреня сидит седой старик
И молча курит глиняную трубку.
«Дай, дед, огня». — «Дам, а расскажешь сказку?» —
«Да не умею...» — «Присказку скажи!»
«Не смею!» — «Ну, так я с твоей спины,
«От головы до пят, скрою ремень». —
«Нет, дед, постой, уж так и быть: я сказку
Надумал. Только слушай, если ты
Меня собьешь на слове или скажешь:
«Сбрехал, неправда!» — я с твоей спины
Уж не один, а два ремня скрою». —
«Изволь». — «На ярмарку, за бочкой дегтю
Отец мой на твоем отце верхом...»
«Как, на моем отце? Да врешь...» — «А слово?
Давай-ка спину!.. Стой, не убежишь».
Но дед вскочил, заткнул за пояс полы
И ну бежать... Кондрат вслед за ним,
Кричит, ножом ему грозит и машет,
Да вдруг впотьмах о что-то поскользнулся,
Упал и нож куда-то уронил,
Глядит — а нож его воткнулся в дыню
И, как в воде, в ней с ручкой утонул.

Кондрат в досаде, жаль ему ножа;
Разулся и полез в отверстье дыни —
Глядит, а там уж бродит человек.
«А! Кум Кондрат!» — «Здорово, кум Данило!
Куда тебя нелегкая несет?..» —
«Ищу волов, а ты?» — «Ищу ножа». —
«Напрасно, брат, смотри, какая темень!
Ни зги не видно... Подождем зари!» —
«Готов, но скука; разве скажешь сказку?»
«Изволь, но чур — дослушать до конца...
Жила-была красавица казачка,
Высокая, степенная, лихая,

И многие к ней сватались в селе.
Но больше всех ей два пришлись по нраву
А именно сапожник и кузнец.
Кузнец еще и так и сяк, сапожник
Так тот и свадьбу скоро заварил.
«Постой же, — думает кузнец в досаде, —
Я проучу тебя, ременный шов!»
Идет он раз с казачкой по селу
И видит, пара новых сапогов
Торчит в окно сапожниковой хаты.
«Вот диво!» — говорит кузнец. «А что?» —
«Да то, что твой жених мертвецки пьет
Чуть выпил, и протянет в окна ноги.
Да так весь день-деньской лежит и спит».
Задумалась о женихе казачка,
Но думала недолго: пьяный муж,
Зато какие шьет он башмаки!
Сошлось на свадьбу целое село.
Кузнец туда ж, но прежде потихоньку
На угольях подкову раскалил,
Щипцами взял ее, под полу спрятал
И так пришел к красавице на свадьбу
И рядом сел с соперником своим.
«Здоровы будьте, сыты и богаты!
Сказал и опустил за голенище
Сапожнику горячую подкову.
Но не моргнул, не подал вида тот...
Закрыв полой прожженное колено,
Он стиснул зубы, крякнул, усмехнулся,
Налил вина и пожелал злодею:
Богатства, счастья, правды у людей,
Жены красивой, нравом неспесивой...
И досидел всю свадьбу до конца.
Жена любила мужа-молодца.

Вот, кум Кондрат, и сказка». — «Хороша!» —
«Теперь тебе черед; заходит месяц,
И знать, заря — кричат уж петухи». —
«Шли, — начал так Кондрат, — два казака,
Отец и сын, и видят: по дороге
Идет барышник с парою волов.
«А хочешь, батько, я волов украду?» —
«Ну, где тебе, дурак! С твоим ли рылом?» —
«С моим ли? Ну, смотри же, замечай».
Скидает сын с одной ноги сапог
И на пути барышника бросает,
А сам в овраг и спрятался в траве,
Дошел барышник, видит — на дороге
Лежит в пыли новешенький сапог.
Подумал он: «Вот притча! Верно, спьяну!» —
И далее погнал себе волов.
Встает опять казак, как след, обулся,
Барышника полями обогнал
И на пути его другой сапог
Оставил, сам запрятался в траву.
Дошел барышник, видит — на дороге
Лежит другой новешенький сапог...
«Эх! — думает. — Досада! И другой!..
Вернуться надо...» Ну, и возвратился,
Оставя на пути своих волов.
А казаку того и было нужно!
Обулся он, пригнал к отцу волов;
Глядят — у них же их весной украли...»

«Вот и моя, товарищ, небылица!
Теперь решай, кто лучше рассказал,
Тому из дыни первому и вылезть...
Ну, кум Данило, что же ты молчишь?
Эге! Да где же я?.. Вот, право, чудо:
Ни кума, ни бакши, ни ночи — утро...»
Глядит Кондрат — а он в своем саду,

Под вишней, рядом с ним его два брата:
Пахать они не ездили к реке
И напролет Ивановскую ночь,
Спокойно развалясь себе, проспали.

XVI

Доля

Жил себе в свете чумак, небогатый и вовсе безродный:
Мучилась крепко в родах у него, дни и ночи, хозяйка.
Раз, перед вечером было, она и давай просить мужа:
«Видно, приходит мой час: не дожить мне до белого утра;
Встань, побеги ты в лесок и нарви мне хоть
горсточку яблок».
Встал и поплелся он в лес из слободки с мешком за плечами;
Ходит, а день все темней, и в лесу потерял он дорогу.
Видит, ограда. «То, верно, лесничихи нашей избушка!»
Тихо он стукнул в ворота; ворота перед ним растворились;
Встретила старая баба, усталого на печь пустила.
Лег он, не спит, все молчит и в глубокую самую полночь
Слышит, к окну кто-то тихо впотьмах подошел и ударил:
«Бабушка, бабушка, слушай ты! — голос
в окно отозвался. —
Сто двадцать пять человек в эту ночь вновь
на свет народилось;
Будет ли их житие долговечно и мирно на свете?»
Молча старуха подумала и так ответила: «Будет!»
Голос затих под окном, и впотьмах стало слышно, как ветер
Вдруг по кустам побежал, зашумел по трубе и ограде.
Вновь сквозь просонок мужик слышит, кто-то
в потемках подходит.
«Бабушка, бабушка, слушай! — опять тихий голос
раздался. —

Сто двадцать пять человек вновь на свет в этот час
народилось;
Будет ли их житие, как и тех, долговечно и мирно?»
С лавки старуха опять поднялась, отвечала с досадой:
«Ох! Надоел ты с своим мне постылым докладом сегодня!
Вновь нарожденным на свет не видать долголетья и счастья!»
Голос у хатки замолк, зашумело в лесу, загудело.
Утром чумак воротился домой, поглядел, да и ахнул:
В хате хозяйка лежит, а у печки, на лавке, с ней рядом, —
Двое детей-близнецов, в эту самую полночь рожденных!
Вспомнил про речи ночные чумак и задумался крепко.

Вот начинают расти близнецы, не по дням, по минутам.
Только от горя отец что ни день, то печалится больше.
Все хорошо: молодцы, словно кровь с молоком,
волос в волос,
Оба лицом, красотой и умом, как один, дружка в дружку.
Только одна лишь беда: брат постарше, во всем,
что б ни делал,
Был и востер, и горазд, и в руках его дело кипело;
Брат же меньшой ни успеху в работе, ни проку не видел!
Так проходили года; сыновьям, что ни день, он дивился...
Кажется, что бы? Ни силой, ни сметкою не были разны.
Вот и задумал отец попытать с ними лютую долю...
Взял и послал сыновей за дровами, а сам потихоньку
Лег у реки на мосту и как раз на средине помоста
Кинул онучи, глядит и тайком сам с собой размышляет:
«Бедный сынишка ты мой! Родился ты не в пору и время;
Доля рожденным тогда предрекала несчастье и горе!
Может, ошиблась она; на онучи путем ты наткнешься;
В свете же молвят: с находки всегда разживаются люди!»
Ждет он и ждет у реки; сын меньшой показался из лесу.
Тихо идет, на мосток уж ступил и к онучам подходит,
Да загляделся, увидел, что брат припоздал на работе;
Сел с топором у моста, стал дремать и заснул, как убитый.
Старший же брат подошел, на дороге находку увидел,

Поднял и начал толкать под бока задремавшего брата:
«Соня ты, соня, вставай; погляди, что нашел
близ тебя я:
Это к добру; ведь с находки всегда разживаются люди!»
Брат поглядел, помолчал, и, толкуя, они поплелися.
Чуть же они отошли, встал отец и со вздохом промолвил:
«Нет! Вижу я, как ни бейся, а доли своей не минуешь;
С нею родишься на свет, с нею и в могилу ты ляжешь!»

XVII

Папортник

Похвастал раз наш деревенский писарь,
Что не бывал он от рожденья трусом
И никогда не верил в домовых.
И, в подтвержденье истины, пошел
Под самого Купала, ровно в полночь,
За папортником, на болото, в лес...
Пришел храбрец, запрятался в кусты
И ждет, когда цветок травы заветной
Средь темноты полночной зацветет,
Ждал час-другой, кругом вдруг засияло,
И голубой дымящийся цветок
У ног его на стебельке стал виден.
Но чуть к цветку он руку протянул,
Тот злой собакой мигом обернулся
И ждет его, оскалясь и рыча.
Хотел идти он, вдруг еще ужасней:
Меж лопухов, в траве, змея ползет
Зеленая, с петушьей головой;
На решете по ветру мчится ведьма;
Безрукий мальчик вышел из воды,
Смеется, в омут за собою манит;
А далее мышей летучих рой

Вспорхнул, моргает красными глазами;
Крылатые проносятся коты,
Лягушки, скрипки, перья и страницы,
Оторванные из какой-то книги...
Не подался той чертовщине писарь:
Он смело огненный цветок сорвал
И, завязав его в платок, пустился
Сквозь новые препятствия домой.

Чуть он ступил в околицу села,
Откуда не возьмись, ему навстречу
С цыплятами наседка: так в глаза,
Кудахча, и кидается ему.
Но он идет своим путем-дорогой,
Наседка и цыплята исчезают.
Идет он дальше: травы и хлеба
Становятся водою... Всю поляну
Река, шумя, по горло заливает;
Но он идет — расходится вода.
«Ну! — писарь мыслит. — Дом не за горами!»
И видит, на жеребчике, в тележке,
Знакомый дьяк спешит ему навстречу.
«Откуда?» — «С поля». — «А в платке что держишь?» —
«Гостинец». — «Ну, садися же со мною,
Вот вожжи, правь, я же сберегу гостинец».
Сел писарь, ну каурого стегать —
Дом близок: «Вот теперь разбогатею!»
И слышит вдруг, как будто невдали
Пропели петухи... Глядит — и что же?..
Исчезло все: дьячок, цветок и лошадь;
Он сам сидит на палочке верхом,
Слободкою по улице гарцует
И погоняет плеткой рысака...
Так писаря надул лукавый черт,
А уж куда умней был черта писарь!

XVIII

Ох

Жил-был себе казак, и стал он думать,
Куда б в науку сына поместить.
Отдал в сапожники — забраковали;
Попробовал в ветошники отдать,
В ветошники — забраковали тоже;
Он отдал сына в лежни, но и в лежнях
Ответ один и тот же: не годится.
Задумался отец, махнул рукою,
Взял сына и пошел бродить по свету.

Шел день он, два, вошел в дремучий лес,
Присел на пень да с горя и вздохнул:
«Ох, ох!.. Судьба, судьба моя лихая!»
Глядь, из земли вдруг вышел человек
И говорит: «А что тебе, старик?
Ты звал меня, я — Ох, и вот явился;
Приказывай, служить какую службу?»
Не оплошал казак, все рассказал.
«Ну, кум, постой, тебе я помогу.
В ученье мне отдать попробуй сына
И в эту пору, ровно через год,
За ним приди: останешься доволен».
Старик подумал, отдал сына Оху,
А тот раздвинул сучья и юркнул
С учеником под оголелый пень,
В свое лесное царство-государство...

Там, под землей, его он накормил
И говорит: «Фу-фу, как пахнет светом!
Носи дрова, все старое долой».
Он навалил костер, ученика
На том костре спалил и самый пепел
На все четыре стороны пустил.

К ногам его скатился уголек;
Он взял его, каким-то зельем спрыснул,
И перед ним вновь ожил ученик.

Срок наступил, и в лес к тому же пню
Отец явился; смотрит: сизокрылый
К нему летит навстречу голубок,
Обнял его и на ухо воркует:
«Отец, отец! Когда у Оха нынче
Меня просить ты станешь, не забудь —
Он обратит нас всех, учеников,
В барашков; как один мы будем схожи,
Но я начну блеять — и ты узнаешь».
Настало время выбора. «А ну-ка, —
Смеется Ох, — который твой? Решай.
Узнаешь, так и быть, бери без платы». —
«Вот сын мой» — указал казак барашка.
«Ты угадал! Но погоди, почтенный,
Вновь через год за сыном приходи!»

К тому же пню на следующий год
Пришел отец, и снова сизокрылый
К нему слетел, воркуя, голубок:
«Сегодня, батюшка, перед тобою
Хозяин обратит нас в петухов;
Все будут, как один, все будут схожи;
Но ты гляди и выбери того,
Чей гребешок немного будет набок!»
Настало время выбора, отец
Вновь указал меж петухами сына.
«Бери, — сказал ему с усмешкой Ох, —
Но помни, с ним легко я не расстанусь».
Казак взял сына, с ним пришел на торг.
«Постой-ка, — сын ему, — я обращусь
В персидского, лихого жеребца.
Ты продавай меня, бери дороже,
Но ни за что не продавай с уздечкой».

Торгуется отец с покупщиками
И сам себе не верит: за коня
Дают червонцев ковш, две скирды сена.
«А я прибавлю бочку запеканки! —
Кричит, в толпу протискавшись, цыган. —
Но с уговором: продавай коня
Не одного, а как есть, с уздечкой!» —
«Что, — думает отец, — какое диво
В уздечке? Запеканка ж не пустяк».
И отдал он коня с уздечкой...

Взял старый деньги, принял и придачу.
А покупщик (то был волшебник Ох)
Укоротил коню уздечку, мигом
Вскочил к нему на спину и давай
Его гонять, что силы, вдоль по полю.
А вечером его в конюшню запер
И привязал к высокому столбу,
Чтоб тот не мог достать и горстки сена.
Но чуть ушел он в хату, слышит крик:
«Что делать нам? — работники вбегают. —
Мы повели коней на водопой,
Глядим, а конь, что ты купил сегодня,
К воде припал, с него свалилась в воду
Уздечка, стала окунем, плеснулась
И уплыла, а с ней исчез и конь!»
Помчался Ох к реке и в волны бух!
Становится в волнах зубатой щукой
И, окуня догнавши, говорит:

«Окунь, окунь, окунец,
Ненаглядный молодец,
Обернися головой,
Побеседуем с тобой!»
Окунь ей на то в ответ:
«Коли ты, кума, быстра,
То лови меня с хвоста!»

Уйдя от щуки, окунь обернулся
Касаткою и полем полетел;
Глядит, а Ох за ним орлом несется
И, когти выпустив, вот-вот догонит.
Касатка обратилася в копну,
А Ох в огонь, и запылало сено.
Насилу вырвался казак из дыма
И побежал по степи серым зайцем;
Ох волком, заяц бабочкою стал...
За ним вдогонку Ох совой помчался.

И видит бабочка — внизу, под садом,
В дому окно раскрыто; у окна
Сидит за прялкой панночка-красотка
И, поводя веретеном, прядет.
В окно влетает бабочка нежданно,
Становится красавцем казаком
И говорит, склоняясь на колени:
«О, панночка, спаси меня, спаси!
Я обращусь в кольцо, меня надень ты;
И, чуть сюда войдет волшебник Ох
И у тебя потребует тот перстень,
Ты брось его о землю и скажи:

«Пусть ни тебе, ни мне колечко это!
Я ж пред тобой рассыплюся пшеном;
Одно зерно ты ножкой придави
И так держи, моя душа в нем будет».
Тут распахнулась дверь, в нее вошли
Отец красавицы и жид-меняло.
«Послушай, дочка, что за штуки вновь?
Зачем взяла ты у него кольцо?»
«А! Я взяла? Так вот ему за это:
Пусть ни ему, ни мне оно не будет!»
И о землю ударила кольцо.
Оно пшеном рассыпалось; одно
Зерно ногою панночка прижала.

Ох в петуха тем часом обратился,
Крылом захлопал, носом в пол застукал
И улетел в открытое окно.

Казак же вышел из-под ножки пани
И так хозяйской дочке полюбился,
Что в тот же день засватали его...
На свадьбе той и я когда-то был,
За молодых гулял, мед-пиво пил.

XIX

Путь к солнцу

Мужик продал свою душу бесу,
Богачу и злому чародею.
Как пришел час расплатиться
И взять свой зарок обратно,
Приходит мужик к бесу,
А тот и говорит ему:
«Я тогда отдам тебе зарок обратно,
Как узнаешь ты мне, по правде, по чистой,
Отчего солнце поутру весело,
И темно, и печально в сумерки?»
Мужик бесу поклонился
И пошел отыскивать солнце...

День идет, два идет, уж и близко;
Только солнце постоит над землею
И окунется за леса, за горы
И за дальнее синее море.
Закручинился мужик; идет полем,
Смотрит, на кургане колышек,

А на колышке, на ножке, человечек;
И мотается тот, куда повеет ветер,

И всего-то его ветром истрепало,
Бурей-непогодой измотало,
А сорваться с колышка не может.
Спрашивает мужик: «Куда путь к солнцу?»
Отвечает человечек: «Я отвечу,
Коль узнаешь ты от самого солнца:
Долго ли мне еще на колышке мотаться
И за что я такою напастью наказан?»
Говорит мужик: «Я узнаю!»
Тут человечек на ножке повернулся
И сказал: «Иди ты прямо;
Будет тебе на дороге речка,
Там ты все и узнаешь!»

Приходит мужик к речке,
Видит: стоит человек в воде по горло;
Студеные струйки бегут мимо его,
Над головой поспевают яблоки;
Только он не может к воде нагнуться,
Ухватить студеной струйки,
Сорвать с ветки яблока.
Спрашивает мужик: «Куда путь к солнцу?»
Отвечает человек: «Я тогда отвечу,
Коль узнаешь ты от самого солнца:
Долго ли мне тут еще мучиться
И за что я такою напастью наказан?»
Говорит мужик: «Я узнаю!»
Тут человек помолчал и промолвил:
«Иди ты отсюда все прямо;
Будет тебе на дороге избушка —
В ней всю правду ты и узнаешь!»

Пришел мужик к избушке...
А в избушке живет сестра Солнца,
Старшая сестра, Заря Утренняя;
На часах над ней стоит Месяц,
Стережет Зарю Утреннюю,

А приказов ждут ясные Звезды,
Солнцевы сестры младшие, золотистые,
На посылках у Зари слуги верные...

Как пришел мужик к Заре Утренней,
Поклонился ей в самые ноги,
Говорил ей всю правду, всю чистую.
Жалела его Заря Утренняя,
Призывала себе верных слуг,
Отряжала ему путь указывать.
Провожали его Звезды по край земли,
Подстилали ему под ноги лунный луч...
Поднимался он по лучу в небесный край,
В самое царство Солнца красного,
Где дорога идет в ад и в рай
И где спать ложится Солнце красное.

Как поднялся мужик до облаков,
Увидал он дорогу в ад и в рай.
По пути тут сидели покойники,
Души правые и души виноватые,
Все по отделам сидели души усопшие.
Перед теми, кто помогал на земле неимущим,
Так вся милостыня тут и лежала:
Краюшка ли хлеба, грош иль одежда...
По сторонам ходили быки тощие, голодные:
То были все богачи криводушные;
А в самом огне, в полыме,
Где уж начинались муки вечные,
Две собаки косматые грызлися:
То были два брата родимые,
Что на земле меж собою все ссорились,
Дружка на дружку с ножами шли...

И вступил мужик в хоромы Солнца.
Встречала его Заря Вечерняя,
Златовласая Солнцева матушка.

Сажала она его за перегородку,
Из чистого серебра кованную;
Спрашивала о своих дочках любимых,
О Заре Утренней и о Звездах:
Что когда-то она с ними встретится,
И хорошо ли их стережет Месяц-брат?
Отвечал мужик все по истине.
Долго с ней в хоромах разговаривал.
Вскоре засияли высокие горенки:
Стало подходить от земли Солнце красное.
И как бы не та перегородка,
Из чистого серебра кованная,
У мужика бы глаза выжглися.

Вступало Солнце в двери высокие,
На золотую кровать ложилося;
Чесала ему голову Заря Вечерняя,
Начинала сына допытывать:
«Ты скажи мне, скажи, Солнце красное,
Отчего на свете человек есть,
На одной ноге он вертится,
С колышка сорваться не может,
И долго ли терпеть ему такое горе?»
Отвечало Солнце: «Милая матушка!
Он за то наказан, что был изменником,
Продал родину, отцов и прадедов;
И будет он вертеться до конца века!»
Спрашивала Заря Вечерняя:
«Ты скажи мне, скажи, Солнце красное,
Отчего человек на свете в воде стоит,
Студеные струйки бегут мимо его,
Над головой зреют яблоки,
А он не может ухватить капельки,
Сорвать с ветки яблока,
И долго ли терпеть ему такое горе?»
Отвечало Солнце: «Милая матушка!

Он за то в воде, что гнал немощных,
Не давал голодным ни пить, ни есть.
И будет он мучиться до конца века!» —
«А скажи мне, скажи, Солнце красное,
Отчего ты утром весело,
И темно, и печально в сумерки?»
Отвечало Солнце, задумавшись:
«Оттого я поутру весело,
Что иду в обход по поднебесью,
Не видя еще зла житейского!
А печально я потому в сумерки,
Что иду с обхода на отдых,
И нечем мне тебя, матушка,
Повеселить часто и порадовать!
Вот, хоть бы и теперь я скажу тебе:
Есть на свете богач и злой чародей;
Коли он собою не покается,
Я отдам его бесенятам без жалости:
Пусть они им тешатся,
Палят и жарят его на угольях...»
С тем заснуло Солнце красное...
Провожала гостя Заря Вечерняя.
И опять становился он на лунный луч,
Опускался вновь на белый свет,
Богача-чародея отыскивал...
Приходил богач в смертный страх.
И когда он покаялся,
Простило его Солнце красное.

1847—1860 гг.

Песня бандуриста

Сел на курган с бандурою слепец,
И стал играть и петь седой певец.
Пустыня песни старца повторяла —
И ни одна душа им не внимала...
«Ох, луг-отец! Ох, мать ты наша Сечь!
О вас летит недаром птица-речь...
Как по Украйне нашей смерть гуляла,
С бойцами пир кровавый пировала!
Один лишь Бог святой на небе знал,
Что запорожец думал да гадал,
Зачем кидал он степь с родимым домом,
Куда он мчался молнией и громом,
Где комаров казак собой кормил,
В каких огнях усы и чуб палил
И где летал он, славы добывая,
Да буйную головушку слагая!
Как грянул гром на сто холмов и рвов,
На тысячу лесов и городов,
И застонали реки и равнины,
И застонали горы и долины!
Не Божий гром в поднебесии гремел:
То колокол над Сечею гудел!
Меж темных туч мерцают свечки-звезды,
Цари-орлы бросают с шумом гнезды;
И застилает черной пеленой
Ночная тьма курган береговой,
А месяц, словно лысый дед, выходит
Из-за него, по длинным селам бродит,
По хатам стелет белые платки
И сыплет искры по волнам реки.
Набат затих. Гонцы сторожевые

Бегут по селам; бочки смоляные
Горят, и дым встает-летит столбом,
И грозно степь стихает над Днепром,
И, полные смятенья и тревоги,
Ревут во тьме Днепровские пороги!
Берет казак заветное копье,
Берет кинжал, черкеску и ружье,
И ятаган, звезду казацкой славы,
Наточенный о вражеские главы,
Под образа оружие кладет
И на могилы праотцев идет.
Там, поклонясь гробам бойцов могучих,
Берет он горсть земли с могил сыпучих,
Кладет ее на грудь к себе с мольбой,
Чтоб и во гроб сойти с родной землей,
И крестится, и слезы утирает.
Идет в курень, товарищей сзывает,
И до утра казаки пьют, шумят,
О стародавних битвах говорят.
Нахмурившись, сидят их атаманы,
Сидят да молча правят ятаганы,
И до утра танцуют гопака
Меж бочками два пьяных казака...
Вот поднялись туманы от земли,
Над синей степью маки зацвели,
Кунтуши запорожские алеют,
На бунчуках султаны гордо веют,
В поход идет казак и гайдамак,
И строится поход тремя полками,
Тремя полками, под тремя горами.
Как первый полк ведет Самко-Мушкет,
А на Самке китайчатый бешмет,
К казаку мать-старуха выбегает,
За стремя сына милого хватает:
«Ох, сын мой, сын! Меня ты погубил!
Меня живую в гроб ты положил!»
И голосит, и плачет соколица,
Как сирота в полях перепелица.

«Мне тошно, мать! Убей тоску мою,
Я, как мертвец, лежу, не ем, не пью.
Уж что же мне, родимая, не пьется,
Вкруг сердца моего ехидна вьется?..
Знать, мне пора на воле погулять,
Кудрявым чубом с ветром поиграть!» —
«Ох, сын мой, сын! Меня ты покидаешь,
Меня с сестрой теперь не приласкаешь!» —
«Не для того мне матерь и сестра,
Чтоб не бросать мне хаты да двора!
Уж если надо мне кого ласкать,
Так не сестру ласкать мне и не мать!
Есть у меня дончак лихой коняка
Товарищ смелый, бешеный гуляка:
Того коня я буду век любить,
Его за ковш червонцев не купить!
Есть у меня и верная сестрица:
У бока сабля, пани соболица!
Спроси ее, спроси, голубка-мать,
Чем ей со мной не жить, не гарцевать.
Ох, сабля ж, сабля, с ляхом ты встречалась,
Да и не дважды с ним ты целовалась!»
Походный рог в последний раз трубит,
Казак своей родимой говорит:
«Не убивайся, матушка, с печали.
Уже в сурьмы и бубны заиграли,
И заиграл мой буйный вороной,
Иди скорей, родимая, домой!
Ты горькими слезами умывайся,
Ты рукавом узорным утирайся,
И вспоминай ты чаще обо мне,
Как буду я в далекой стороне...
Припомнишь — червь костей мне не источит,
А не припомнишь — горной кошкой вскочит
На плечи бес ко мне и загрызет.
И прахом очи в битве заметет!»
Второй отряд, в черкеске белой, новой,
Выводит Кукуруза чернобровый.

За кушаком его горит, как жар,
Наследие пяти родов татар —
Алмазами усыпанная шашка;
Жемчужиной пунцовая рубашка
Застегнута; во фляжке за седлом
Качается столетний польский ром;
И шелк усов курчавых, и ланиты
Лучом зари пурпуровой облиты,
И набекрень заломлен на ушах
Барашковый серебряный папах.
Как луч из туч, хорунжий выступает
И так сестру с усмешкой утешает:
«Не плачь, сестра, довольно жить да спать:
Пришла пора по свету погулять!
Тот не казак, кто вод не пил подольских,
Не целовал в уста красавиц польских
И дорогих атласов и парчей
Не привозил сторонушке своей.
Ох, степь ли, степь! Не одного с сестрою
Аль с чернобровой верною женою
Ты разлучала, буйная, навек...
Да не сидит чубатый человек!
Я об одном молю тебя, родная.
Есть у меня коханка молодая,
Уж я ж ее лелеял да ласкал!
Возьми, сестрица, в дом к себе голубку,
Одень ее в матерчатую шубку,
Дукатами ей шейку убери,
А лаской слезы жгучие утри.
И уж обуй ты беленькие ножки
В сафьянные с подковами сапожки,
И уж люби ж ее, да почитай,
Да милою сестрою называй!» —
«На все, на все твоя, соколик, воля:
Уж такова твоя лихая доля...
Ступай, гуляй, с лихим врагом играй,
Да к Покрову с похода приезжай!» —
«Ох, я бы и скорей к тебе вернулся,

Да что-то конь мой в воротах споткнулся:
На грудь мою печаль свинцом легла,
И словно смерть меня за чуб взяла».
Последний полк равниною песчаной
Вел Полтора-Кожуха бесталанной...
Никто бойца, никто не провожал,
И громким криком степь он оглашал:
«Сестра моя в Крыму, а мать в Полтаве!
Гуляй, казак, на всей казацкой славе!»
И словно барс по камням, мчался конь,
И вылетал из-под копыт огонь...
Так курени вояки покидали,
Казачки, молча, у ворот стояли,
И, молча, милых взором провожали,
И, плача, руки белые ломали...

Как на четыре поля шли казаки,
На пятое, Подолье, шли вояки.
Одним путем пошел Самко-Мушкет,
А за хорунжим ехало вослед
Едва чем менее трех тысяч братьев,
Все храбрых душ, все запорожцев-хватов.
Они стамбулки синие дымят,
Как пчелы в улье, шепчутся, гудят,
Гремят в сурьмы, в литавры, в барабаны,
И словно жар пылают их жупаны,
На длинных пиках веют бунчуки,
Ревут волы, гарцуют сердюки;
Идет обоз тяжелым караваном,
Летят стрелки, рассыплясь по полянам;
На плащаницах шелковых знамен
Сверкают лики дедовских икон;
И булавы полков заповедные
Несут на плечах старцы-кошевые,
И едет сзади писарь войсковой
С чернильницей, Хмельницкий молодой!
Казаки шапки черные скидают
И Господу хваленья воссылают,

Кладут кресты, поют святой канон
И молятся до войсковых икон:
«Дай Бог пожить нам с воеводой славным,
Как жили мы — все братством православным,
Есть хлеб его, конем врагов топтать
Да славы Запорожью наживать!»
Отряд несется пыльною дорогой —
Один хорунжий занят думой строгой.
Он на коне не вьется, не кипит,
Все сивый ус кусает да молчит:
Чтоб сто бесов убили то молчанье,
То крепкое и грозное гаданье!
Самко-Мушкет поникнул головой
И говорит в раздумье сам с собой:
«Что, если как в аду, нас ляхи сжарят
Да из костей казацких пир заварят?
Что, если нашим бедным головам
Да лечь во прах по вражеским полям?
Закрячет ворон, степь перелетая,
Застонет лебедь, в небе утопая,
И сизый сокол станет тосковать,
И сизый коршун станет горевать
Все по своим товарищам, казакам,
Все по могучим братьям, гайдамакам?
Аль занесло их пылью на ходу,
Аль их враги пожарили в аду,
Что не видать ни по степям чубатых,
Что не видать ни по лугам усатых,
Ни по турецким землям и морям,
Ни по подольским рекам и полям?
Хрустят, как щепки, кости по долине,
Звенят мечи и копья по равнине,
А серая сорока бьет крылом,
Оскалилась и прыгает сверчком...
Висят чубы бойцов с голов кровавых,
Как будто лях наплел жгутов кудрявых,
В крови чубы, в крови позапеклись,
Вот так-то славы все мы набрались!»

И горестно Самко-Мушкет вздыхает,
Покинул повод, думает, гадает
И отстает от войска своего,
И, словно коршун, реет мысль его!
И видит он: лихого казачину
Берут враги за сивую чуприну,
На крюк цепляют храброго ребром
И жгут его медлительным огнем,
По пояс кожу с рыцаря сдирают,
Кровавый череп солью посыпают —
И в полыме свистящего огня
Костлявый труп качается три дня!

Как на четыре поля шли казаки,
На пятое, Подолье, шли вояки.
Одним путем пошел Самко-Мушкет,
Другим, за Кукурузою вослед,
Пошло не менее трех тысяч братов,
Все храбрых душ, все запорожцев-хватов.
Они горой зеленою идут,
Шумят, поют и в барабаны бьют,
И молвят так хорунжему лихому,
Степанке Кукурузе молодому:
«Здоров ли ты и жив ли, пан Степан?
Что плачешь ты, иль спозаранку пьян,
Или тебя, казак, заворожили,
Любовным зельем свахи опоили?
Печаль да слезы храбрым не рука,
Лихая смерть найдет и казака.
Когда-нибудь и нас с тобой зароют,
И будут нас старухи поминать,
А по тебе... красотки горевать».
И молвит рыцарь: «Все ты одинаков,
Будь ты Яким, аль будь ты просто Яков...
Вот, как придем мы до горы седьмой,
Да как грозой на нас ударит бой,
То будет нам все то, что куковала
Кукушка, что в сыром бору летала!

А что она вещала, верь тому,
Как веришь, рыцарь, сердцу своему!
И занесут нас прахом ураганы,
И обовьют нас саваном туманы,
И станет ждать добычи серый волк,
Как разобьют враги наш славный полк.
Лихая смерть сравняет всех нас, дети,
Недолго жить орлам на белом свете!»
Уж и по правде ж, ясный пан-отец,
Уж и по чистой правде удалец,
Ты говорил: не миновало году,
Отпели запорожцы воеводу...
Нечистый лях тебя в цепях держал,
И, как раба, в цепях колесовал!

Как на четыре поля шли казаки,
На пятое, Подолье, шли вояки.
Одним путем шел удалой Самко,
Другим путем шел молодой Стецько.
А третьим шел, без чуба и без уха,
Карпо, прозваньем Полтора-Кожуха.
Он на коне перед полком играл,
В одной сорочке рыцарь гарцевал,
И волновались в буйном беспорядке
Его шальвар бесчисленные складки,
Сверкали шпоры желтых сапогов,
Чернели змеи длинные усов,
А ветер веял шелковой уздечкой,
Уздечкой с кабардинскою насечкой,
Да с сивой шапки алый плат висел,
Да ятаган у пояса звенел,
Ведет Карпо три тысячи казаков.
Все храбрых братьев, славных гайдамаков.
Они стамбулки синие дымят,
Как пчелы в улье, шепчутся, гудят,
Гремят в сурьмы, в литавры, в барабаны,
И, словно жар, пылают их жупаны,
На длинных пиках веют бунчуки,

Ревут волы, гарцуют сердюки;
Идет обоз тяжелым караваном,
Летят стрелки, рассыплясь по полянам;
И бодро полк волнуется, идет,
И пан Карпо перед полком поет:
«На горе ль зеленой да жнецы жнут,
А под той горою,
Под горой крутою,
В барабаны бьют!
Перед казаками вождь похода
Ведет свою лаву,
Запорожцев славу,
Воевода!
Середи казаков атаманы,
У них кони злые,
Кони вороные,
Ураганы!
А пан Сагайдачный в хвост забился!
Он отдал за трубку
Ясную голубку —
И напился!
Ох, вернись, вернися, казачина,
Возьми свою радость,
Отдай мою сладость,
Молодчина!
Мне с женою твоею не возиться,
А без трубки в поле
Казаку на воле
Не ужиться...
Гей, кто в буйном лесе, отзовися,
Да костер навалим,
Да тютюн запалим,
Веселися!»
Так на коне, гремя и распевая,
И бунчуком над головой махая,
Карпо на бой кровавый выступал,
В одной сорочке рыцарь гарцевал,
И волновались в буйном беспорядке

Его шальвар бесчисленные складки,
Сверкали шпоры желтых сапогов,
Чернели змеи длинные усов,
А ветер веял шелковой уздечкой,
Уздечкой с кабардинскою насечкой,
Да с сивой шапки алый плат висел,
Да ятаган у пояса звенел.

Ох, брат казак, ты всласть навеселился,
В лихом пиру ты смерти полюбился!
Пьяно было кровавое вино,
Тебя, как сноп, свалило в прах оно,
А над бойцом и люба насмеялась,
С другими смерть в бою нацеловалась...
Летит гроза, ковыль-трава шумит,
Карпо в степи застреленный лежит,
Припал к кургану бедной головою,
Накрыл глаза осокою речною,
И жмет к груди изрубленный жупан,
И кровь бежит из трех широких ран,
А в головах казака ворон крячет,
В ногах любимый конь тоскует, плачет,
И в землю бьет копытом и храпит,
И с паном так в пустыне говорит:
«Ой, пан мой, пан, без чуба и без уха,
Ой, пан хорунжий, Полтора-Кожуха!
Кому теперь покинешь ты меня,
Кому отдашь ты верного коня?
Отдашь ли немцам ты, аль янычарам,
Аль подаришь ты крымчакам-татарам?» —
«Тебя, мой конь, нечистым не поймать,
Тебя лихим врагам не оседлать!
Беги, летун мой, синими степями,
Беги, соколик, топкими лугами
И прибеги ты на мое крыльцо,
Уж и ударь ты в звонкое кольцо.
К тебе навстречу выбежит седая
Казачка, руки белые ломая.

Она тебя за повод станет брать,
Начнет тебя ласкать да миловать,
Омоет пыль с тебя водой студеной,
Тебя укроет шелковой попоной,
Начнет кормить душистою травой,
Начнет поить янтарною сытой.
И, плача, станет спрашивать о сыне
О гайдамаке, славном казачине:
«Ой, конь мой, конь, летун ты вороной,
Скажи-ка, где ездок твой дорогой?
Аль ты убил его в бою кипучем,
Аль обронил его в лесу дремучем?» —
«Я казака, — скажи, — не убивал,
Его в лесу дремучем не ронял:
Казак женился, взял себе панянку,
Во чистом поле взял себе землянку:
Туда и ветер вольный не зайдет,
Туда и солнце света не прольет,
Там в бочке винной чумаки степные
Зарыли в землю кости удалые...
Печален был усатого конец,
Да крепко спит рубака-молодец,
И спит он весь, и спят во тьме могилы
Его на ветер кинутые силы,
И сторожит далекая земля
В чужом краю кормило корабля!»

Слепец замолк. Подавленный тоскою,
Поник на грудь седою головою,
И очи он незрячие возвел
На даль небес, на безграничный дол.
А вкруг него тянулися курганы,
Неслись столбов песчаных караваны,
Да буйный ветер бушевал кругом
Струя ковыль волнистым серебром,
Да страж степей, орел, под небесами
Сновал, кружил зловещими крылами.
И встал старик, и громко зарыдал,

И над своей бандурою припал:
«Ох, ты, бандура, люба ты моя,
Орлом влетала в душу песнь твоя!
Что ж сиротой ты горемычной плачешь,
Что ж вороненком ты бескрылым крячешь?
Не я ль тебя под грозой прижил,
Не я ль тебя безвременьем повил,
Согрел печалью, выкормил бедами
Да бесталанными вспоил слезами?
Иль душу я на торжище продал,
Иль память я по ветру разметал?..
Греми ж, бандура, плачь и надрывайся
Да в сумрачной бывальщине купайся!
Греми и пой о славе казаков,
О славе храброй Сечи соколов!
За то греми, что те латинство гнали,
Что бусурман нещадно побеждали,
Что православный крест своих отцов
Спасли ценой казаческих голов,
Что за свою за славу погибали
Да внукам меч свой грозный завещали...
И будет слава по миру летать,
И будут славу славно поминать,
Промеж казаками,
Промеж удальцами,
Промеж всеми в свете молодцами,
Горами
И долами!
Промеж люда царского,
Народа христианского,
С долиною Днепровою,
Низовою,
На многие лета
До конца света!

Март 1852 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 4

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
Е. Дятлова

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 16.11.94. Формат 70 Х 108 1/32. Бумага офсетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,3. Уч.-изд. л. 24,53. Тираж 15 000 экз. Заказ 1530.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ